



**ТЕРМИНОЛОГИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ.  
ИСТОРИОПИСАНИЕ**

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  
ОТДЕЛ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ЦЕНТР ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ**

**ТЕРМИНОЛОГИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ.  
ИСТОРИОПИСАНИЕ**

**Москва  
2010**

УДК-94

ББК 63.3

Т – 35

**Редакционная коллегия сборника:**

*Бобкова М.С., Мереминский С.Г. (ответственные редакторы),  
Айзенштат М.П., Никольский И.М., Сидоров А.И., Шишов А.С.*

**Издание подготовлено к печати в рамках проекта  
РФФИ №10-06-00264-а**

**Терминология исторической науки.  
Историописание**

**Отв. ред. М.С. Бобкова, С.Г. Мереминский: ИВИ РАН, 2010. –  
338 С.**

ISBN 978-5-94067-302-6

© Институт всеобщей истории РАН, 2010

© Центр истории исторического знания ИВИ РАН, 2010

## Содержание

Предисловие.....6

### Часть I

#### Понятие «историописание» и категориальный аппарат исторической науки

*Бобкова М.С. (ИВИ РАН)*

О природе исторических понятий.....8

*Мереминский С.Г. (ИВИ РАН).*

Понятие «историописание», его содержание и границы.....14

*Макарова Л.М. (Сыктывкарский ГУ)*

Временные границы «историописания»:  
между мифом и исторической наукой.....28

*Менщиков В.В. (Курганский ГУ)*

Историография и историописание: взаимодополняющие или  
конкурирующие понятия?.....37

*Менщиков И.С. (Курганский ГУ)*

Историография и историописание: нужен ли новый термин....58

*Лаптева М.П. (Пермский ГУ)*

Методологические «повороты» гуманитарного знания и их  
влияние на историческую науку.....65

*Подлевских Л.Г.*

*(Кировский филиал Академии Министерства юстиции)*

Понятийно-категориальный аппарат теории исторического  
познания: проблемы и перспективы.....80

*Хут Л.Р. (Адыгейский ГУ)*  
«Поэтика заглавий» как отражение дискурсивных практик  
современного историописания.....115

**Часть II**  
**Практики историописания.**  
**Формы и типы исторических текстов**

*Григорьева И.Л. (Новгородский ГУ)*  
Формирование истории как дисциплины в контексте эволюции  
преподавания свободных искусств.....134

*Польская С.А. (Ставропольский ГУ)*  
«...Французы на самом деле по происхождению германцы...»:  
основы национальной истории в описании Жана Дю Тийе.....147

*Воробьева И.Г. (Тверской ГУ)*  
Исторические сочинения в городах Далмации Нового  
времени.....170

*Лаптева Л.П. (МГУ)*  
Значение фальсификаций в чешской историографии  
XIX века.....182

*Ульянов О.Г. (Центральный музей древнерусской культуры и  
искусства им. А. Рублева)*  
О времени зарождения на Руси концепции «Москва – Третий Рим»  
(«Donatio Constantini Magni» и «Повесть о белом клобуке»).....196

*Ряжнев А.С. (Тольятинский ГПУ)*  
Надпись на памятной доске в Архангельском соборе  
Московского Кремля – опыт историописания Екатерины II:  
исторический контекст.....214

*Демин М.А. (Алтайский ГПУ)*  
Историописание и проблема превращения исторических знаний  
в науку.....248

<i>Мининков Н.А. (ЮФУ)</i> Практики историописания и зарождение исторической науки в культуре Дона первой половины XIX века.....	266
<i>Смирнов Д.А. (Ивановский ГУ)</i> «Материалистическое историописание» в исторической концепции Вальтера Беньямина.....	286
<i>Николаи Ф.В. (Нижегородский ГПУ)</i> Историописание и «проработка травмы» в работах Д. ЛаКапры.....	306
<i>Поварницын Б.И. (Пермский ГТУ)</i> Историографическая ситуация: сравнение советского и американского опыта 1950 – 1980-х гг.....	321
<i>Ивонин Ю.Е. (Смоленский ГУ)</i> Политическая история: нарратив, историописание, исследование?.....	325
Наши авторы.....	334

## Предисловие

Заседания тематических Круглых столов, которые активно практикует Центр истории исторического знания ИВИ РАН, по нашему мнению, являются одной из наиболее эффективных форм «поиска истины» в рамках ответа на один-единственный вопрос. Вопрос, определяющий исследовательскую проблему. Проблему – общую для всего цеха историков, независимо от их тематической, хронологической, географической специализации. Проблему, которая по разным причинам является базовой для понимания сущностей исторического познания, судеб исторических сообществ, собственно логики развития исторической науки. Этот сборник научных статей стал результатом работы нашего очередного Круглого стола, подготовкой и проведением которого руководил кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра истории исторического знания ИВИ РАН Станислав Григорьевич Мереминский.

13 – 14 апреля 2009 года мы пригласили наших коллег к дискуссии по теме «Понятие “историописание” и его границы». Нам представляется вполне естественным, что важное место в сфере научных интересов Центра истории исторического знания должно занимать изучение различных текстов исторического содержания (письменных и не только), т. е. текстов, призванных более или менее адекватно отразить различные аспекты прошлого. Необходимой предпосылкой такого изучения должна быть выработка единого и корректного терминологического инструментария. Между тем, представляется, что в современной отечественной исторической науке не существует даже общепринятого термина для обозначения процесса создания текстов исторического содержания, подобного английскому «historical writing» или немецкому «Geschichtsschreibung». Наиболее близким по значению к ним является русское понятие

«историописание», которое, однако, еще не получило достаточного концептуального осмысления.

Вынося на обсуждение проблему терминологического инструментария историка, мы отдаем себе отчет в том, что тот или иной термин может стать работающим, актуальным лишь при условии достижения консенсуса значительной частью сообщества профессиональных историков. Причем такой консенсус, как правило, не определяется формально-административными методами, а вытекает из самой «культурной практики» исторических исследований.

В ходе заседаний обсуждение заявленной нами проблемы велось в двух направлениях:

- «Понятие “историописание” и категориальный аппарат исторической науки»
- «Практики историописания. Формы и типы исторических текстов».

Это отражено и в структуре сборника, который делится на такие же два тематических раздела.

Главная особенность первого раздела книги состоит в том, что большинство представленных в нем материалов носят острый дискуссионный характер. Редколлегия не «приглаживала» статьи с целью подстраивания их под нашу позицию, а представила их практически в первоизданном авторском варианте, который несет на себе и эмоциональный отпечаток рассуждений автора, и его личностные оценки, и его исследовательский и преподавательский опыт. Разумеется, мы позиционируем себя в нескольких статьях, но с уважением и вниманием относимся и к мнениям наших коллег.

Вторая часть сборника представляет читателю богатый спектр исследовательских практик, содержащих анализ форм и типов текстов исторического жанра, созданных в России, США, Западной и Центральной Европе от Средневековья до XX века. Характерно, что авторы большинства статей этого раздела охотно используют понятие «историописание», полагая его релевантным своим темам и источникам.

Опыт проведения Круглого стола и подготовки этого издания, на наш взгляд, со всей очевидностью показывает своевременность и необходимость постановки и поиска путей решения проблемы терминологического аппарата, которым

пользуется современный историк. Надеемся, что это издание откроет целый ряд публикаций, снова и снова обращающих нас к этому вопросу.

**ЧАСТЬ I**

**ПОНЯТИЕ «ИСТОРИОПИСАНИЕ» И  
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ**

*М.С. Бобкова*

**О природе исторических терминов**

Тема взаимосвязи исторического термина, понятия истории, предмета и задач исторической науки заявляется нами как исследовательская, и в этом кратком обзоре мы постараемся объяснить ее актуальность и наметить самые общие подходы к ее рассмотрению.

Проблема формирования и использования терминологического инструментария исторической науки, в основе которого лежит понятие, самым тесным образом связана с ее становлением как дисциплины и осмыслением предмета ее исследований. «Одной из особенностей общества как предмета научных исследований является целостность взаимодействий и противодействий факторов различной природы... неясности теоретического мышления об обществе и его истории, так и неясности суждений, выражающих общественное мнение, в значительной мере зависят от того, что в этих сферах мы имеем мышление, выраженное с помощью идей, а не понятий»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Финн В.К. Интеллектуальные системы и общества. М., 2001, С.273-274.

Специфические свойства понятия, зафиксированного в термине, определяются и тем, что оно должно выступать в качестве медиатора в процессе профессионально-научной коммуникации. Даже в рамках собственно исторического профессионального сообщества неупорядоченность терминологии, разнобой вызывают ненужные споры между представителями разных школ и направлений, а также недоразумения – от досадных до комичных – между историками и обществом, являющимся непосредственным «потребителем» производимого учеными продукта: научных монографий, статей, учебников, исторической публицистики, справочной литературы, исторической медийной продукции и пр.

Кроме того, отметим, что сегодня особенно актуальным представляется изучение понятия в роли «носителя информации» о той деятельности, которая непосредственно связана с формированием, хранением и передачей специальных знаний. Научный язык является такой же частью реальности, как и объекты действительности, изучаемые наукой<sup>2</sup>.

Проблема усугубляется и тем состоянием собственно исторической науки в настоящее время, которое связано и со сменой познавательных парадигм, и с информатизацией общества<sup>3</sup>, и с другими не менее важными факторами, перечислять которые здесь не имеет особого смысла. Хотя одного из них, а именно процессов диверсификации в сфере гуманитарного знания, мы все-таки коснемся более подробно. Активное развитие «смежных» с историей дисциплин

---

<sup>2</sup> Ankersmit F.R. The Use of Language in the Writing of History // Working with Language: A Multidisciplinary Consideration of Language Use in Work Contexts / ed. by Hywel Coleman. Berlin, 1989, 57-83.

<sup>3</sup> Одна из важнейших черт современной информации, связанной напрямую с реконструкцией прошлого, отмечена Ф. Р. Анкерсмитом: «При нашем современном способе говорить об информации намечается тенденция отодвигать на задний план действительность, которой касается эта информация. Реальностью теперь является сама информация, а не действительность, скрытая за ней. Это дает информации свои собственные автономность и реальность» (Анкерсмит Ф. Р. Историография и постмодернизм // Современные методы преподавания Новейшей истории. М., 1996. С. 143).

(например, культурологии, политологии и пр.), связанное с их самоопределением и поиском исследовательских полей, с одной стороны, а с другой – все усиливающаяся междисциплинарная составляющая исторического знания, безусловно, повлияли на размывание границ предмета истории или даже привели к его переосмыслению, его содержательной переактуализации. Кроме того, накопление нового аналитического материала по исследованию исторических источников, попытки оценить его в контексте теории синхронной истории, ставят под вопрос содержание основополагающих понятий исторической науки и требуют его переосмысления<sup>4</sup>.

В истории исторического знания многие виднейшие ученые уделяли проблемам понятий, исторической терминологии самое пристальное внимание, поскольку только наличие ясной терминологии, выражающей те или иные сущности, конституирует научную дисциплину, науку. Мы будем недалеко от истины, утверждая, что осмысление языка историка существует столько же сколько и сама историческая дисциплина.

«Делом и правом нашей науки, как и любой другой, должно быть исследование и определение понятий, с которыми она имеет дело. Если она позаимствовала бы их из результатов других наук, то ей пришлось бы покориться и подчиниться тем научным подходам, над которыми у нее нет контроля, возможно даже таким, которые, как ей очевидно, ставят под сомнение ее собственную самостоятельность и право; она, возможно,

---

4 Один из самых ярких примеров в этом отношении – издание «Феодализм: понятие и реалии. Материалы круглого стола. Москва, 25 апреля 2005 г.», М.: ИВИ РАН, 2008. В этом сборнике научных статей публикуются материалы круглого стола, проведенного в рамках семинара по исторической и культурной антропологии ИВИ РАН и Ассамблеи медиевистов 25 апреля 2005 г. при поддержке Отделения исторических и филологических наук РАН. В сборнике отражен весьма широкий спектр мнений и взглядов на проблемы феодализма, сложившихся в отечественной исторической науке, который свидетельствует о серьезных поисках содержательного определения тех процессов, которые переживал социум в период со второй половины V по XVII вв.

получила бы от них дефиницию понятия «наука», которая бы ей была не по нутру. Нашей науке придется подыскать для себя соответствующий ряд понятий по-своему, т.е. эмпирическим путем. Она имеет право на это, поскольку ее метод есть, прежде всего, метод понимания, понимания и того, что есть у языка и словоупотребления в повседневном обиходе и что он предлагает ее эмпиризму»<sup>5</sup>. Вопрос об исторических понятиях, об их определении в период с XVI по XIX век постоянно возникает практически во всех сочинениях об истории<sup>6</sup>. Действительно, это период, когда история активно ищет и определяет средства выражения уже накопленных знаний о прошлом. С середины XIX до первой трети XX вв. языком истории были идеи, а с 30-х гг. XX в.<sup>7</sup> начинается их переосмысление и формализация на уровне понятий и категорий<sup>8</sup>. Терминологический аппарат может быть лишь результатом реконструкции идей, преобразованных в понятия<sup>9</sup>. Рубеж XX и XXI вв. очевидно демонстрирует нам единство научного знания, что соответствующим образом влияет и на язык гуманитарной науки, и на формирование взаимоприемлемого общенаучного понимания структуры смысла.

На сегодняшний день историческая наука обладает собственным уровнем теории<sup>10</sup>, т.е. уровнем категориального знания, соответствующим ее познавательным функциям и определяемым коллективным опытом осмысления прошлого. Природа исторического термина проистекает из предмета исследования и подвергается по мере его осмысления динамическим изменениям. В этом состоит одна из

---

<sup>5</sup> Дройзен И.Г. *Историка*. М., 2004, С. 549 – 550.

<sup>6</sup> Goodman N. *Ways of Worldmaking*. Hassocks, 1978.

<sup>7</sup> Danto A.C. *The Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art*. Cambridge, 1983, P. 189; Hutton P. H. *History as an Art of Memory*. Hanover; L., 1993.

<sup>8</sup> Smith P. *The Place of History among the Sciences // Essays in Intellectual History: Dedicated to James Harvey Robinson by His Former Students*. N. Y., 1929. P. 213–227.

<sup>9</sup> Финн В.К. *Цит. соч.* С.274.

<sup>10</sup> Вопрос о качестве этого уровня в отечественной науке – сложная и многоплановая тема отдельного исследования.

особенностей логики развития не только истории, но и всего гуманитарного научного знания.

Термин (от лат. *terminus* – предел, граница) – это слово или сочетание слов, точно обозначающее определенное понятие. В словарном составе языка различают два основных семантических типа слов: общеупотребительные слова и термины<sup>11</sup>. Они находятся в постоянном и глубоком взаимодействии между собой в рамках пространственно-временного континуума. Научные термины органически связаны со всем словарным составом языка, как и наука со всей социо-культурной средой своего развития. Следовательно, смысловая природа терминов понятна лишь в связи с общеупотребительной лексикой языка. Таким образом, мы должны учитывать, что понятия существуют не просто в языке, а в составе определенной терминологии. Если в общем языке (вне данной терминологии) слово может быть многозначным, то, попадая в определенную терминологию, оно должно приобретать однозначность, потому что понятие не нуждается в контексте, как обычное слово. Термины разной природы и разных сфер употребления объединяет то, что они известны в пределах профессиональной области, известны кругу специалистов (так они подпадают под определение и специальной и профессиональной лексики). Ко всякому термину следует подходить не как к обособленной смысловой единице, стоящей вне всякой связи с окружающими его словами, а как к слову, за которым закреплено определенное техническое значение, но которое может изменить свое содержание в зависимости от той отрасли, где этот термин применен.

Здесь необходимо сказать еще об одной сложности, с которой мы сталкиваемся. Понятия, используемые историком, довольно часто выходят за пределы чисто профессиональной деятельности и активно существуют в политическом, социальном, культурном контекстах. А это приводит к слиянию терминологического слова с лексикой общего языка и, в конце концов, к изменению смыслов.

---

<sup>11</sup> Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 2005. С.115-126.

Понятие, используемое для определения (а не интерпретаций) содержания, должно быть точным, адекватным и однозначным (наличие «свободного места» для термина, обозначающего понятие). Многозначность используемых сегодня историками терминов приводит или к непониманию их содержания, путанице (одним и тем же словом-термином обозначаются совершенно разные понятия), или к тому, что в каждом отдельном случае понятие надо определять, но тогда оно перестает быть понятием и его использование теряет всякий смысл.

Нам бы хотелось отметить и еще одно важное качество, связанное с заимствованием терминологии из других языков. Очень часто использование прямого перевода (языковой «кальки») приводит к искажению смысла понятия. Мне известны сетования коллег по поводу «птичьего языка», используемого отечественными историками в современной научной литературе. А ведь международность понятия, общность терминологии, даже при разном фонетическом и грамматическом оформлении терминов в каждом отдельном языке, является важнейшей предпосылкой понимания сути дела.

## Понятие «историописание», его содержание и границы

- Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, – сказал Шалтай презрительно.  
– Вопрос в том, подчинится ли оно вам, – сказала Алиса.  
– Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, – сказал Шалтай-Болтай. – Вот в чем вопрос!

(Льюис Кэрролл. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса. Гл. 6. Пер. Н.М. Демуровой)

В знаменитых записных книжках князя Петра Андреевича Вяземского приводится и такая любопытная история: «Карамзин однажды отправился с визитом к какому-то вельможе. Того не оказалось дома, и Карамзин велел слуге передать хозяину, что заходил историограф Карамзин. И слуга ничтоже сумняшеся записал в своей книжечке: «Карамзин, граф истории»<sup>1</sup>.

За прошедшие без малого два столетия слова «историограф» или «историография» вполне прочно вошли в наш обиход и уже не могут вызвать подобных казусов, однако порой возникает впечатление, что современные русскоязычные историки, употребляя эти термины, понимают друг друга немногим лучше, чем Карамзин и слуга в вышеприведенном анекдоте. Как верно подметила украинская исследовательница Т.Н. Попова, «слово **историография**, “множа” свои лики, распространялось в сообществе историков (и не только!); им жонглировали дилетанты, его превращали в титулатуру... “Узкая” и “широкая” смысловая начинка набивала оскомину, становясь предметом бесконечных дискуссий, которые приводили к временной победе одной “школы” и подрывали репутацию других...»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Вяземский П.А. Старая записная книжка. М., 2003. С. 239.

<sup>2</sup> Попова Т.Н. Лики историографии: имена и смыслы // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5]:

Вместе с тем, понятие «историография», бесспорно, является одним из базовых для современной исторической науки, и нечеткость в его употреблении, соответственно, весьма нежелательна. В целом, можно выделить три основных «кластера» используемых значений этого термина: процесс составления исторического сочинения; литературная история той или иной научной проблемы; история исторического знания. Сходная ситуация характерна, к слову, и для французской научной традиции, в которой, согласно удачному определению видного медиевиста Б. Гене: «Говоря «средневековая историография», одни сегодня подразумевают труды, написанные историками Средневековья, другие имеют в виду труды, которые современные историки посвящают исследованию Средневековья, а третьи обозначают этим термином труды историков наших дней, посвященные изучению наследия историков Средневековья»<sup>3</sup>.

В отчаянном, но не слишком успешном стремлении уйти от двусмысленности под пером историков все чаще возникают сложные конструкции: «историография истории», «история историографии», не так давно С.О. Шмидт поставил вопрос о необходимости «историографии историографии»<sup>4</sup>. Однако использование таких «многоэтажных» терминов не только неоптимально со стилистической точки зрения, но и в принципе не может снять всех проблем.

Итак, налицо смысловая перегруженность понятия «историография», и наиболее экономным решением этой проблемы могло бы стать введение термина (или терминов), призванных взять на себя часть этой нагрузки. Цель настоящей статьи (как и всего данного сборника) – определить, возможно и целесообразно ли использовать в качестве одного из таких

---

Історіографічні дослідження в Україні [Вип. 10]: Об'єднаний випуск збірників наук. праць на пошану академіка Валерія Андрійовича Смоля. Ч. 2. К., 2000. С. 415–416.

<sup>3</sup> Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002. С. 15.

<sup>4</sup> Шмидт С.О. Размышления об «историографии историографии» // Исторические записки. М., 2005. Т. 8. С. 296–363.

«разгрузочных» терминов понятие «историописание». Вопрос отнюдь не праздный, ибо, хотя это слово уже достаточно давно прописалось на страницах трудов отечественных историков, его статус остается крайне сомнительным. Прежде всего, несмотря на немалые потраченные усилия, мне так и не удалось найти фактически ни одного четкого определения того, что такое «историописание» ни в одном русскоязычном источнике. Насколько я знаю, слова «историописания» нет ни в одном современном словаре русского языка, а те исследователи, которые им пользуются, обычно избегают (осознанно или нет) прямых определений. В целом, создается впечатление, что появление понятия «историописания» было вызвано как раз необходимостью по тем или иным причинам избежать использования слова «историографии» либо подобрать к нему какой-то синоним. Так, в известной монографии О.Л. Вайнштейна «Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней» мы встречаем противопоставление «гуманистической историографии» и «феодально-церковного историописания»<sup>5</sup>. В дальнейшем (в 1960–1980-е гг.) понятием «историописание» особенно часто пользовались китаисты и специалисты по истории других стран Азии, видимо, стремясь подчеркнуть определенное своеобразие предмета своих исследований, его отличие от европейской модели<sup>6</sup>. К 90-м годам прошлого века слово «историописание» стало уже вполне обычным для отечественных исследований по истории, однако примечательно, что долгое время оно практически не встречалось в наиболее «публичной» и заметной части трудов – их заглавиях. Характерный пример – очень интересная

---

<sup>5</sup> Вайнштейн О.Л. Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней. М.; Л., 1940. С. 93.

<sup>6</sup> См. например: Смолин Г.Я. Антифеодальные восстания в Китае второй половины X – первой четверти XII в. М., 1974. С. 18-21; Доронин Б.Г. Организация государственного историописания в Китае в XVII – XVIII вв. // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Вып. 9. Л., 1986. С. 98-127.

монография А.А. Севастьяновой, посвященная историческим сочинениям, создававшимся в русской провинции во 2-й половине XVIII в. Понятие «историописание» на страницах этой книги фигурирует неоднократно, в т. ч. и в названиях глав, однако сама работа все же озаглавлена «Русская провинциальная историография 2-й половины 18 века»<sup>7</sup> (курсив мой – С. М.). Ситуация начала несколько меняться лишь в последние годы – в качестве одной из первых ласточек можно упомянуть книгу М.С. Бобковой «Западноевропейское историописание эпохи катастроф»<sup>8</sup>.

В целом, на основании косвенных определений и общего смыслового контекста употребления слова «историописание» в отечественной исторической литературе (или историографии? очередной подводный камень!) последних десятилетий у меня сложилась следующая картина:

Чаще всего слово «историописание» употребляется в чисто стилистических целях, обычно – как синоним слова «историография» (в самых разных ее значениях), и не несет самостоятельной смысловой нагрузки. В прочих случаях можно с большой долей условности выделить три группы значений:

1. Историописание как процесс «писания истории» вообще (в любой форме), т. е. создания исторических текстов. Но из этого немедленно следует вопрос – что такое исторические тексты?

2. Историописание как совокупность исторических текстов, созданных в определенную эпоху и/или на определенной территории. Здесь возникает тот же уточняющий вопрос, что и в предыдущем пункте.

3. Историописание как «писание» истории в противовес историческому исследованию, основанному на научном анализе. Тем самым историописание явно или неявно противопоставляется исторической науке (или, как предпочитают говорить некоторые исследователи,

---

<sup>7</sup> Севастьянова А.А. Русская провинциальная историография второй половины XVIII века. М. 1998.

<sup>8</sup> Бобкова М.С. Западноевропейское историописание эпохи катастроф. М., 2008.

историологии<sup>9</sup>). В довершение путаницы, в некоторых работах эта более «научная» альтернатива историописанию обозначается как историография. Так, А.Г. Тартаковский в свое время предложил называть историописанием «промежуточный, смешанный тип исторического повествования», сочетающий «качества традиционного исторического сочинения с мемуарно-личностным»<sup>10</sup>.

Такой разброс точек зрения едва ли можно считать нормальным. По справедливому замечанию И.П. Вейнберга, «если одно и то же явление именуется «историей» и «историографией», «историческим интересом» и «идеей истории», «историописанием» и т. д., то такое терминологическое многоголосие порождает дополнительные «шумы» в без того перегруженных коммуникационных каналах современного человека. Кроме того, терминологическая пестрота, вероятно, свидетельствует о нечеткости, неопределенности в понимании самого обозначаемого явления. Поэтому уточнение категориального аппарата, терминологическая ясность и точность являются важными предпосылками не только для определения предмета разговора, но также для того, чтобы разговор состоялся»<sup>11</sup>. Соответственно, если мы хотим использовать в своей «творческой лаборатории» понятие «историописание» (а тенденции последних лет достаточно явно указывают на наличие такого желания в сообществе историков), имеет смысл попробовать точнее определить его и отграничить от других родственных терминов.

С моей точки зрения, целесообразнее и уместнее всего рассматривать историописание двояко: во-первых, как процесс создания исторических текстов, а во-вторых – как результат этого процесса, то есть совокупность текстов о прошлом, написанных в определенное время и в определенном регионе.

---

<sup>9</sup> См. например Семенов Ю.И. Философия истории. М., 2003. С. 3.

<sup>10</sup> Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII – 1-й половины XIX вв. М., 1991. С. 40.

<sup>11</sup> Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э. М., 1993. С. 9.

Должен отметить, что это определение во многих отношениях близко определению из «Историографического словаря», подготовленного несколько лет назад коллективом Харьковского университета. Это издание является, насколько мне известно, первым, содержащим словарную статью «Историописание». Автор этой статьи О. Чала отмечает: «Тогда как термин «историография» понимают и как историю исторических знаний, исторической науки, и как синоним исторических трудов, то историописание принято понимать лишь в последнем значении, с поправкой на то, что оно является понятием, которое непосредственно обозначает процесс написания исторических трудов...»<sup>12</sup>.

Но это определение ставит перед нами целый ряд новых вопросов. Что такое исторические тексты? Когда возникает историописание: рождается ли оно в классической Греции, как это нередко утверждают, или оно существовало уже в цивилизациях Древнего Востока? С другой стороны, оправдано ли противопоставление историописания исторической науке, историческому исследованию? Если да – где граница между ними? Тождественны ли понятия «историописание» и «исторический нарратив»: иными словами, возможно ли не-нарративное историописание? Наконец, где проходит граница между историческими и неисторическими жанрами? И по каким критериям ее нужно проводить?

В оставшейся части данной статьи я постараюсь предложить свои варианты ответа на некоторые из этих вопросов. Итак, ключевой вопрос – что такое исторические тексты? Каковы их хронологические и жанровые границы? С моей точки зрения, более оправданными являются «широкие» варианты ответа на оба этих вопроса. В частности, есть, на мой взгляд, немало аргументов, чтобы относить зарождение историописания к эпохе первых цивилизаций Древнего Востока. Достаточно убедительно эта точка зрения обосновывается в известной работе И.П. Вейнберга «Рождение истории». По его мнению, появление письменной формы фиксации прошлых

---

<sup>12</sup> Чала О. Історіописання // Історіографічний словник / За ред. С.І. Посохова. Харків, 2004. С. 102.

состояний отражает перемены в исторической мысли общества: переход от мифологической к научно-логической модели<sup>13</sup>. Согласно Вейнбергу, историописание как «особый жанр словесного творчества» оформляется на Ближнем Востоке на рубеже III – II тысячелетий до н. э. Оно включало царские надписи, хронографические тексты, историко-литературные тексты, пророчества и исторические эпосы. Позднее, в середине I тысячелетия до н. э. возник и получил распространение жанр автобиографии-биографии<sup>14</sup>.

Даже авторы, отстаивающие точку зрения о рождении истории как науки в античной Греции, признают наличие на Древнем Востоке историографических сочинений. Так, Э.Д. Фролов писал: «Разумеется, и у других древних народов, и в частности в соседних с греками странах классического Востока, бытовал интерес к прошлому и существовали известные формы фиксации главных знаменательных событий из этого прошлого... Однако... историописание здесь остановилось на подступах к собственно истории»<sup>15</sup>. Примечательно, что немного ниже в той же работе он характеризует труды древнегреческих историков, как «историописание, отличавшееся систематичностью рассказа, методическим привлечением и использованием источников, идейностью интерпретации, короче говоря, историописание как особый жанр, как вид специальных научных и литературных занятий»<sup>16</sup>.

Вопрос о верхней границе историописания неизбежно связан с проблемой его соотнесения с понятием «историческая наука». Лично мне наиболее логичной границей здесь видится 1-я половина XIX в. – время окончательного оформления истории как научной и учебной дисциплины, утверждения новых стандартов издания и анализа источников. Главное же, что именно в это время произошла окончательная смена исследовательских установок: отныне авторы исторических

---

<sup>13</sup> Вейнберг И.П. Цит. соч. С 11.

<sup>14</sup> Там же. С. 298.

<sup>15</sup> Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л., 1981. С. 83.

<sup>16</sup> Там же. С. 93.

сочинений прошлого практически всегда рассматривались не как предшественники, а как «источники информации». Разумеется, можно привести серьезные аргументы и в пользу других вариантов – например, эпохи Возрождения или XVII века – эпохи «эрудитской истории». Более того, сам вопрос о такой верхней границе, возможно, неактуален, т. к. и в Новое время продолжали создаваться сочинения, типологически близкие памятникам историописания более ранних эпох. Тут уместно напомнить, например, о цитировавшихся выше работах А.А. Севостьяновой и А.Г. Тартаковского, обосновавших использования термина «историописание» применительно к некоторым типам сочинений, создававшихся в России в XVIII – XIX вв.

Не менее сложен вопрос с жанровыми границами текстов, охватываемых понятием «историописание». Особенно тяжело провести такие границы применительно к его ранним формам, характерным для Античности и Средневековья. В эти эпохи были чрезвычайно распространены «синтетические» тексты, сочетающие в себе очень разнородные, с точки зрения современного исследователя, элементы. Чтобы далеко не ходить за примерами можно указать хотя бы на «отца истории» Геродота, в труде которого с вполне «историческим» (как мы его сейчас классифицируем) материалом соседствуют экскурсы в области географии, этнологии, даже биологии. Но очевидно, что такое противопоставление самим Геродотом и его современниками не осознавалось. Еще более ярко неадекватность современной жанровой классификации проявляется на примере исторических текстов западноевропейского Средневековья.

Для современного источниковедения аксиомой является утверждение, что каждая разновидность источников имеет свои особенности и, соответственно, требует различных подходов и методов исследования. В общем случае это замечание бесспорно верно, однако возникает вопрос: сознавали ли жившие много веков назад создатели этих текстов их типологические различия столь же четко, как современные исследователи? На мой взгляд, на этот вопрос нельзя безоговорочно ответить «да». Напротив, имеется много свидетельств, указывающих, что для

средневековых авторов границы между отдельными видами источников были не столь очевидны и значимы. Анализируя средневековые рукописи, сплошь и рядом можно увидеть, как в них соседствуют очень гетерогенные и, казалось бы, абсолютно не связанные между собой тексты. Однако за этой внешней непоследовательностью, по-видимому, нередко стоял сознательный замысел средневековых книжников, воспринимавших эти тексты и границы между ними далеко не так же, как мы<sup>17</sup>.

Та же картина текучести и размытости границ проявляется и на уровне отдельных сочинений. Обычным делом было объединение в рамках одного, несомненно цельного, произведения разнородного, по современным представлениям, материала. В качестве яркого примера можно указать на так называемую «Книгу Или» (лат. *Liber Eliensis*), созданную в сер. XII в. в английском бенедиктинском монастыре Или<sup>18</sup>. Она включает и агиографию (житие и чудеса основательницы монастыря св. Этельтрыты и других местных святых), и исторический нарратив, и различные документы, но, при этом, бесспорно является законченным произведением, созданным по продуманному плану. Другой пример, также относящийся к Англии XII столетия, – так называемый «Рочестерский текст» (лат. *Textus Roffensis*), составленный в соборе Рочестера ок. 1124 г.<sup>19</sup> Он включает юридические тексты (законы англосаксонских и англо-нормандских королей, а также отрывки, касающиеся канонического права), различные перечни (епископов английских диоцезов, англосаксонских королей, римских и германских императоров, римских пап и ветхозаветных патриархов), картулярий с нарративным вставками исторического характера, опись земельных рент и зависимых церквей, а также каталог кафедральной библиотеки. Более того, присутствующее в его названии слово *textus*

---

<sup>17</sup> См.: Baker P.S. *Textual Boundaries in Anglo-Saxon Works on Time (and in some Old English poems)* // *Studies in English Language and Literature*. 'Doubt Wisely': Papers in Honour of E.G. Stanley. London, 1996. P. 445-456.

<sup>18</sup> *Liber Eliensis* / Ed. by E.O. Blake. Camden 3<sup>rd</sup> ser. Vol. 92. London, 1962.

<sup>19</sup> *Textus Roffensis* / Ed. by P. Sawyer. 2 vols. Copehagen, 1957-1962.

указывает на то, что книга, вероятнее всего, использовалась в богослужении (возможно, для литургического поминовения перечисленных там имен благотворителей Рочестерской церкви). Известно, что по крайней мере в позднее Средневековье «Рочестерский текст» хранился в соборе, а не в библиотеке. Как и в случае с «Книгой Или», нет сомнений, что «Рочестерский текст» является не просто собранием механически переписанных материалов, его создатель (или создатели) явно действовали по продуманному плану<sup>20</sup>.

Примером другого рода могут служить «Деяния английских епископов» Вильгельма Мальмсберийского (написаны ок. 1125 г.). Большую часть заключительной книги этого сочинения, в целом относящегося к хронографическим источникам, занимает явно агиографический текст – житие св. Альдхельма, основателя аббатства Мальмсбери. И все эти примеры ни в коей мере нельзя назвать аномальными ни для Англии XII века, ни для западноевропейского Средневековья в целом. Очевидно, что для средневековых авторов важным свойством, объединяющим столь разнородные, в представлении современных исследователей, тексты, была содержащаяся в них информация о прошлом. Таким образом, с моей точки зрения, допустимо рассматривать различные виды источников (не забывая, конечно, об их особенностях) в рамках общего понятия «памятники историописания».

Совершенно ясно, что современные источниковедческие классификации далеко не всегда и не безоговорочно применимы по отношению ко всему многообразию средневековых текстов. Среди примеров искусственно введенных в Новое время понятий, неизвестных средневековым авторам, – термин «агиография». В современном значении (литература о христианских святых) он родился под пером издателей знаменитой серии «*Monumenta Germaniae Historica*», по идеологическим причинам стремившихся разделить (подчас довольно произвольно) «светские» и «религиозные»

---

<sup>20</sup> Wormald P. *Laga Eadwardi: The Textus Roffensis and its Context* // Anglo-Norman Studies. 1994. Vol. 17. P. 243-266.

жизнеописания<sup>21</sup>. Наиболее часто в Средние века «агиографические» (по современной терминологии) тексты обозначались, как «*vitae sanctorum*» (жития святых), но во многих случаях они могли обозначаться и как «истории» (*historiae*). Ситуация дополнительно осложняется тем, что для огромного числа текстов не сохранились авторские заглавия (во многих случаях таковых и вовсе могло не быть), а целый ряд укоренившихся в традиции заголовков представляет собой творения публикаторов Нового времени и вообще не связан со средневековым бытованием текста.

«Исторические» (по современной классификации) тексты могли тесно переплетаться (в прямом и переносном смысле) не только с житийной литературой, но и с документальными и правовыми памятниками. Так, в Нормандии в XI–XII вв. возникли так называемые «панкарты», фактически, представлявшие собой историю (подчас довольно пространную) того или иного земельного владения и его хозяев и держателей<sup>22</sup>. В раннесредневековой Италии, как отмечает Крис Уикхем, где практически отсутствовала собственная историографическая традиция, тем не менее в юридические компендиумы практически всегда включали перечни правителей – тексты вполне «исторические» по своему содержанию<sup>23</sup>.

Несоответствие современных и средневековых представлений о классификации текстов хорошо отражает анализ средневековых библиотечных каталогов, которые нередко напоминают знаменитую борхесовскую «Классификацию вымышленных существ». Так, созданный в 1392 г. частичный каталог библиотеки кафедрального капитула в Дареме (одной из крупнейших в Англии того времени) содержит, в частности, раздел «Хроники» (*Cronicae*),

---

<sup>21</sup> Lifshitz F. Beyond Positivism and Genre: "Hagiographic" Texts as Historical Narrative // *Viator*. 1994. Vol. 25. P. 95-114.

<sup>22</sup> Chibnall M. *Forgery in Narrative Charters // Fälschungen im Mittelalter*. Hannover, 1988. Bd. 4. S. 331-347.

<sup>23</sup> Wickham C. *Lawyers' Time: History and Memory in Tenth- and Eleventh-Century Italy // Land and Power: Studies in Italian and European Social History, 400-1200*. London, 1994. P. 275-293.

располагающийся сразу после «Житий святых» (*Vitae Sanctorum*) и перед сочинениями Боэция (*Libri Boicii*). Он очень невелик – всего 4 позиции. Две из них – «О падении Иерусалима» Псевдо-Гегесиппа (в оригинале – *Historia Egesippi*) и «Хроника» Регинаона Прюмского (в каталоге обозначена, как «Хроника Пиппина» – *Cronica Pipini*) – и по современным представлениям вполне укладываются в понятие «хроника», зато две остальные смотрятся более, чем странно. Это сборный том, включающий мартиролог (собрание кратких заметок о святых), устав («обычай») Кентерберийского собора и монашеский Устав св. Бенедикта (латинский оригинал и перевод на древнеанглийский), а также еще один кодекс с другой копией «обычаев» Кентерберийского собора<sup>24</sup>. В то же время, тексты исторического содержания встречаются и в других разделах. Так, некая «*Historia Ecclesiastica*» (вероятно, выполненный Руфином Аквилейским латинский перевод «Церковной истории» Евсевия Кесарийского), а также 3 экземпляра «Схоластической истории» Петра Коместора помещены после библейских книг и перед трудами «Отцов Церкви»; в разделе «Разные книги поэтов» (*Libri deversi poetarum*) фигурирует том с двумя позднеантичными историческими трудами (причем, прозаическими!) – выполненной Юстином эпитомой сочинения Помпея Трога и «Бревиариум» Евтропия (в каталоге – *Tropius*), а также еще один список «Помпея Трога»<sup>25</sup>. По какому принципу данные рукописи были отнесены к соответствующим разделам сказать довольно сложно, но какая-то логика у средневекового библиотекаря явно была.

Наконец, еще один особый вопрос – соотношение реальности и вымысла в понятии «историописание». Иными словами – должны ли мы рассматривать достоверность (соответствие некоей исторической реальности) как критерий исторического сочинения? На первый взгляд, вопрос абсурден – ведь именно подлинность, истинность с античных времен считалась главнейшим признаком истории, отличающим ее от

---

<sup>24</sup> *Catalogi veteres librorum qui in Ecclesiae Cathedralis Dunelm. Catalogues of the Library of Durham Cathedral* / Ed. T.Rud. Surtees Society. Vol. 7. London, 1838. P. 30.

<sup>25</sup> *Ibidem*. P. 18, 31.

других разновидностей литературного творчества. Согласно знаменитому выражению Цицерона, «история – свидетельница времен, свет истины (*lux veritatis*), жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины»<sup>26</sup>. В реальности дело обстоит гораздо сложнее, поскольку критерии истинности со временем менялись. В результате, многие тексты, на протяжении столетий считавшиеся вполне достоверными, то есть «историческими», ныне таковыми не признаются. К числу подобных произведений относятся, например, такие средневековые «бестселлеры», как «О гибели Трои» Дарета, «История королей Британии» Гальфрида Монмутского или «История Карла Великого» Псевдо-Турпина. Впрочем, бытование такого рода литературы не ограничивается прошлыми эпохами. В наши дни, зайдя в рядовой книжный магазин, специалист-историк без труда обнаружит в разделе «История» немалое число опусов, явно не соответствующих критерию достоверности, хотя и претендующих на него. Вместе с тем, многие из сочинений такого рода (и раньше, и теперь) по формальным критериям вполне органично вписываются в современную им историографическую традицию. С моей точки зрения, нет оснований исключать данный вид источников из сферы «историописания». Более сомнительной является ситуация с сочинениями, которые содержат некоторые элементы исторического повествования (например, имена подлинных исторических личностей), однако не осознавались ни их создателями, ни аудиторией как вполне достоверные (например, позднеантичные романы с псевдоисторическим колоритом, средневековые французские *chansons des gestes* или исторический роман Нового времени). В то же время, очевидно, что подобные труды являлись и являются источниками исторического знания для определенной (и немалой) части общества. Можно ли и нужно ли относить такие тексты к числу памятников историописания? Вопрос сложный и заслуживающий серьезного обсуждения.

Важно отметить, что практически все примеры, которыми я оперировал в настоящей статье, взяты из европейской (или,

---

<sup>26</sup> Цицерон. Об ораторе. II.9.36 (пер. Ф.Ф. Петровского).

если угодно, европейско-средиземноморской) традиции. Между тем, различные формы фиксации знаний о прошлом, разумеется, в свое время возникли и развились и за пределами данного ареала. Бесспорно, сопоставление данных, полученных, скажем, специалистами по классической Античности или европейскому Средневековью, и их коллегами, занимающимися Китаем, Индией или, например, цивилизациями доколумбовой Америки, может оказаться бесценным. Тут стоит напомнить, что популяризации термина «историописания» в отечественной исторической науке во многом способствовали исследователи стран Азии и Африки, в особенности – Китая. Возможно, такое стремление найти нейтральный синоним к понятию «историография» с его ярко выраженными классическими коннотациями, было связано с желанием отразить специфику традиции, которую они изучали, подчеркнуть ее особость? Таким образом, понятие «историописание» вполне может стать и удобным инструментом компаративных исследований.

Подведем некоторые итоги. В настоящее время понятие «историописание» не имеет в отечественной гуманитарной традиции устойчивого наполнения. Вместе с тем, несмотря на ряд недостатков (в т. ч. и чисто языкового свойства), оно потенциально может занять достойное место в творческой лаборатории современных историков. Для этого необходимо более четко определить его содержание и специфику по сравнению с родственными терминами (история, историография, историческая наука и др.). Важно также установить хронологические и жанровые границы его применимости. Разумеется, дать однозначные ответы на этот сложный комплекс вопросов рамках одной статьи или даже одной конференции не представляется возможным. Тот или иной термин может стать работающим, актуальным лишь при условии достижения консенсуса значительной частью сообщества профессиональных историков. Причем такой консенсус, как правило, не определяется формально-административными методами, а вытекает из самой «культурной практики» исторических исследований. Хочется верить, что понятие «историописание» со временем станет эффективным инструментом в арсенале российских (и не

только) историков, но даже если этого не произойдет, рефлексия по его поводу, думается, будет способствовать более плодотворной разработке проблем, связанных с изучением истории исторического знания.

## **Временные границы «историописания»: между мифом и исторической наукой**

Обращение к проблематике «историописания» имеет особую актуальность, поскольку тесно связано с самоидентификацией историка. На сегодняшний день особенно ясно, что историки охотнее поддерживают контакты не с собратьями по цеху, а с представителями других дисциплин – философии, социологии, культурологии, изредка обращаются даже к естественным наукам, используя это также на уровне методологических принципов, например, кибернетику для преобразования текста. В настоящее время приращение научного знания возможно только на стыке наук<sup>1</sup>. Исследование в узких рамках одной дисциплины малопродуктивно, обрекает на описательность, и это делает необходимым междисциплинарный подход с четким определением приоритетных методов. Организующую функцию может выполнить структурный анализ проблемы. В этом случае каждый элемент внутреннего контекста выступит в качестве единицы языка и одновременно элемента мира, будет иметь единственное, лишь ему присущее значение и соответственно этому собственное вполне определенное место.

Возможность соединения разнородных явлений через принцип построения единого семантического пространства рассматривал, в частности, Л. Витгенштейн. Правда, одновременно он обращал внимание на «невыразимость» явлений, подчеркивал недостаточность логических построений для познания этих явлений<sup>2</sup>. Однако в этом случае отношения и структуру реального языка можно выразить на языке символов<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Многие параметры современных принципов исторического исследования рассмотрены в работе: Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007.

<sup>2</sup> Витгенштейн Л. Логико-философский трактат; Он же. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I / Пер. с нем. М., 1994.

<sup>3</sup> См. об этом: Гусев С.С. Смысл возможного: Коннотационная семантика. СПб., 2002. С.306-309.

Особое место при изучении проблем истории принадлежит вопросу историчности самосознания человека, содержательной стороне категорий пространства и времени, а также языку повествования, исследуемому в семиотической парадигме<sup>4</sup>. Однако только этими показателями иное, современное видение истории не исчерпывается. Необходимо учесть также специфику современной источниковой базы исторического исследования, которая все значительнее разрастается и включает, в частности, изобразительные материалы, открывающие возможность исследования мировоззрения человека, в том числе и его иррациональной составляющей. Источники в этом случае необходимо представить как единое целое. Эта целостность отнюдь не предполагает сведения свойств системы к простой сумме свойств ее элементов, системообразующим может оказаться и один из элементов, иногда это находится в строгой зависимости от мировоззрения самого исследователя.

Система – не просто устойчивый «скелет» объекта, а совокупность правил, по которым из одного объекта можно получить второй, третий и последующие путем перестановки его элементов и некоторых других преобразований. Происходит переход от анализа явления в целом к рассмотрению его структуры. Если система достаточно сложна, может возникнуть необходимость более подробного рассмотрения ее внутренних отношений, в итоге они приобретают новый смысл, происходит превращение внутренних отношений системы<sup>5</sup>. Это, в частности, позволяет вывести духовные идеологические образования из их материально-социальной основы, выявить постоянно меняющееся соотношение между подсознательным и сознательным в общественном поведении и действии.

---

<sup>4</sup> См., в частности: Аветян Э.Г. Семиотика и лингвистика. Ереван, 1989; Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. М., 1989; Он же. Мифологии / Пер. с фр. М., 1996; Соломоник А. Язык как знаковая система. М., 1992; Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. М., 1987.

<sup>5</sup> Мамардашвили М. Форма превращенная // Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С.386-389.

Далее, совокупность разнородных источников необходимо, вне зависимости от способов их выражения, для удобства изучения обозначить единым понятием текста – в данном случае системы, имеющей знаковую природу и способной быть носителем смысловой информации<sup>6</sup>. Единственным признаком этого текста должно быть наличие значения, тогда возникает возможность при их изучении применить герменевтический метод<sup>7</sup>.

Такой подход предполагает формирование герменевтического круга, включающего предсуждения относительно каждого элемента, например, его авторскую расшифровку, а затем расширение представлений о нем до уровня историографии предмета, которой в данном случае будет принадлежать роль метаязыка и, наконец, определение относительного места всех элементов в общей системе.

Отмеченных трансформаций может быть множество, и выбор единственно верного затруднен, практически невозможен. Важно определить природу этой множественности, исследовать видимые зависимости и эффекты, выступающие на поверхности целого в качестве формы как действительного, так и превращенного существования. В результате предмет исследования, при всей возможной сложности его источниковой базы и исследовательских суждений предстает как единая саморазвивающаяся система, имеющая собственные законы.

Проблема видится в том, что историческая наука не имеет своего понятийного аппарата, он в каждом конкретном случае заимствован из других наук, каких – зависит от исследовательских целей автора исторического сочинения или от целей обучения. Насколько можно судить, поэтому до последнего времени не возникало необходимости в создании словаря историка. Однако перед лицом реальной угрозы

---

<sup>6</sup> Такое определение текста приводит В.Г. Кузнецов. См.: Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991. С.128.

<sup>7</sup> Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание / Пер. с англ. М., 1988; Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем. М., 1988; Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика: Московские лекции и интервью. М., 1995; Он же. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Пер. с фр. М., 1995.

саморастворения в смежных дисциплинах исследователи начали обращаться к понятийному аппарату историка.

В качестве примера можно привести словарь, презентация которого готовилась к конференции по историописанию. Словарь подготовлен в Харьковском национальном университете им. В.Н.Каразина<sup>8</sup>. Речь в нем идет о понятийном аппарате исторической науки, включая как историю, так и историографию. Иными словами, декларируемому пониманию термина «историописание» соответствуют обе названные стороны исторической науки. К сожалению, в таком случае «историописание» перестает быть научным термином и снижается до уровня псевдонаучной лексики с расплывчатым значением слов. Возможно, правильнее было бы полагать, что название неоправданно сужено, поскольку отмечена только одна из областей применения, а содержание словаря не исключает обращения к нему студентов, обучающихся по одной из дисциплин гуманитарного цикла. Словарь является учебным пособием, и его цель – помочь студентам адаптироваться к изучению гуманитарных дисциплин, освоить академическую универсальную лексику. Собственно, рассматриваются этимология и семантика слова. Используя там термин «историописание», автор оговаривается, что значение этого известного с древнейших времен термина значительно изменилось и теперь под ним подразумевает поиск смысла истории. Но то же самое можно сказать и об исторической науке в целом. Примерно такого же рода полемику можно было бы вести относительно терминов «историография» и «метаистория».

В словаре прямо указано, что приведенная лексика не является изначально присущей историческим наукам, а только используется ими. Словарь подобного типа нужен и полезен, во Введении составитель говорит об этом. Это справедливо. Лексические единицы здесь отобраны по стандартному принципу составления любого словаря – частотности их

---

<sup>8</sup> Історіографічний словник. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів університетів / За ред. С.І. Посохова. Харків, 2004.

употребления. Но в словаре отмечена область применения той или иной лексемы, а это оказывается наглядным показателем смешения дисциплин.

В этом случае любой термин мгновенно обрастает целым списком значений, иногда теряя свое первоначальное назначение, но большей частью не приобретая нового. Здесь уместно провести разделение между *значением слова* и *содержанием понятия*. В словаре это разделение не всегда четко, поскольку многие приводимые слова имеют только пояснение смысла – «интерпретация», «идеология» и к понятийному аппарату не относятся, они не категоричны. Это приводит к дополнительному размыванию представления о специфике исторических исследований, и наш случай – только частный аспект общего состояния дел. Рассмотрение терминологии на «круглом столе» – это свидетельство как терминологической неясности исторических дисциплин, так и стремления внести в этот вопрос некий порядок при помощи обновления лексики.

Из перечисленных значений термина «историография» самым архаичным является «процесс составления исторического сочинения» – явно восходящий к карамзинским временам, когда историческая наука в России была в понятийном отношении не разработана, и это разъяснение расшифровывало именно значение слова. Если исходить из норм русского языка, историописание – это процесс, а потому значение совокупности текстов здесь не работает. Больше всего этому термину соответствует второе из перечисленных значений – историописание как процесс «писания истории» вообще (в любой форме), т. е. создания исторических текстов. Апелляция к зарубежной исторической науке с ее национальными языковыми нормами и способами научного осмысления текстов в этом случае представляется не совсем корректной, поскольку налицо механическое заимствование.

Вместе с тем ограничение исторического исследования только прикладными функциями, на что невольно ориентирует термин «историописание», поставит под вопрос изучение даже чисто политических проблем, чем в большинстве случаев историки и занимались. Нарратив все же далеко не является

«описанием» в чистом виде, и при обращении к нему исследователь решает поставленную проблему, а не просто повествует о «делах минувших». Все это, разумеется, выдвигает в качестве одной из ведущих проблем рассмотрение методологии этой вновь создаваемой дисциплины, без чего разговор о ее содержании становится бессмысленным.

Мне хотелось бы уточнить еще одну сторону вопроса. Говоря о хронологических рамках существования науки, авторы информационного письма, по всей видимости, противопоставляют науку «мифу», понимание которого, на мой взгляд, трактуется несколько односторонне. Историческая наука и на сегодняшний день в значительной степени мифологична. Достаточно отметить, что исторические факты, необходимые для изучения той или иной проблематики, объединяются и интерпретируются исследователем произвольно, и это закономерно. Использование *всех существующих* источников в действительности мало реально, да и исследование в этом случае нередко оказывается перегруженным второстепенными деталями, затрудняющими выполнение работы. Таким образом, конструируется авторский миф, его собственное понимание и объяснение логики развития исторических событий. На исследовании этой проблемы избирательности и базируются историография и феноменология. Вряд ли поэтому при оценке соотношения истории и мифа возможно ограничиться только хронологическим показателем.

Вторая сторона этого вопроса связана с характеристикой использованных исследователем источников. В историописании, об этом упоминалось в информационном письме, допустимо привлекать не только письменные источники. Эта проблема крайне актуальна, особенно если учесть, что методология исследования разного рода вещественных и изобразительных источников недостаточно разработана.

Мало того, при их исследовании проблематично применение радикального рационализма, поскольку названные группы источников возможно рассматривать только при учете работы подсознания как при их создании, так и восприятии. В этом случае доля нерационализируемого заметно увеличивается,

и понятие мифотворчества снова оказывается на повестке дня. Снова, но уже в несколько ином ключе всплывает значимость мифа, апеллирующего к языку символов как вербального, так и визуального рядов. Функция мифа – в показе сбалансированности мира, в основе которого должен быть принцип целостности. Но историописание также предусматривает ориентацию на целостность исторического развития, выраженную, в частности, через принцип историзма.

Следующий вопрос касается форм материализации идей и степени соотношения идей и меняющихся политических, экономических, социальных условий. Проблему можно рассмотреть при помощи анализа структуры как в целом идеологии, так и отдельных идей, следовательно, и характерной для них специфики соотношения рациональных и иррациональных компонентов. В них выделяются, наряду с реалистической частью, миф и утопия. Обратившись к критерию рациональности, можно, с известной условностью, разделить используемые любой идеологией идеи на три уровня: рационализируемые идеи, условно рационализируемые и нерационализируемые.

Нерационализируемые идеи как раз и представлены мифом, расплывчатыми, иррациональными образами, которые при помощи символов внедряются в подсознание. Миф привлекает наибольшее внимание исследователей разных специальностей. В большинстве трудов он так же, как и многие другие понятия, лишен конкретного содержания и в зависимости от контекста может означать как частный пример ложной идеи, так и часть идеологии (Р. Барт, в частности, распространяет этот термин на всю идеологию). М. Элиаде также дает несколько значений мифа, наибольшую ценность в данном случае представляет понимание мифа как формы коллективного мышления, для которого характерно создание типологических моделей всего общества. Конструирование и внедрение мифа – это реалии не познавательного, а поведенческого плана. Миф апеллирует к подсознанию, он рассчитан на некритическое восприятие, его можно выразить языком символов как словесного, так и зрительного ряда.

Символ обладает дополнительным значением, несущим нечто неопределенное, не поддающееся объяснению. Когда разум пытается определить некий символ, он неизбежно выходит за пределы логики. Это обстоятельство и дает основание считать до конца непознаваемой любую значительную идею, поскольку применение символов всегда обеспечивает возможность переключения сознания и даже его полного отключения.

Эта проблема исследовалась К.Г. Юнгом через понятие архетипа, изначальной, врожденной психической структуры, содержащейся в коллективном бессознательном и априорно формирующей активность воображения. Он считал, что архетипы начинают функционировать во всех тех случаях, когда личность не может справиться с ситуацией ни одним из известных ей способов, а также когда она оказывается захваченной массовым движением. Исторический персонаж через миф может превратиться в архетип, реально действующее лицо приобрести черты мифического героя. Функция мифа – демонстрировать сбалансированность мира, в основе которого должен быть принцип гармонии, целостности. Это накладывает отпечаток и на формулируемые идеи, способствуя при необходимости их расширительному, а временами и прямо противоположному, относительно первоначального, толкованию, позволяя конструировать в том числе и историю, временами не особенно заботясь о ее рациональности.

Мифологизация, соединяя разнородные элементы, позволяет придать им органическое единство, создать конструкт, отвечающий ментальным установкам всех слоев общества. Любая идеология в своих изначальных установках мифологична, в том числе и в случаях, когда она базируется на историческом прошлом.

Для символического отображения трансцендентной стороны исторической науки может применяться достаточно сложная система лингвистических и экстралингвистических знаков. Лингвистические знаки как высокоорганизованная и эффективная семиотическая система логично оказываются на первом месте. Например, при изучении принципов переименования пространства – безразлично, в случае революции или в иных условиях. Но это вариант его

присвоения, и вряд ли вопрос будет до конца выясненным, если эту сторону дела оставить на уровне простой констатации факта. Особый интерес представляют принципы объединения и функционирования знаковых объектов, в частности, при помощи манипуляций с семантикой – сохранив термин, изменить содержание понятия. Кажется, мы сейчас занимаемся чем-то похожим.

Исходя из сказанного, уместно прийти к следующим выводам: понятие «историописание» предполагает отнюдь не только нарратив, как явствовало бы из самого термина, а гораздо более методологически развернутое построение, предусматривающее особое внимание к категории времени, которое, как и пространство, даже при рассмотрении новейшей истории может оказаться архетипическим и потребовать дополнительной разработки методологии изучения. Однако не всегда ясно, даже из обсуждений вопроса, что именно историки понимают под термином. В основном докладе С.Г. Мереминского отмечены несколько значений термина «историография». Однако эти несколько значений относятся к различным временным отрезкам существования дисциплины. На сегодняшний день историография вполне существует в виде самостоятельной дисциплины, со своей собственной специализацией, методами исследования, но последние выводят эту науку все же на междисциплинарный уровень. Что же касается взаимного непонимания между историками, о котором также шла речь, это легко объяснить состоянием системы исторического образования, в условиях которой курсы историографии порой читают педагоги, не имеющие специальной подготовки и трактующие предмет достаточно вольно.

Введение еще одного термина, как представляется, не может улучшить ситуацию, поскольку для использования термина даже в его общеупотребительном значении требуется от исследователя известная четкость мышления. Но, как следует из предположений С.Г. Мереминского, введение термина «историописание», хотя и желательно, однако в силу его неразработанности и в целом непривычности его употребления мы получаем вновь ту самую полисемантическую, которой так

стараясь избежать. Как следует из прозвучавших на заседаниях «круглого стола» докладов, историки, применяющие термин, употребляют его в разных значениях. По-видимому, эта пестрота мнений свидетельствует о том, что расширение терминологии в данном случае по меньшей мере преждевременно.

## **Историография и историописание: взаимодополняющие или конкурирующие понятия?**

В последнее время отечественные исследователи, и в первую очередь историки, для характеристики своей деятельности все чаще стали использовать термин «историописание». Очевидно, что он является, по существу, дословным переводом понятия «историография», что неизбежно заставляет более строго определить границы последнего, тем более, что в практике употребления этого понятия все больше становится смысловой неопределенности. «Таким образом, говоря, например, «античная историография», одни сегодня подразумевают труды, написанные историками античности, другие имеют ввиду труды, которые современные историки посвящают исследованию античности, а третьи обозначают этим термином труды историков наших дней, посвященные изучению наследия историков античности»<sup>1</sup>. В целом соглашаясь с предложенными вариантами используемых значений, отметим, что довольно часто употребляемым в последнее время является понимание историографии как совокупности всех научно-исторических трудов в хронологическом или национально-страноведческом контекстах. Примером этого могут быть активно используемые словосочетания «отечественная историография», «античная историография» или «современная французская историография» и т.д. Хотя в сугубо профессиональной среде преобладает узкое понимание этого термина, как литературная история той или иной научной проблемы.

Однако выявление наиболее часто употребляемых смыслов термина «историография» пока мало что дает для прояснения содержания понятия «историописание». Для решения этой задачи необходимо, как нам представляется, ответить на ряд взаимосвязанных вопросов.

---

<sup>1</sup> Бобкова М.С. Западноевропейское историописание «эпохи ктастроф»: учебное пособие. М., 2008. С. 6.

1. Почему прежние термины перестали удовлетворять историков, хотя на протяжении многих десятилетий какого-либо дискомфорта от употребления этих понятий не возникало?
2. Почему именно сегодня, в современных условиях, появилась потребность в новом термине?
3. Какие изменения в историческом сознании или окружающей действительности требуют нового наименования?

Пытаясь последовательно ответить на поставленные выше вопросы, мы приходим к выводу, что ответы на них кроются в области меняющихся в последние десятилетия представлений о природе исторического знания.

В советской исторической науке, стоявшей на марксистских позициях, в известной степени и довольно плодотворно, фактически реализовывался известный ранкеанский принцип познания истории «как это, собственно, было» или «как было на самом деле» (*wie es eigentlich gewesen ist*). Показательно в этой связи как известный советский историк академик И.Д. Ковальченко формулировал задачи познания прошлого: «... показ того, как это было в его инвариантности»<sup>2</sup>. Фактически «инвариантное» повторение смысла известной фразы Л. Ранке. Приведем еще одно достаточно характерное и более развернутое утверждение: «В противоположность распространенным в буржуазной науке представлениям о неадекватности наших знаний о прошлом исторической действительности марксизм исходит из признания возможности познать средствами исторической науки прошлое человеческого общества в его объективной реальности»<sup>3</sup>. Подобные подходы к историческому познанию, как нам представляется, исходят из гегелевского принципа тождественности логики развития идеального логике развития материального, что и не удивительно в связи с генетической связью марксизма и гегелевской философией. В известном смысле на этом строится и гносеологическая теория отражения.

---

<sup>2</sup> Цит. по: Смоленский Н.И. Теория и методология истории. М., 2007. С. 182.

<sup>3</sup> Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1989. С. 16.

Однако становление советской исторической науки, что любопытно, начиналось с совершенно противоположных позиций. Это, в первую очередь, было связано с деятельностью М.Н. Покровского и его школы. Как отмечает немецкий историк Ф.Б. Шенк, «он (*Покровский – В.М.*) отрицал возможность объективного рассмотрения и изображения прошлого и защищал тезис о том, что каждый класс способен описывать исторический процесс только со своей собственной точки зрения и для своей собственной выгоды. «История», гласит часто цитируемая формула Покровского, «это политика, опрокинутая в прошлое»<sup>4</sup>. Такая откровенная «инструментализация прошлого» была подвергнута критике в 1930-е гг., но «история и впредь приспособлялась к актуальной политической генеральной линии. Однако результат этого приспособления объявлялся теперь не субъективной интерпретацией пролетарской классовой точки зрения, но «объективной истиной»<sup>5</sup>. Подобный «объективизм» строился теперь на иных основаниях. «СССР тридцатых годов признал себя историческим продолжением Российского государства «поверх» исторического перелома 1917 г... Осью истории России были уже не классовая борьба и народные восстания, но прогрессивное строительство централистского государства сильными личностями»<sup>6</sup>. Не очень сильно ситуация изменилась и в дальнейшем. Как отмечают исследователи, «XX съезд оставил сталинский образ истории по существу неприкосновенным. «Отечественная историография» отныне еще сильнее стремилась к «шпагату» между «национальным» и «марксистским» направлениями»<sup>7</sup>.

Такая внутренняя противоречивость, постоянное лавирование между принципами партийности и классового подхода с одной стороны и стремлением к объективности с другой, стали характерной чертой советской исторической науки или, если угодно, советского историописания. Такой же

---

<sup>4</sup> Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263-2000). М., 2007. С. 241.

<sup>5</sup> Там же. С. 244-245.

<sup>6</sup> Там же. С. 280-281.

<sup>7</sup> Там же. С. 436.

противоречивой оказывалась и природа исторического источника как фундамента любого исторического исследования. «Между историком и изучаемым им объектом оказывается, таким образом, еще одно, промежуточное звено – исторический источник, уже отягощенный чьей-то интерпретацией»<sup>8</sup>. Вполне очевидная негативная коннотация в отношении отягощенности субъективизмом любого текста. Получается, что важнейшей задачей на пути достижения познания объективной исторической истины является очищение любого письменного источника от этой субъективной отягощенности. С точки зрения теории отражения это возможно, так как, по мнению историков-марксистов, исторические источники – это любые остатки прошлого, «в которых отложились исторические свидетельства, отражающие реальные явления общественной жизни и закономерности развития человеческого общества»<sup>9</sup>.

Убежденность в том, что в письменном тексте может содержаться объективная закономерность, породила совершенно определенный тип работы с источником: «Искусство историка состоит в том, чтобы очистить изображаемую в источнике действительность от неточностей, вымысла и классовых искажений»<sup>10</sup>. Образцом такой работы выступал, по мнению некоторых советских историков, В.И. Ленин. Вот какие характеристики ему давались: «Процесс работы над источником, отбор фактов и их обработка никогда не были для Ленина чем-то пассивным или стихийным... Он не шел пассивно от источника к проблеме, а подходил к исследованиям под углом зрения марксистской методологии, строгого классового анализа, связи теории с практикой»<sup>11</sup>. Отмеченная противоречивость довольно отчетливо проявляется в данном случае – очищение источника от классовых искажений оказывается возможным лишь путем строгого следования классовому же принципу источниковедческого анализа. Примечательно в этой связи то, как Сталин в своем письме в

---

<sup>8</sup> Дербов Л.А. Введение в изучение истории. М., 1981. С. 37.

<sup>9</sup> Там же. С. 64-65.

<sup>10</sup> Там же. С. 76.

<sup>11</sup> Там же. С. 79.

журнал «Пролетарская революция» призывал историков «к освещению истории партии с точки зрения «аксиом большевизма», а не каких-то там архивных документов»<sup>12</sup>.

Из тезиса о возможности адекватного познания истинных объективных законов развития общества следовало некоторое пренебрежительное, пускай и в имплицитном виде, отношение к повествовательной составляющей любого исторического труда. Так, в качестве слабой стороны, недостатков исторических произведений наиболее часто отмечалась «описательность», ее явное преобладание. Еще более отчетливое противопоставление «описания» и «объяснения», а не взаимодополнение, мы обнаруживаем в следующем утверждении о сути исторического исследования: «речь идет... не об установлении лишь внешней последовательности событий, простой причинно-следственной связи... не об *описании* (*курсив наш* – В.М.) событий, а об их объяснении с позиций марксистско-ленинской методологии»<sup>13</sup>.

Однако развитие гуманитарного, да и естественнонаучного знания в XX веке существенно поколебало указанные выше принципы. Вызовы постмодернистской эпохи и так называемого «лингвистического поворота» привели к существенному изменению понимания истории. Как пишет О. Эксле: «Историческое познание, следовательно, не может быть «отражением» или «реконструкцией» прошедшей истории; оно может быть только конструкцией, разумеется (повторю еще раз!), не произвольной, а связанной с историческим материалом, обоснованной «эмпирически»<sup>14</sup>. Подобное понимание исторического познания было немыслимо в советское время, по крайней мере, публичное признание этого обстоятельства.

Справедливости ради отметим, что процесс создания образов прошлого в советское время был по существу ни чем иным как конструированием истории, что довольно убедительно продемонстрировано в многочисленных публикациях

---

<sup>12</sup> Добренко Е. Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. М., 2008. С. 29.

<sup>13</sup> Дербов Л.А. Указ. соч. С. 76.

<sup>14</sup> Эксле О.Г. Культура, наука о культуре, историческая наука о культуре: размышления о повороте в сторону наук о культуре // Одиссей. Человек в истории. 2003. М., 2003. С. 403.

отечественных и зарубежных авторов последних лет, в том числе в работах Е. Добренко и Ф.Б. Шенка, уже нами цитированными. С наибольшей очевидностью это проявилось в годы «перестройки» и постперестроечный период. Если для профессиональных историков эти трансформации были в целом и ожидаемы, и в основном понятны, то для массового сознания открывшиеся «белые и черные пятна» истории повлекли за собой своего рода травматический эффект, выразившейся в падении престижа профессиональной истории и появлении и массовом коммерческом успехе так называемой «фолк-истории»<sup>15</sup>. На наш взгляд, это есть следствие не только, а может быть даже и не столько, злонамеренного желания кардинально переписать историю отдельными персонажами, а результат некоторых вполне объективных тенденций в развитии как массового сознания, так и профессионального социального познания. Лишь со второй половины XX века появляется интерес к историческим представлениям (историческое сознание) более широких слоев интеллектуальной элиты и не только ее<sup>16</sup>. Как отмечают И.М. Савельева и А.В. Полетаев, «выяснилось, что, несмотря на существование всеохватывающей системы школьного образования, которая по идее должна служить инструментом трансляции научных знаний в общество, массовые представления о прошлом сильно отличаются от профессиональных»<sup>17</sup>. Казалось бы, это обстоятельство противоречит постмодернистскому тезису «о власти историографических дискурсов, которые утверждают «нужные» представления в качестве официальной «памяти

---

<sup>15</sup> См., например, критический анализ некоторых подобных взглядов на историю: Данилевский И.Н. Пустые множества «новой хронологии» // Он же. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.): Курс лекций. М., 2001. Приложения; Он же. Попытки улучшить прошлое: «Влесова книга» и псевдоистории // Там же; Володихин Д.М., Елисеева О.И., Олейников Д.А. История на продажу. Тупики псевдоисторической мысли. М., 2005; Шмидт С.О. «Феномен Фоменко» в контексте изучения современного общественного исторического сознания. М., 2005.

<sup>16</sup> Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю. М., 2008. С. 48.

<sup>17</sup> Там же. С. 7.

общества».<sup>18</sup> Однако осмысление и последствия этого оказались вполне «постмодернистскими». Как утверждают те же И.М. Савельева и А.В. Полетаев, «тезис о «монополизации исторической памяти» активизировал, в частности, стремление «непосвященных» к стиранию граней между профессиональным и массовым историческим знанием, стимулировал попытки «уравнять в правах» на конструирование прошлого профессиональных историков, дилетантов и даже – широкие массы (трудящихся)»<sup>19</sup>.

Приведенные выше рассуждения со всей очевидностью актуализируют полисемантическую базовую категорию «история», а не только производных от нее (например, историография или историописание). Безусловно, что уже в советской исторической науке эта многозначность признавалась. Б.Г. Могильницкий отмечал, что «среди нескольких значений этого слова (*история* – *В.М.*) выделяется два фундаментальных: 1) прошлое и все, что происходило в нем, и 2) рассказ об этом прошлом, зафиксированный в устной и письменной традиции»<sup>20</sup>. Или еще одно определение с несколько иным смысловым нюансом: «... термин «история» означает как действительные события, происходившие в прошлом, так и их отражение в нашем сознании»<sup>21</sup>. Примечательно, что здесь использовано слово «отражение», а не рассказ. Однако эта многозначность нивелировалась господствующими теоретико-методологическими подходами.

В настоящее же время не учитывать, игнорировать или отодвигать на второй план эту многозначность невозможно. Но и в советское время, среди маргинальных по отношению к господствующим, направлений гуманитарной мысли, эти смысловые различия подчеркивались. Это, например, касается знаменитой московско-гартусской школы семиотики. Весьма примечательно, как в статье 1988 г. «История и семиотика:

---

<sup>18</sup> Там же. С. 54.

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Могильницкий Б.Г. Указ. соч. С. 15.

<sup>21</sup> Дербов Л.А. Указ. соч. С. 28.

Восприятие времени как семиотическая проблема»<sup>22</sup> Б.А. Успенский прямо говорит о двух смыслах термина «история»: «Что касается термина «история», то... он может иметь по меньшей мере два смысла – под «историей» может пониматься либо *res gestae*, то есть совокупность происшедших событий, либо *historia rerum gestarum*, то есть повествование о происшедшем, своего рода нарративный текст»<sup>23</sup>. А затем, практически на каждой странице вынужден оговариваться, какой смысл он вкладывает в используемый им термин «история» – то ли как *res gestae*, то ли как *historia rerum gestarum*. В одном из примечаний к этой статье Б.А. Успенский обращает внимание и на многозначность термина «историография»: «Мы предпочитаем не пользоваться этим термином (*историография – В.М.*) ввиду его двусмысленности: в самом деле, «историография» может означать как совокупность исторических знаний (*этот смысл мы отмечали выше – В.М.*), то есть именно историю в смысле «*historia rerum gestarum*», так и науку о эволюции и методах исторических исследований, то есть, собственно говоря, метаисторию»<sup>24</sup>.

Может быть, именно термин «историописание» искал Б.А. Успенский, пытаясь наиболее точно выразить свои соображения, используя достаточно «тяжеловесные» словесные конструкции, тем более на латинском языке?

Таким образом, особенности развития отечественного исторического знания в XX в. и его кардинальные изменения последних лет продемонстрировали, выражаясь словами М.Ф. Румянцевой, что «сформировавшиеся в новое время механизмы взаимовлияния массового исторического сознания и профессиональной историографии продолжают действовать. Но вполне очевидно, что при этом они претерпевают существенную трансформацию или деформацию»<sup>25</sup>. Это, в свою очередь, стимулирует поиск новых дефиниций, терминов, более

---

<sup>22</sup> Успенский Б.А. История и семиотика: Восприятие времени как семиотическая проблема // Труды по знаковым системам (УЗ ТГУ; Вып. 831). Тарту, 1988. С. 66-84.

<sup>23</sup> Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 10.

<sup>24</sup> Там же. С. 47.

<sup>25</sup> Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. М., 2002. С. 14.

адекватно отражающих суть исторического познания в новых условиях. Термин «историописание» более «прозрачно» намекает на процесс конструирования исторических образов средствами языка, чем «историография». Последний же благодаря своей большей внешней «научнообразности» становится исключительной составляющей сугубо научного знания.

Эвристически плодотворным в поисках смыслов терминов «историография» и «историописание» и их соотношений может быть обращение к концепции коллективной памяти М. Хальбвакса, получившей развитие в трудах Я. Ассмана. На основе концепции коллективной памяти М. Хальбвакса Я. Ассман разработал понятие культурной памяти, в свою очередь жена Яна Ассмана Алейда Ассман описывает культурную память как «функциональную» память сообщества, противопоставляя ее «памяти-хранилищу», следуя в этом за М. Хальбваксом в противопоставлении истории и памяти. «Хальбвакс понимает под «историей» собирание фактов, очищенных от каких бы то ни было отношений к групповой идентичности. Однако это позитивистское по духу представление об «истории» можно уже считать устаревшим», – заключает немецкий исследователь Ф.Б. Шенк<sup>26</sup>. Далее он отмечает, что «сегодня историографию зачастую определяют лишь как особенный вид социальной памяти. Английский историк Питер Бёрк, например, защищает тезис о том, что историография всегда есть продукт социальных групп и любое историописание находится во власти своего времени, интересов пишущего и заказчика»<sup>27</sup>. Алейда и Ян Ассман считают, что «культурная память... всегда соотносится с идентичностью определенной группы, но «научное историописание», занимающееся прошлым исключительно из теоретического любопытства, может... представлять знание «нейтральное по отношению к идентичности»<sup>28</sup>. Получается, что культурная или функциональная память является одной из результирующих историописания, а «память-хранилище» – это историография как совокупность научных текстов.

---

<sup>26</sup> Шенк Ф.Б. Указ. соч. С. 16-17.

<sup>27</sup> Там же. С. 18.

<sup>28</sup> Там же.

Тем не менее, указанная концепция была подвергнута справедливой, на наш взгляд, критике, в частности известными отечественными специалистами И.М. Савельевой и А.В. Полетаевым. Они считают термины – коллективная, социальная, историческая, культурная память не слишком удачными: «... связывать, а тем более отождествлять представления (знания) о прошлом с памятью неверно в принципе... память имеет такое же отношение к знаниям о прошлом, как и к знаниям о настоящем и о будущем, и вообще к любым знаниям (представлениям)»<sup>29</sup>. «Конечно, – продолжают авторы, – можно использовать метафору «историческая память»... но на самом деле знания запечатлены в текстах и других материальных носителях, а память – это способность индивидуальной психики»<sup>30</sup>.

Но вернемся к проблеме содержания понятия «историописание». Очевидно, что определяющими для появления его в отечественном историческом дискурсе стало влияние постмодернистских взглядов и так называемого «лингвистического» поворота в гуманитарном познании: «... постмодернизм мыслит объект историописания не как нечто, существующее автономно по отношению к тому, кто его описывает, но как некий объект, конструируемый самим языком»<sup>31</sup>. В.Д. Губин и В.И. Стрелков довольно афористично подводят итог характеристики постмодернистского отношения к исторической истине: «Проблема истины есть проблема значения. Проблема истины есть проблема способа и формы описания»<sup>32</sup>. Литературная составляющая труда историка становится все более очевидной и в известном смысле более востребованной. П. Рикёр, анализируя работы одного из классиков постмодернизма Х. Уайта, отмечал, что мыслимое сближение между историей и литературой приводит к тому, что «это нарушение привычных классификаций требует, чтобы была

---

<sup>29</sup> Савельева И.М., Полетаев А.В. Указ. соч. С. 51.

<sup>30</sup> Там же. С. 53.

<sup>31</sup> Губин В.Д., Стрелков В.И. Власть истории: Очерки по истории философии истории. М., 2007. С. 304.

<sup>32</sup> Там же. С. 305.

принята всерьез характеристика *истории как писания*. «Писание истории»... не есть нечто внешнее по отношению к концепции истории и к историческому произведению; оно не является вторичной операцией, которая связана только с риторикой коммуникации и которую можно было бы игнорировать как нечто принадлежащее лишь к сфере литературного оформления. Оно конституитивно для исторического способа понимания. История по сути своей – это историо-графия, или, выражаясь в откровенно провоцирующем стиле, – артефакт литературы»<sup>33</sup>.

Но еще до появления постмодернизма, как ни странно, несмотря на указанные несколько выше негативное отношение к описательности и стремление к объективизму в исторических трудах, близость истории и литературы довольно отчетливо наблюдалась в рамках советского исторического сознания. В тоталитарных обществах, в частности в сталинизме, пишет Е. Добренко, «история – это прошлое, конструируемое и обслуживаемое властью, стремящейся свернуть опыт прошлого, оформив его в литературном нарративе»<sup>34</sup>. В статье известного советского историка А. Панкратовой, посвященной 25-летию советской исторической науки, говорилось о том, что «советский читатель с огромным интересом следит за каждой новой книгой советских историков. «Эта особенность советского читателя ко многому обязывает и советского писателя, в том числе и историка», – заключала Панкратова. Итак, советский историк – одна из разновидностей советского писателя»<sup>35</sup>. Марк Серебрянский – автор первой книги о советском историческом романе, вышедшей в свет в 1936 г., писал: «переоценка исторического прошлого как раз составляет одну из существеннейших особенностей советского исторического романа. В этом смысле он вместе с марксистской исторической наукой делает одно дело»<sup>36</sup>.

Хотелось бы подчеркнуть, что мы не придерживаемся радикальной точки зрения о принципиальной

---

<sup>33</sup> Там же. С. 313.

<sup>34</sup> Добренко Е. Указ. соч. С. 7.

<sup>35</sup> Там же. С. 37.

<sup>36</sup> Там же.

неразграниченности истории и художественной литературы, мы утверждаем лишь их близость и необходимость понимания этого. Из этого, на наш взгляд, и сформировалась потребность в новом термине. Историописание получается интегральным понятием, включающим и научное знание (совокупность сугубо научных текстов и знаний), и текстов вне-, до- и ненаучного характера, влияющих на генеральные исторические представления разных форм общественного сознания. Иначе говоря, понятие «историография» уже по содержанию является составной частью более широкого – «историописание». Объединяющим началом этих двух комплексов является их текстуальный субстрат, нарративное (повествовательное) бытование. Как пишет современный украинский историк А. Толочко, «Данто едва ли не первым отметил, что повествования (stories), иначе говоря, нарративы, суть формы объяснения... Нарратив одновременно рассказывает, что случилось и объясняет, как и почему это случилось (или как и почему все случилось именно таким образом)... Но прошлое, – продолжает исследователь, – как и настоящее, не происходит в виде историй и сюжетов... Stories суть форма концептуализации событий. Человек воспринимает и описывает жизнь в форме stories, но они не содержатся в жизни»<sup>37</sup>. Именно здесь и происходит встреча истории и литературы. Ведь история не является механической совокупностью односложных утверждений, историк всегда должен последовательно выстраивать и чем-то связывать имеющийся у него перечень фактов (событий). Это и формирует процесс *писания истории*. А сама технология этого последовательного выстраивания, осмелимся утверждать, однотипна для истории и литературы. «В важной работе «Введение в структурный анализ нарративов» (1966) Барт утверждал, что нарратив характеризуется «телескопичностью» логики и темпоральности: «В самом деле... механизм сюжета приходит в движение именно за счет смещения временной последовательности и логического следования фактов, когда то,

---

<sup>37</sup> Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.; Киев, 2005. С. 254.

что случается *после* некоторого события, начинает восприниматься как случившееся *вследствие* него»<sup>38</sup>.

Довольно откровенно, потому, видимо, и достаточно убедительно А. Толчко препарирует литературную составляющую историописания: «Историки научились стилистически отделять собственные предположения и гипотезы от показаний источников. Но делают это по-прежнему крайне неохотно, предпочитая создавать некую новую реальность, в которой данные и выводы, гипотезы и конъектуры сплавлены в единый текст неразличимым образом. Этим достигается эффект «реалистичности» письма, а следовательно, осуществляется претензия на правдивость отчетов о прошлом»<sup>39</sup>. Подчеркнем здесь то, что эффект реалистичности и правдивости вытекает напрямую из особенностей построения самого текста.

Итак, и историография, и историописание в широком смысле этого слова, включающее в себя первое, участвуют в процессе формирования массовых исторических представлений и сами оказываются подвержены обратным влияниям, в первую очередь через систему общественных ценностей, в значительной мере формируемых властными элитами и государством, последнее в наибольшей мере характерно для российской традиции. М.Ф. Румянцева замечает, «что любопытно, в XX в. наиболее яркие проявления воздействия идеологии на массовое историческое сознание мы имели в гитлеровской Германии и в сталинской России... На мой взгляд, – продолжает исследовательница, – не будет излишне смелым интерпретировать наблюдения Гегеля, что *«англичане и французы... соотносятся с общим и национальным уровнем культуры»*, как утверждение более тесной (без особых идеологических посредников) связи массового исторического сознания и профессиональной историографии, свойственной этим народам»<sup>40</sup>. Для российской традиции такой посредник существовал почти всегда, а именно государство. Это не могло

---

<sup>38</sup> Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 225.

<sup>39</sup> Толчко А. Указ. соч. С. 519.

<sup>40</sup> Румянцева М.Ф. Указ. соч. С. 15.

не сказаться не только на массовом сознании, но и на профессиональном. Тем более, что «первым каналом государственного влияния на облик исторического знания была причастность власти к самому процессу *историописания*»<sup>41</sup>, так как «репрезентация истории – это всегда репрезентация власти, поскольку история является институтом легитимации и механизмом по производству идентичности»<sup>42</sup>.

Покажем на конкретном примере, как бытование определенных ценностных установок может влиять на формирование исторических образов и какими средствами это достигается.

Наверное, многим хорошо известна высокая степень противоречивости оценок так называемой феодальной раздробленности. Осмелимся утверждать, что это единственный период в рамках различных версий национальных историй, при характеристике которого отмечают отрицательные последствия перехода общества на эту стадию. В наибольшей степени это было характерно для литературы советского времени, но и в более поздних (российских) изданиях мы встречаем подобное. По мнению Б.А. Рыбакова, для феодальной раздробленности в большей мере характерны «длительные кровопролитные усобицы князей». Далее он отмечает отрицательные стороны эпохи – ослабление военного потенциала, междоусобные войны и, что особенно важно, возрастающее дробление княжеских владений<sup>43</sup>. В коллективном труде ученых Московского университета под редакцией Л.В. Милова также отмечаются негативные последствия феодальной раздробленности<sup>44</sup>. Даже если нет прямого указания на отрицательный характер качеств эпохи, используемая риторика, пусть и в имплицитном виде, но формирует вполне определенное отношение к описываемому объекту. К примеру, в «Истории государства и права России» под редакцией Ю.П. Титова говорится о прогрессе в сфере

---

<sup>41</sup> Савельева И.М., Полетаев А.В. Указ. соч. С. 58.

<sup>42</sup> Добренко Е. Указ. соч. С. 8.

<sup>43</sup> Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1993. С. 469.

<sup>44</sup> История России с древнейших времен до конца XVII века/ Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. С. 120.

производительных сил, на базе которого происходит появление «предпосылок *преодоления* (выделено нами – В.М.) феодальной раздробленности»<sup>45</sup>. Или еще более определенно: «татаро-монгольское нашествие... застало Русь цветущей, богатой и культурной страной, но уже пораженной ржавчиной феодальной удельной раздробленности»<sup>46</sup>. Негативные коннотации, на наш взгляд, достаточно очевидны. Тем не менее, авторы подобных работ с завидным упорством, как некое заклинание, говорили о закономерном характере наступившей эпохи. Характерное в этой связи утверждение: «В сознании последующих поколений политический распад Руси на отдельные части понимался как большое несчастье, как откат общества назад... Все это так. Но история меряет не годами и даже не десятилетиями, а столетиями. С точки зрения общеисторического развития политическое дробление Руси – лишь закономерный этап на пути к будущей централизации страны и будущему экономическому и политическому взлету уже на новой цивилизационной основе»<sup>47</sup>.

Итак, налицо ярко выраженная противоречивость оценок – с одной стороны исследователи довольно определенно выделяют негативные последствия, однако констатация этого противоречит изначальным установкам о поступательном прогрессивном развитии общества и, прежде всего, государства. В рамках этой логики период раздробленности между раннефеодальным и централизованным государством выглядит как досадное недоразумение. Вновь приведем достаточно характерную цитату: «Естественное для феодализма натуральное хозяйство, отсутствие развитых экономических, торговых связей были типичными для периода раздробленности. И именно это способствовало определенному историческому прогрессу (безусловно, временному)...»<sup>48</sup>. Если прогресс и был, то, как утверждает автор, «безусловно

---

<sup>45</sup> История государства и права России / Под ред. Ю.П. Титова. М., 2004. С. 33.

<sup>46</sup> Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 480.

<sup>47</sup> История России с древнейших времен до конца XVII века / Отв. ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. М., 1996. С. 190.

<sup>48</sup> История государства и права России. С. 32.

временный». Тем не менее, уже в советской историографии данное противоречие замечалось и осмысливалось. Вот, что писал по этому поводу один из патриархов советской историографии Б.А. Рыбаков: «Необходимо отказаться от понимания всей эпохи феодальной раздробленности как времени регресса, движения вспять». Далее он критикует привычные научно-учебные формулировки – «Киевская Русь *распалась*» или *раздробилось* и т.п. «Читатель сразу начинает сожалеть о том, что прекрасное государство, воспетое былинами и летописями, «раздробилось», «распалось»: нечто целое перестало существовать и превратилось в обломки, в осколки, которые по самому терминологическому смыслу должны быть хуже неповрежденного целого.»<sup>49</sup>. Именно в этих рассуждениях наиболее полно и четко воплотилась одна из господствующих ценностей как советского, так, в значительной степени, и современного общественного сознания – ценность государства, его целостности. Сознание отказывается рассматривать как позитивное любое дробление, разъединение государственного целого. Даже Б.А. Рыбаков, прямо указывавший на рассматриваемое нами противоречие, не может удержаться от вполне оценочной реплики, уже цитированной нами, о «ржавчине» феодальной раздробленности.

Не углубляясь в рассмотрение причин формирования указанной ценности – это тема отдельного исследования – отметим достаточную объяснимость и даже, в известном смысле, естественность ее для отечественного исторического сознания. Существенное преобладание страноведческого (национально-государственного) принципа в построении учебных исторических дисциплин укрепляет бытование этой ценности, но с другой стороны способствует формированию устойчивых стереотипов сознания.

Но, как утверждает ряд современных исследователей, «в наши дни не кажутся столь уж неопровержимыми, как несколько лет назад, постулаты... об а priori более высоком уровне развития государства по сравнению с любым негосударственным обществом. Стало очевидным, что негосударственные общества не обязательно менее сложны и

---

<sup>49</sup> Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 472.

менее эффективны»<sup>50</sup>. Отметим определенную симптоматичность этих утверждений, появившихся именно в последнее время, в период нарастающего влияния идей постмодернизма. Сложно себе представить существование подобных идей в советское время.

Кстати, сегодня существует, на наш взгляд, довольно оригинальная точка зрения на средневековое общество, его социально-политическую организацию как на альтернативную государственной. Она представлена преимущественно англоязычными исследователями. В частности, Тили и ван Кревелд среди конститутивных признаков государства выделяют признак территориальности, они пишут, что «... оно контролирует четко очерченную (welldefined), целостную (continuous) территорию»<sup>51</sup>. В свою очередь У. Опило и С. Розоу отмечают: «Принцип суверенности государства соединил политическую власть с определенной территорией. Возникла возможность для воображения политического пространства совершенно новым способом, как однородной, целостной территории. Король стал рассматривать своих подданных, все население подвластной ему территории как единый объект, очерченный проведенными в физическом пространстве границами, подлежащий упорядочиванию и администрированию»<sup>52</sup>. Ничего подобного при так называемом феодализме, в эпоху политической раздробленности не было. В это время «объектом политического контроля выступали не столько территории, сколько люди, а сложность сплетения их личных связей и зависимостей исключала возможность монопольного доминирования даже на самом ничтожном клочке земли и не позволяла возникнуть идее, ни тем более практике сколько-нибудь жесткой демаркации границ»<sup>53</sup>. Отметим здесь отсутствие каких-либо оценочных суждений об эволюции

---

<sup>50</sup> Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротяев А.В. Альтернативы социальной эволюции // Раннее государство, его альтернативы и аналоги: Сборник статей. Волгоград, 2006. С. 17.

<sup>51</sup> Цит. по: Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М., 2007. С. 124.

<sup>52</sup> Там же. С. 125.

<sup>53</sup> Там же. С. 124-125.

политических форм жизни, они не лучше и не хуже, они просто различны, основаны на разных представлениях о пространстве и времени, разных метафорах власти и общества.

Но вернемся к оценкам феодальной раздробленности в отечественной историографии. Следуя логике и рассуждениям отечественных историков, цитированных нами выше, получается, что Московская Русь типологически ближе к Киевской Руси, а французское королевство – к франкскому государству Хлодвига, а средневековая раздробленность – это либо упадок и регресс государственного развития или попытка реализации совершенно иной альтернативы социально-политического развития. Скорее всего, здесь мы имеем дело с некритическим использованием современного понятия государства. Однако многие исследователи совершенно справедливо отмечают: «В древнерусском обществе эпохи раннего Средневековья отсутствовало общее понятие «государство». В общественном сознании, конечно, существовало представление о «Русской земле» как особом политическом целом, но такое «государство» неразделимо сливалось с физической личностью носителя высшей власти – князя... Монарх и был для людей того времени реальным воплощением государства»<sup>54</sup>. Такое государство с современной точки зрения не совсем и государство, некоторые исследователи даже используют термин «неполное государство». «Часто такие «неполные» государства только надстраивались над обществом, ограничиваясь военными и перераспределительными задачами, сбором дани, повинностей и пошлин, не проникая в толщу его жизни»<sup>55</sup>. И вот здесь мы видим существенно важное замечание, несколько образное, о «толще жизни», куда государство в тот период не проникало. Отечественные историки и юристы XIX века любили использовать термин «государственный быт», который как нельзя кстати подходит к существованию описываемых проблем. Использование термина «быт» непосредственно

---

<sup>54</sup> История России с древнейших времен до конца XVII века / Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. С. 110.

<sup>55</sup> Гринин Л.Е. От раннего к зрелому государству // Раннее государство, его альтернативы и аналоги: Сборник статей. Волгоград, 2006. С. 531.

выводит нас на проблемы повседневной жизни и культуры общества. Как раз о государственном быте, то есть повседневности, в эпоху Древней Руси говорить и не приходится. Подавляющая часть населения жили вне этих рамок, воспроизводя повседневно нормы по сути негосударственной жизни. Степень реальной взаимосвязи подавляющих масс населения с государственной верхушкой была ничтожной. С начала же дробления, а вернее, дифференциации политической власти, государство само «стремится» приблизиться к конкретному человеку в лице удельного князя, боярина, феодала, который становится реальным воплощением государства как «государь» для населения уделов и феодальных вотчин и подобного рода земельных владений. Именно в этих рамках и происходит постепенное формирование так называемого государственного быта, поскольку практически каждый человек ежедневно сталкивался с проявлениями указанной власти. Исходя из этих рассуждений, как раз эпоха средневековой раздробленности и создала реальные предпосылки для формирования «полноценного» государства, тем самым возникает возможность снять противоречия между ценностью государства и осмыслением исторической изменчивости этого феномена.

Богатый материал для репрезентации различных ценностных установок дает современная историографическая ситуация в странах постсоветского пространства, где протекают процессы становления новых национально-государственных идентичностей. Так, украинский исследователь С.В. Синяков отмечает, что авторы различных трактовок итогов Переяславской рады, «используя одну и ту же фактологическую базу, проверенную и вполне достоверную источниковую информацию, приходят к разным историческим выводам. Налицо их ценностная позиция в интерпретации договора 1654 г., которая, реализуясь в анализе исторических документов, определяет то или иное концептуальное осмысление эпохального события в судьбе украинского народа»<sup>56</sup>. То же

---

<sup>56</sup> Синяков С.В. Ценности и проблема интерпретации в историческом познании // Национальные образы прошлого: Этническая доминанта в

самое происходит в оценке деятельности Мазепы: «... некоторые историки, дающие оценки Мазепе, используют ценностные суждения так, что включают их в историческое объяснение, дополняя ими причинно-следственную связь в интерпретации этого важного события украинской истории»<sup>57</sup>.

Предельно откровенно выразил причины этноцентричности национально-государственных версий истории казахстанский востоковед А. Камалов, отмечавший, что история является «сочувственной фиксацией своей этнической группы, вплоть до выделения этнонационального фактора в качестве основного критерия исторического познания»<sup>58</sup>.

Таким образом, историописание, его смысловые акценты принимают активное участие в формировании исторических образов массового сознания, формируя и поддерживая смыслообразующие для общества ценности и установки. Важнейшая и ответственнойшая функция. В этой связи хотелось обратить внимание еще на ряд существенных особенностей труда историка, последствия которых весьма сложно прогнозировать.

Как отмечал Мишель де Серто: «историография (т.е. «история» и «письмо») содержит в самом своем названии парадокс – почти оксюморон – отношений, возникающих между двумя антиномическими понятиями, между реальностью и дискурсом.»<sup>59</sup>. Практически то же самое можно сказать о жанре биографии: «биография относится к индивидуальной жизни так же, как история к социальному прошлому: она использует опыт в качестве материала для нарратива... В самом понятии «биография» заключен конфликт между жизнью (био) и ее описанием (графия)... Биография – это арест персонажа, операция по нейтрализации и инструментализации его жизненного опыта»<sup>60</sup>. Ключевым здесь, на наш взгляд, является

---

историографии и философии истории. Третьи Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. СПб., 2008. С. 276.

<sup>57</sup> Там же. С. 276-277.

<sup>58</sup> Цит. по: Ковальская С.И. Причины современного национально-исторического мифотворчества // Национальные образы прошлого. С. 85-86.

<sup>59</sup> Цит. по: Добренко Е. Указ. соч. С. 11-12.

<sup>60</sup> Там же. С. 119.

понятие инструментальности, означающее процесс отбора необходимого материала, то есть отсечение, по мнению автора, всего лишнего, ненужного. А определяется этот набор «нужных» и «ненужных» фактов ценностными установками, так называемым «внеисточниковым» знанием. Весьма образно это обстоятельство любого подобного творчества выразил А.С. Пушкин в «Маленьких трагедиях», когда Сальери говорит: «Музыку я разъял как труп... Поверив алгеброй гармонию». Здесь возникает аллюзия с действиями анатома или естествоиспытателя, препарирующего, допустим, лягушку. В итоге – мы знаем, как устроен организм, нами исследуемый, но в результате этих процедур лягушка мертва.

«Есть глубинная тяга профессиональных историков к вымыслу. В головах историков реконструированная ими «история как она состоялась» имеет легитимность высшую, нежели отрывочные, неполные, а порой и откровенно тенденциозные «источники»... Они глубоко скептически по отношению к источникам. Они подвергают источники перекрестным допросам «с пристрастием», и если ответы не удовлетворяют их, не останавливаются перед тем, чтобы подвергнуть их откровенному насилию»<sup>61</sup>. Это откровенно провокационное заявление известного украинского историка мы привели в связи с необходимостью помнить о том, что «нарастающее на протяжении XX в. внимание к проблеме масс обусловило в том числе формирование мнения, что функция идентификации, которую издавна выполняла история, теперь должна исполняться на уровне массовых представлений о прошлом. Этот дискурс подразумевает, что профессиональное историческое сообщество должно трудиться над производством не просто научного знания, но и массовой «исторической памяти» о прошлом. Историк тем самым оказывается включенным в создание альянсов «власти и памяти», «власти и забвения»<sup>62</sup>. Все это напоминает нам о мере ответственности историка и значении слова сказанного и слова написанного.

Что же касается вопроса, вынесенного в заголовок данной статьи, то в значительной степени он носит риторический

---

<sup>61</sup> Толочко А. Указ. соч. С. 519.

<sup>62</sup> Савельева И.М., Полетаев А.В. Указ. соч. С. 55.

характер. Хотя по ходу наших рассуждений мы сделали некоторые выводы о взаимодополнительности этих понятий. Вводя в научный обиход понятие «историописание», мы ограничиваем множественность смыслов термина «историография», проводя наименование новым словом один из этих смыслов. В некоторой степени историописание – слово-маркер, свидетельствующее об определенном состоянии нашей исторической науки и преобладающих ментальных установках в гуманитарном познании.

## **Историография и историописание: нужен ли новый термин**

Как известно, русский язык отличается большой степенью гибкости и способностью легко усваивать слова из других языков. Так, например, для обозначения одного фрукта имеется несколько слов: «инжир», «смоква», «винные ягоды», «фиги» хотя мало кто видел его в природе, а не в качестве сухофрукта. Это нередко приводит к усложнению понимания, хотя повышает богатство языка. Теперь любой продавец знает разницу между оливками и маслинами, хотя второе не более чем калька с первого. Аналогичным представляется нам рассуждения о содержании понятий «историография» и «историописание». Второе также является калькой первого.

Слово «историописание» относительно недавно проникло в русский язык, в частности язык историков. Естественно возникает несколько вопросов по поводу необходимости его существования. Прежде всего, есть устоявшийся термин «историография». Следует ли вводить еще один? Здесь уместно вспомнить известного средневекового логика и философа Уильяма Оккама, который считал, что не нужно множить сущности без необходимости, то есть, говоря современным языком, не надо прибегать к сложным объяснениям там, где вполне годятся простые. Этот принцип получил название «брита Оккама».

Однако сам термин «историография» многозначен, а содержание его несколько размыто. Классическое определение его гласит, что историография – это история исторической науки. Однако существуют и другие значения. В частности, это и все, что написано (то есть сами тексты), и то, что изучено в истории по данной теме (историография проблемы), и исторические школы (либеральная историография), и национальные исторические направления (английская историография).

Подобная многозначность порождает неясность. Как справедливо отмечает М.С. Бобкова, «говоря, например, «античная историография», одни сегодня понимают труды

написанные историками античности, другие имеют в виду труды, которые современные историки посвящают исследованию античности, а третьи обозначают этим термином труды историков наших дней, посвященные изучению наследия историков античности»<sup>1</sup>.

Считается, что понятие историографии как истории исторической науки пришло в отечественную историческую науку из германской где-то в середине XIX века и прочно закрепилось в советское время. Спустя сто лет стали говорить об историографии в узком и широком смыслах, а концу XX столетия всё активнее стало использоваться новое слово – историописание, как альтернативное указанному термину. На наш взгляд причин для появления и укоренения нового термина несколько.

Во-первых, само слово историография ассоциируется с перечислением многочисленных имен историков, исторических концепций и этапов эволюции исторической мысли, что вызывает у многих своего рода аллергию, чтобы не сказать интеллектуальное отвращение, сформированное еще на студенческой скамье в советских университетах. Использование нового слова позволяет как бы дистанцироваться от старого, до известной степени обмануть себя, подобно тому как использование слова «афроамериканец» вместо слова негр позволяет американцам словно отойти от существования расовой проблемы как будто её и нет. В тоже время, это позволяет продемонстрировать свою «продвинутость» как использование к месту и не к месту слов дискурс, практики и т.д. Это явление естественное и неизбежное даже в академических кругах.

Кроме того, анализ нескольких десятков программ учебных курсов по историографии показал, что оба слова используются как синонимы, правда, в разных аспектах. К примеру, в разделе «Средневековая историография» первая же фраза его выглядит так: «Историописание переходной эпохи.

---

<sup>1</sup> Бобкова М.С. От традиционных курсов по историографии к курсам по истории исторической культуры // Как изучают историю в высшей школе: опыт перспективы дискуссии. М., 2007. С. 264.

Первый опыт богословской истории: «Церковная история» Евсевия Кесарийского. Основы ... и т.д.». Здесь мы видим естественное для грамотного историка стремление избежать повторения одного и того же слова, найти ему подходящий синоним. С другой стороны, при анализе содержания этих программ в более поздние эпохи, особенно начиная с XIX слово «историописание» почти нигде не встречается. Таким образом, видимо имплицитно, подсознательно совершается разделение на непрофессиональное *историописание* и профессиональную *историографию*. Следуя этой логике труд, скажем, Тита Ливия относится к первой группе, а исследования С.М. Соловьёва – ко второй. В этом подходе налицо дихотомия: история как писательство полудилетантского характера история как наука, вооруженная своей методической и методологической базой, занятие профессионалов.

Подобное разделение, безусловно, имеет право на существование. Оно позволяет выделить в истории два периода: донаучный и научный, приблизить первый к литературным жанрам и объяснить особенность *научного* исторического знания. Вместе с тем, в условиях «состояния постмодерна», когда поставлено под сомнение само различие между профессиональным трудом ученого-историка и просто историческим текстом, созданным неважно кем, подобный подход вызывает не только критику, но прямое отрицание. Неслучайно в профессиональной (но не бюрократической) исторической среде в последнее время все чаще предпочитают говорить не об исторической науке, а об историческом знании. Конечно, одно не противоречит другому поскольку получение истинного знания есть задача любой науки.

Возвращаясь к использованию рассматриваемого термина необходимо признать, что он выступает своего рода альтернативой термину историография. Историописание существовало до того, как появились основные правила, приемы, принципы и методы современной исторической науки в совокупности со вспомогательными историческими дисциплинами, способами критики и прочтения документов и т.д. Тем не менее, применение термина «историописание» в этом смысле (непрофессиональная историография, созданная до

оформления истории как науки к XIX веку) едва ли оправдано, поскольку в трудах историков «донаучного» периода и истории, и научности порой куда больше чем в научных опусах наших современников. Следовательно, необходимо либо сразу признать что вся история исторического знания делится два периода – научный (историография) и донаучный (историописание), либо рассматривать эти два термина как синонимичные. Тогда опять возникает вопрос о том, надо ли умножать термины без нужды.

Кроме указных выше значений встречается и получает все большее распространение еще одно. Речь идет о создании исторических текстов, то есть в прямом смысле об истории писании. Это отсылает нас к пресловутому разговору об историческом нарративе, его функции и познавательных возможностях.

В своей небезынтесной работе «Эффект реальности в историописании. Динамика историографической топологии» Ф. Анкерсмит пытается до известной степени разъяснить, что такое историография и историописание. Первую он относит к разряду философских дисциплин: «Философия истории включает в себя три области: историографию, спекулятивную философию истории и критическую философию истории. Историография описывает саму историю историописания в соответствии с основными этапами ее существования»<sup>2</sup>.

Следовательно, историография есть понятие более общее и предполагает осмысление того что написано, в то время как историописание, если я правильно понял, представляет собой труды историков. Анкерсмит полагает, что такой труд в классической историографической традиции рассматривается как прозрачный, за которым видна позиция автора и его оценки (интенции). Подобный подход подвергся серьезной критике в конце XX века. Появляется новый тип историографии. Для него «текст должен быть центральным пунктом, это больше не слой, сквозь который мы смотрим (либо с точки зрения прошлой

---

<sup>2</sup> Анкерсмит Ф. Эффект реальности в историописании. Динамика историографической топологии // Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. С. 261.

реальности, либо с позиции авторской интенции историка), но что-то, на что должен смотреть историограф. В новой историографии этот новый постулат непрозрачности исторического текста ведет к концентрации внимания на конфликтах, колебаниях, двусмысленности, амбивалентности»<sup>3</sup>. Акцент переносится с автора на текст в духе общего постмодернистского увлечения. Новая историография становится теоретической дисциплиной в рамках историософии или философии истории и должна помочь последней оправиться от удара, который нанесли ей Поппер и Хайек пятьдесят лет назад. Новая историография рассматривает только текст, её не должны волновать авторская интенция и историческая действительность, которую текст провозглашает описанной. Это приводит к тому, что, стало чрезвычайно трудно узнать, а представляет ли исторический текст прошлую реальность адекватным способом»<sup>4</sup>.

Возможно ли в рамках создать эффект реальности прошлого и есть ли вообще эта реальность – к таким вопросам подводит нас Анкерсмит в ходе своего большого эссе. Отталкиваясь от идей Р. Барта, согласно которым реальность прошлого есть эффект, созданный историческим текстом. Анкерсмит высказывает мысль о том, что прошлое — это наша идея прошлого, и она нуждается в объективности»<sup>5</sup>.

Вопреки принятому сегодня взгляду на историю, в своей аргументации Анкерсмит сравнил историописание «не с наукой, а с реализмом в литературе и в визуальных искусствах. Из таких сравнений никогда не следует, что историописание действительно есть наука или форма искусства... Так, десять — двадцать лет назад многие расценили параллели между наукой и историей (существование которых никто не оспаривает) как основание, на котором должны покоиться истинность и надежность исторического знания. В попытке осуществить это, искомые параллели превратились из признаков в доказательства

---

<sup>3</sup> Там же. С. 266.

<sup>4</sup> Там же. С. 268.

<sup>5</sup> Там же. С. 310.

научного характера исторического исследования»<sup>6</sup>. Анкерсмит отсылает нас к классическим романам XIX века (Бальзак, Флобер), которые, однако не рассматриваются как научные социологические исследования, хотя довольно точно и разносторонне отражают существовавшую тогда реальность. Собственно этим и обусловлен выбор названия для его большого эссе – «Эффект реальности». Он отмечает, что подобно тому, как граница между искусством и миром затуманена в современном искусстве, так и граница между прошлым и реальностью стирается в самых современных революционных представлениях об историописании. В отличие от недавнего времени, продолжает он, сегодня исторический объект часто обладает неуловимостью и прозрачностью, которая делает проблематичной демаркацию между прошлым и настоящим. Историописание выказывает тенденцию развиваться в структуре, которая отделяет реальность прошлого от реальности настоящего<sup>7</sup>. Свой тезис он подкрепляет следующим рассуждением: «Благодаря эффекту реальности значение исторических правил и шифров все же скорее в их способности фиксировать исторический объект, чем в исследовании его. И действительно, у реалиста, наивного или нет, есть серьезная причина быть благодарным эффекту реальности, который заставляет мир соответствовать образу, в котором реалист предпочитает его видеть»<sup>8</sup>. В другом месте своей книги он проводит прямую параллель между историографией и искусством: «Историография действительно является частью современного культурного мира, и она должна изучаться в контексте своих отношений с современной живописью, скульптурой и литературой. Недостатки современной философии истории можно в значительной степени объяснить ее тенденцией пренебрегать культурным значением написания истории»<sup>9</sup>. В другом, более позднем произведении Анкерсмит говорит еще более туманно и двусмысленно: «Историописание

---

<sup>6</sup> Там же. С. 311.

<sup>7</sup> Там же. С. 304.

<sup>8</sup> Там же. С. 290.

<sup>9</sup> Там же. С. 257.

как таковое можно понимать как постоянный эксперимент с языком, как бесконечный эксперимент в области связывания языка и мира... Опции точных наук для историка закрыты»<sup>10</sup>.

Подобное понимание в духе лингвистического поворота, скорее затемняет, чем проясняет ситуацию. Резюмирую все сказанное выше, получается, если согласиться с Анкерсмитом, что историография относится к области философии и эпистемологии истории, то, что в отечественной исторической науке не очень удачно, на наш взгляд, пытаются называть историософией. Историописание есть сами труды историков. Поскольку у истории нет собственного языка, она использует обыденный язык, с его метафоричностью и системой образов, и создает из него довольно специфический словарь для своих трудов.

Таким образом, можно отметить, что Ф. Анкерсмит не вполне придерживается уже ставшего традиционным для западной истории тезиса, что историописание – это труды созданные историками, а историография есть процесс изучения историописания<sup>11</sup>. Подходят ли для нашей исторической науки такие коннотации смыслов? На наш взгляд, это создаст лишь лишнюю путаницу. Термин «историописание» получается почти столь же многозначным, как и привычный для нас термин «историография». Принимая во внимание консерватизм мышления и языка (разумный консерватизм), часть исторического сообщества просто не примет его. Опыт диалога и обмена мнениями, который имел место в ИВИ РАН в ходе круглого стола «Определение границ понятия "историописание"» (13-14 апреля 2009 г.) в общем, только подтверждает сказанное.

В таком случае следует либо как-то договориться об использовании слова «историописание» в каком-то узком, определенном смысле, либо, следуя совету Оккама, не множить сущности без нужды.

---

<sup>10</sup> Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 202.

<sup>11</sup> См.: Бобкова М. С. Указ соч.

## **Методологические «повороты» гуманитарного знания и их влияние на историческую науку**

*Истины – это  
неопровержимые  
заблуждения.*

Ф.Ницше.

Историческая наука уже давно начала утрачивать традиционный облик под воздействием самых разных причин. Среди них есть и причины почти прагматического порядка. Так, по мнению А.Б.Соколова, сохранение традиционного облика исторического знания может превратить его в камерное знание, возвести новые стены между историком и обществом<sup>1</sup>. Мне, однако, кажется, что есть гораздо более интеллектуальные причины смены образа исторических дисциплин и в профессиональном, и в массовом сознании.

Так, одним из проявлений своеобразного «обострения» интеллектуального зрения учёных можно считать многочисленные методологические сдвиги и повороты, особенно заметные в методологии гуманитарных наук. Достаточно перечислить их названия: антропологический, лингвистический, культурный, визуальный, исторический, эпистемологический, парадигмальный, прагматический, а также то, что связано с неким вниманием к телесности, но пока не получило какого-то особого наименования.

Рассмотрение их влияния на историческую науку, вероятно, стоит начать с попытки обозначить их общие возможные причины. Смена парадигм в научном знании происходит совсем не случайно, так как связана с усилиями многих представителей той или иной науки. На мой взгляд, обилие методологических «поворотов» в исторической науке связано с теоретическими поисками иного социального статуса этой дисциплины. По словам Б.Г. Могильницкого, «из всезнающего и непогрешимого руководства к

---

<sup>1</sup> Соколов А.Б. История тела. Предпосылки становления нового направления в историографии // Диалог со временем. Вып. 26. М., 2009. С.190.

политическому действию она превращается в широкую социокультурную дисциплину, изучающую человека во времени и тем самым способствующую его лучшему пониманию»<sup>2</sup>.

Все «повороты» объединяет одна идея, одна парадигма – идея синтеза. Она представляется мне попыткой (возможно, слабой) хоть как-то противостоять мощной тенденции дифференциации наук, начавшейся с эпохи Просвещения и продолжающейся по настоящее время. Обозначившаяся существенная разница между гуманитарным и естественнонаучным знанием побудила великого Канта различать чистый и практический разум, соответствующие разным сферам наук. Позднее В.Дильтей ещё более увеличил пропасть между науками о природе и о духе. Однако почти одновременно с ростом дифференциации научного знания возникали и робкие попытки сближения разных познавательных тенденций. Так, с именами П.Гольбаха и Ж.Даламбера связана идея соединения гуманитарного и, в особенности исторического, знания с естественными науками. Позитивизм XIX века – ещё одна попытка такого сближения.

Современное проявление тенденции синтеза, возникшее на перекрёстках разных наук, можно, вероятно, считать и одним из аспектов процесса глобализации. Неоднозначность происходящих в науке процессов хорошо видна на примерах одновременного сближения и расхождения научных направлений, так как, с одной стороны возникают новые науки, которые иногда называют пограничными (например, историческая социология или историческая антропология), а с другой стороны, происходит серьёзное влияние одной науки на другую. Парадигмальным процессом можно считать движение от нарративизма к так называемой когнитивной истории. Этим термином её сторонники именуют науку, создающую интеллектуальный продукт за счёт синтеза информатики, историографии, источниковедения, структурной лингвистики и антропологии<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Рабочие программы курсов. Томск, 2006. С. 4.

<sup>3</sup> Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008.

Методологические повороты меняют логику традиционного исторического мышления. Иные науки, помогающие историку расширить его представления о том, как и почему действовали в прошлом его персонажи, создают ситуацию определённого конфликта. Его можно именовать конфликтом интерпретаций, конфликтом методов, конфликтом понятий, но суть от этого не меняется: в любом случае происходит явное усложнение работы историка, к которому готовы далеко не многие представители профессионального сообщества. Стоит сказать и о том, что в гуманитарном знании гораздо чаще, чем в естественных науках происходят процессы выделения и оформления новых дисциплин. Становлению междисциплинарного мировоззрения мешает феномен профессиональной ограниченности (иногда его неполиткорректно именуют даже профессиональным кретинизмом).

Возможно, что и по этой причине некоторые историки своеобразно относятся к методологическим поворотам. Так, Н.Б.Селунская оценивает их весьма настороженно, если не сказать, негативно. Постмодернизм она квалифицирует как такой «исторический и лингвистический поворот», который разрушает «основы профессиональной научной деятельности историка»<sup>4</sup>. Антропологический подход и культурологическую составляющую исторического знания Н.Б.Селунская называет «растаскиванием истории в разные стороны». А новые предметные области истории, возникшие в результате методологических поворотов, она считает «незаконно рождёнными»<sup>5</sup>.

Поскольку в интеллектуальном пространстве возникли разные модели сближения (в идеале – синтеза) разных наук, то каждый из поворотов, вероятно, обозначает ту или иную модель такого сближения. Трудно сказать, какой из поворотов более значим для исторического познания, какой менее всего на нём отразился, поэтому я попробую рассмотреть их влияние не по

---

<sup>4</sup> Селунская Н.Б. Методологическое знание и профессионализм историка // Новая и новейшая история. 2004. №4. С. 25.

<sup>5</sup> Там же. С. 29.

принципу важности или значимости, а просто по отдельности, чтобы в заключение возник некий обобщающий образ.

Название «антропологический поворот» вроде бы отсылает к соответствующей науке. Немецкий антрополог Кристоф Вульф видит истоки современной антропологии в этнологии второй половины XIX века. Отметив, что во Франции этнологию называют антропологией, он назвал её английскую модификацию социальной антропологией, а американский вариант – культурной антропологией<sup>6</sup>. Во Франции антропологический «поворот» исторической науки начинался со школы «Анналов», в ФРГ он стал явлением только в 80-90-е гг. XX века. Причиной антропологического «поворота» Вульф считает растущий скепсис по поводу социальных функций гуманитарных наук<sup>7</sup>.

Антропологический поворот оказал существенное воздействие на самосознание профессиональных историков. Антропологическое понятие культуры как определённого способа коммуникаций стало применяться историками не только в исследованиях, «но и для понимания жизни исторической профессии»<sup>8</sup>.

Некоторые авторы считают антропологизацию истории одним из истоков лингвистического поворота<sup>9</sup>. М.А.Кукарцева при этом оговаривается, что «правильнее было бы говорить о взаимной обусловленности того и другого поворота»<sup>10</sup>. В качестве своеобразного ответа на постмодернистский вызов, лингвистический поворот увеличил риторический пласт исторического текста, изменил способы исторического объяснения и исторического понимания. Й.Рюзен пишет о возникновении нового понимания истории: она стала

---

<sup>6</sup> Вульф К. Антропология: история, культура, философия. СПб., 2008. С. 69.

<sup>7</sup> Там же. С.59.

<sup>8</sup> Зверева Г.И. Обращаясь к себе: самопознание профессиональной историографии в конце XX века // Диалог со временем. 1999. Вып. 1. С. 250-265.

<sup>9</sup> Кукарцева М.А. Хейден Уайт и практика исторических исследований XX века // Диалог со временем. 2008. Вып 24. С. 5-34.

<sup>10</sup> Там же. С. 9.

«лингвистическим артефактом». Более того, поставлена проблема «языка как метафоры»<sup>11</sup>.

Лингвистический поворот словно бы призвал историков лучше вчитываться в тексты. По мнению историка Н.Е. Копосова, «в последние десятилетия лингвистика более, чем другие дисциплины, сделала для изучения того, как функционирует сознание исследователей, занимающихся социальными науками»<sup>12</sup>. При этом он склонен видеть истоки лингвистической парадигмы примерно на целый век раньше, нежели это принято в американском и европейском гуманитарном знании. Для него таким началом была интеллектуальная ситуация конца XIX века, когда обозначился кризис позитивизма<sup>13</sup>.

М.А.Кукарцева считает, что суть изменений, произошедших в историческом познании благодаря лингвистическому повороту, можно обозначить как движение от формулы «история – это учёность, добавленная к искусству» к формуле «история – это искусство, добавленное к учёности»<sup>14</sup>. Лингвистический поворот включает в себя разнообразные теоретические ориентации. В американской историографии он распространился под влиянием постмодернистской критики. Историк Х.Хекстер в работе «Риторика истории», изданной в Чикаго в 1971 г., пришёл к выводу, что риторику нельзя считать только декором исторических сочинений, она не только необходима, но и абсолютно отличается от риторики естественных наук.

Особенно подробный отклик идеи Хекстера получили в трудах Ролана Барта. В работе «Введение в структурный анализ нарративов» Барт предложил считать нарратив не только и даже не столько описательным, сколько объяснительным феноменом. Позднее он уточнил, что исторический дискурс – это воображаемая конструкция. Именно поэтому «понятие

---

<sup>11</sup> Соколов А.Б. Указ. соч. С. 199.

<sup>12</sup> Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005. С. 22.

<sup>13</sup> Там же. С. 40.

<sup>14</sup> Кукарцева М.А. Лингвистический поворот в историописании // Вопросы философии. 2006. №4. С. 44-48.

исторического «факта» у разных мыслителей вызывало к себе недоверие»<sup>15</sup>. Барт во многих работах настаивает на том, что исторический дискурс не следует реальности, а лишь обозначает её. Эффект реальности – это иллюзия, которая заменяет реальность<sup>16</sup>. При этом возникает огромная энергия заблуждений, проявляющаяся в обилии и даже избытии деталей в исторических сочинениях. Барт называет множество незначительных деталей «роскошью нарратива», совершенно не обязательной и «скандальной» со структурной точки зрения. Совместными усилиями Р.Барта, М.Фуко и Ж.Деррида был завершён лингвистический поворот, объявивший, что «нет ничего вне текста».

Согласно Деррида, гуманитарные науки используют две разных стратегии при интерпретации текста. Первый способ – это попытка расшифровать некую истину, заключённую в тексте. Второй способ – это своеобразная «игра» с текстом. Предлагая операцию вычёркивания, Деррида проводит деконструкцию понятий: «перечёркнутое слово можно прочесть, оно не скрылось, не вымарано полностью, но его функция и значение изменились»<sup>17</sup>. Тем самым Деррида предлагает другие приёмы работы с текстом, подвергая дискурс «всевожможным искривлениям и сжатиям»<sup>18</sup>.

В пространстве лингвистического поворота немало сделано и отечественными мыслителями. Так М.М.Бахтин писал, что там, «где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления»<sup>19</sup>. Он считал, что «там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки»<sup>20</sup>. Философ Мераб Мамардашвили называл тексты смысловыми схемами<sup>21</sup>.

---

<sup>15</sup>Барт Р. Дискурс истории // Он же. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 438.

<sup>16</sup> Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.

<sup>17</sup> Беляева А.М. Деконструкция как особая стратегия интерпретации // Вестник МГУ. Серия Философия. 2008. №1. С. 68.

<sup>18</sup> Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 186.

<sup>19</sup> Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 281.

<sup>20</sup> Там же. С. 285.

<sup>21</sup> Мамардашвили М. Эстетика мышления. М., 2000. С. 309.

Согласно Ф. Анкерсмицу, сущность лингвистического поворота в том, что язык гуманитария становится более важной частью его работы, чем исследовательский опыт<sup>22</sup>. Опыт – не единственный путь к истинному и надёжному знанию. Язык может производить истину не меньше, чем изучение реальности. Историк всё больше вынужден размышлять над тем, «какую дефиницию лучше всего дать некоей исторической концепции, чтобы получить оптимальное понимание» прошлого<sup>23</sup>.

Установка, при которой история снова стала пониматься как особая область литературы, определяет историописание как особый способ литературной работы. Его особенность состоит в том, что «воображение историка играет фактами, почерпнутыми в свидетельствах, и наполняет их новыми значениями в ходе создания текста»<sup>24</sup>. Плюсы и минусы этой установки отчётливо видны в работах Х. Уайта. Создав концепцию «эстетического историзма», Уайт не отказался и от постулатов «научной истории». Он считал, что историк, увлечённый образными возможностями литературной работы, не должен забывать и о суровости естествознания (об этом Уайт писал в статье «Бремя истории», опубликованной в 1966 г.).

В книге «Метаистория» Уайт доказывает, что историческое исследование и нарратив не исключают друг друга. Отношения сюжета и истории подобны отношению теории и свидетельства. Забавно, что в работе, которую многие считают завершением лингвистического поворота, сам этот термин даже не упоминается. Возможно, этот парадокс связан с тем, что Уайта вдохновляла не столько философия языка, сколько теория литературы.

Одним из проявлений лингвистического поворота стало возникновение так называемого «нового историзма» в США. Подчёркивая «текстуальность истории», Луи Монроз считает, что «новый историзм» – это ответ на стремительно

---

<sup>22</sup> Анкерсмит Ф. Историческая репрезентация // История и тропология: взлёт и падение метафоры. М., 2003.

<sup>23</sup> Кукарцева М.А. Указ. соч. С. 51.

<sup>24</sup> Там же. С.48.

ускоряющийся процесс её забывания<sup>25</sup>. Конечно, «новый историзм» дал о себе знать, прежде всего, в литературоведческих исследованиях. Однако, если связывать это явление с лингвистическим поворотом, а не считать его совершенно самостоятельным явлением, то можно увидеть и его реальные практические последствия для историописания, например, в РГГУ функционирует не исторический, а историко-филологический факультет.

Культурный или культурологический поворот историческая наука совершила в самом конце XX века. Американский историк Алан Мегилл датирует «новую культурную историю» появлением в 1989 г. коллективной монографии «Новая культурная история» под редакцией Линн Хант, но полагает, что она имеет глубокие корни в традиции «Анналов» и в работах антрополога Клиффорда Гирца. Антропологические занятия Гирца подтверждают, как нелегко отделять один «поворот» от другого. В 60-е годы XX века в американской антропологии начался переход от изучения «непосредственно наблюдаемого» к исследованию «непосредственно не наблюдаемого»<sup>26</sup>. Поскольку Гирц занимался и сравнительной историей, то его влияние на историческую науку вполне понятно.

Гирц искал различия между, казалось бы, одинаковыми явлениями в разных культурах. Он приходит к мысли о том, что не социальное действие определяет культуру, что культура не может быть пассивным его результатом. Культура активна, она вмешивается в социальное действие. Возможность «поворотного» характера идей Гирца связана и с тем, что он пытался изменить отношение к историческим источникам, так как тексты, на его взгляд, также вступают в социальное обращение. Книга Гирца «Интерпретация культур» получила репутацию научной «классики». Фразу Гирца о том, что «антропологи исследуют не деревни... – они исследуют в

---

<sup>25</sup> Монроз Л. Изучение Ренессанса // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 24.

<sup>26</sup> Елфимов А.Л. Клиффорд Гирц: интерпретация культур // Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 525.

деревнях»<sup>27</sup>, часто цитируют историки, прибегающие к микроанализу, при этом они даже не ссылаются на Гирца, а лишь заменяют в этой фразе антропологов на микроисториков.

Согласно Гирцу, анализ культуры не должен быть социологическим эстетством. Культурологи и социологи, историки и антропологи изучают «конкретные действия конкретных людей, чтобы включить их в единую человеческую летопись»<sup>28</sup>. Гирцу близко такое понимание цели гуманитарных наук, которое было высказано ещё К.Леви-Стросом: не составлять человека из кусочков, а разложить его на части<sup>29</sup>. Изучая механизмы ориентации человека в мире, Гирц таким образом исследовал разные формы культуры и относился к ним как к текстам.

Возвращаясь к вопросу об истоках культурного поворота, можно упомянуть роль социологии культуры Пьера Бурдьё, а также влияние «нового историзма» Стивена Гринблатта. Целью новой культурной истории он считает одновременное «расширение социальной истории и восстание против её господства»<sup>30</sup>. По мнению Мегилла, поворот к культурной истории изменил методы изучения прошлого и расширил поле зрения историков<sup>31</sup>.

Л.П. Репина так же, как и Мегилл, отмечает, что культурологический поворот произошёл на базе историко-антропологического подхода. А далее уже «в рамках социокультурного подхода была поставлена задача – раскрыть культурный механизм социального взаимодействия»<sup>32</sup>. Определяя методологическое значение культурного или культурологического поворота, автор статьи подчеркнула «радикальные сдвиги в области исторической эпистемологии, в

---

<sup>27</sup> Там же. С. 30.

<sup>28</sup> Там же. С. 40.

<sup>29</sup> Там же. С.399.

<sup>30</sup> См.: Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 314-315.

<sup>31</sup> Там же. С. 69.

<sup>32</sup> Репина Л.П. Историческая теория после «культурного поворота» // Диалог со временем. Вып.20. С. 5.

концептуализации самого исторического знания, в оценке познавательных возможностей исторической науки»<sup>33</sup>.

Время возникновения визуального поворота достаточно спорно. Его истоки тоже можно увидеть на рубеже XIX – XX веков, когда технический прогресс дал новые возможности для эстетических новаций в науке и искусствах. На мой взгляд, визуальный поворот возникал в рамках культурологического подхода, однако доказал свою самостоятельность. Доминирование визуальных аспектов становится особенностью современной социальной действительности. Визуальные конструкты вытесняют невизуальные форматы. Социологи отмечают простоту и доходчивость визуальной информации<sup>34</sup>.

Влияние визуального поворота на историческую науку современного рубежа веков очень серьезно проявляется в расширении источниковой базы исторических исследований и в появлении новых сюжетов или новых аспектов прежних предметных полей в процессе изучения прошлого. Есть, конечно, опасность визиотизма, о чём предупреждал писатель Ежи Косинский в романе «Жизнь там», но это скорее относится к жизни, а не к науке. Не случайно, великий Гёте полагал, что всего труднее увидеть то, что лежит буквально перед глазами.

Сопоставление результатов различных методологических поворотов, вероятно, составляет сложную философскую задачу. Не претендуя, разумеется, даже на попытку её решения, я лишь предполагаю, что само их обилие привело к возникновению нового поворота, призванного хоть в какой-то степени суммировать или синтезировать все итоги предыдущих поворотов. Я имею в виду комплекс противоречивых суждений, получивший название прагматического поворота. Л.П. Репина, анализируя различные контексты интеллектуальной истории, отметила, что ряд её концепций группируется вокруг разных теорий «прагматического поворота»<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> Григорьева А.В. Понятие и феномен визуальной культуры // Вопросы гуманитарных наук. 2008. №6.

<sup>35</sup> Репина Л.П. Контексты интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/1. С. 6.

Прагматический поворот понимают совершенно по-разному: и как движение от социальной к социокультурной истории, и как синтез гуманитарного знания с некоторыми пограничными достижениями естественных наук. В первом случае прагматический поворот становится неотличим от культурного поворота. Не случайно Б.Г. Могильницкий применительно к началу XXI века фиксирует «движение от социальной истории культуры к культурной истории социального»<sup>36</sup>. Одним из классиков прагматического поворота считается Жак Ревель. Почти десятилетие (с 1995 по 2004 гг.) он был президентом Школы высших социальных исследований в Париже – одного из самых престижных академических заведений Франции. По его мнению, название «прагматический поворот» не связано с американским понятием «прагматизма». Он видит суть прагматизма в стремлении историков анализировать не системы, а конкретные ситуации и конкретные объекты.

Другой авторитет современного прагматизма – французский философ Марсель Гоше. В статье «Смена парадигмы в социальных науках», опубликованной в журнале «Le Debat» в 1988 г., Гоше сформулировал прагматическую парадигму, девизом которой стала идея сознательного действия субъекта. Гоше предположил, что в результате прагматического поворота «история займёт ведущее место среди наук о человеке, отвоёвав его у этнологии и социологии»<sup>37</sup>.

По мнению историка Бернара Лепти прагматическая парадигма имеет собственно исторические, а не философские и не социологические корни. Он видит их в установках четвёртого поколения «Анналов», представители которого отказались от структурализма и от поисков ментальных различий в духе Ж. Ле Гоффа. В 1995 г. под редакцией Лепти вышла коллективная монография о «формах опыта». В ней сделан упор на изучение сознательных, а не бессознательных действий субъектов – участников событий прошлого, главный акцент сделан на социальных практиках. Трагическая смерть Б.Лепти в 1996 г.

---

<sup>36</sup> Рабочие программы курсов. С. 157.

<sup>37</sup> См.: Хапаева Д. Герцоги республики в эпоху переводов. М., 2005. С. 25.

поставила точку на прагматическом повороте французских историков раньше, чем он оформился в самостоятельное направление.

Идейным символом прагматической парадигмы нередко называют одного из самых значительных философов XX века – Поля Рикёра. Свою научную деятельность он начал ещё в 30-е годы. После войны преподавал в университетах Лувена, Монреаля, Чикаго. Девять академий и тридцать университетов назвали его своим почётным доктором. В 1993 г. в беседе с российскими философами в Москве он отметил, что «одной из основных проблем современности является ответственность человека перед историей»<sup>38</sup>.

В интервью по поводу российского издания одной из его книг Рикёр выразил мысль о том, что «история неподвластна человеческому разуму»<sup>39</sup>. Он склонялся к пессимистическому видению истории, осторожно и почтительно относился к тому, что он называл её «непрозрачностью». По мнению Рикёра, «историю нельзя полностью объяснить ни случайными пересечениями, ни экономическими причинами, ни ментальностями»<sup>40</sup>. Его интересовали проблемы изучения истории и на прикладном уровне (работа с архивными документами), и на теоретическом (вопросы исторической причинности, мотивации личности в истории и др.). Ключевым моментом книги, посвящённой памяти французского историка Анри Марру, стало сопоставление «исторического рассказа» и «вымышленного рассказа». В ней Рикёр употребил термин «кризис рассказа». Этим термином он назвал отход современных историков от строго нарративной формы исторического изложения<sup>41</sup>. При этом он не призывал вернуться к простой повествовательной форме. Историк, по Рикёру, «не является простым нарратором: он раскрывает мотивы, по которым он считает какой-то фактор – скорее, нежели некий другой, – достаточной причиной определённого хода событий»<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 5.

<sup>39</sup> Рикёр П. История и истина. СПб., 2002. С. 11

<sup>40</sup> Рикёр П. Время и рассказ Т.1. М.; СПб., 2000. С. 199.

<sup>41</sup> Там же. С. 111.

<sup>42</sup> Там же. С. 216.

Питерский историк Д.Хапаева настаивает на его неподражаемой способности растворять в здравом смысле непримиримые философские и логические течения<sup>43</sup>. При этом Рикёр предпочитал строго разграничивать эпистемологические проблемы истории от методологических проблем, более близких к практике работы историка. Философские работы он относил скорее к эпистемологии, чем к методологии, подчёркивая, что «их сила часто становится их слабостью, настолько в них при обсуждении моделей объяснения недостаёт практики историка»<sup>44</sup>.

Мне импонируют многие суждения П.Рикёра. Например, о том, что любая работа над текстом связана с проблемой цели его написания. Он видит в интерпретациях возможность «преодолеть культурную отдалённость, дистанцию, отделяющую читателя от чуждого ему текста»<sup>45</sup>. Процедура объяснения в истории, согласно Рикёру, предполагает описание внутренних отношений одного события с другими и помещение его в исторический контекст. Он видел задачу истории не в подчёркивании случайностей, а в сокращении их числа<sup>46</sup>.

Рикёр выводил герменевтическую проблематику из психологии – такой науки, которая ближе к естественным наукам, нежели историческое познание. Он напоминал о том, что задачей Дильтея было придать гуманитарным наукам «значение, сопоставимое со значением наук о природе, какое они имели в эпоху господства позитивистской философии»<sup>47</sup>. Возможно, что прагматический поворот в духе П.Рикёра вдохнёт новую жизнь в некоторые установки позитивизма. «Отменить позитивизм нельзя, потому что в основе всякой науки лежит позитивный интерес к источнику»<sup>48</sup>.

Для того чтобы выйти из ситуации распыления истории, характерной для последней трети XX века, Рикёр предлагает

---

<sup>43</sup> Хапаева Д. Указ. соч. С. 28.

<sup>44</sup> Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. С. 113.

<sup>45</sup> Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 4.

<sup>46</sup> Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. С. 182.

<sup>47</sup> Там же. С. 6.

<sup>48</sup> Юрганов А. Опыт исторической феноменологии // Вопросы истории. 2001. №9. С. 43.

«руководствоваться глобальным подходом, который доводит идею варьирования масштабов до предела»<sup>49</sup>. Смене масштабов, на его взгляд, соответствует понятие репрезентации, теснее, чем понятие ментальности, связанное с социальными практиками. Историческую репрезентацию он называет «присутствующим образом отсутствующей вещи»<sup>50</sup>. Прагматизм Рикёра явно ощущается в критике взглядов Х. Уайта: «Х.Уайт загнал себя в тупик, рассуждая об операциях построения сюжета как о способах объяснения»<sup>51</sup>. Рикёр пишет о категориальной ошибке Х.Уайта, которая порождает подозрение относительно способности риторической теории провести разделительную черту между историческим рассказом и рассказом – вымыслом.

Д.Хапаева считает, что в России прагматический поворот восприняли как «методологическое варварство», что прагматические высказывания российских историков носят бессистемный характер. По её мнению, трудно «составить перечень авторов, готовых признать прагматизм в качестве своего теоретического выбора»<sup>52</sup>. Некоторый интерес к прагматизму она объясняет возможностью «отдохнуть» от идеологии и от «химер великих нарративов». Прагматическая парадигма не смогла создать «метод, тиражирование которого с университетских кафедр дало бы в руки тысяч выпускников ... орудие для анализа общества»<sup>53</sup>.

На одной из конференций РОИИ, специально посвящённой теоретическим вопросам исторической науки, прозвучало несколько вариантов комплексного названия тех поворотов в методологии, которые повлияли на историческое

---

<sup>49</sup> Рикёр П. Память, история, забвение. С. 305.

<sup>50</sup> Там же. С. 396.

<sup>51</sup> Там же. С. 356.

<sup>52</sup> Хапаева Д. Указ. соч. С. 147.

<sup>53</sup> Там же. С. 78.

знание: эпистемологический<sup>54</sup>, парадигмальный<sup>55</sup> и собственно исторический поворот<sup>56</sup>.

Между этими вариантами, естественно, есть различие. Так, Л.А.Бурганова и В.И. Гольцов особое внимание уделяют влиянию постмодернистских (лингвистических) новаций, а Н.Б. Селунская в названии «исторический поворот» объединяет воздействие культурного и антропологического поворотов. Кроме того, под ним она понимает «поворот не только самой истории к собственному предмету – человеку, но и социальных наук к истории<sup>57</sup>. Адекватность такого мнения можно подтвердить на примере того внимания, которое социологи стали уделять так называемой «качественной методологии», начавшей несколько теснить количественные методы, означающие беспристрастный сбор и регистрацию полученных данных. Признав, что «для постижения внутреннего мира человека наиболее адекватны методы понимания и интерпретации», социологи стали рассматривать человека «не просто в качестве объекта, а как субъект, обладающий своим миром, ценностями и установками»<sup>58</sup>.

Завершая размышления о комплексном воздействии на историческое знание различных методологических поворотов, я, как и Н.Б.Селунская, склонна считать, что наиболее важные последствия для исторического познания имеют антропологический и культурный повороты, принципиально меняющие характер работы историка. Даже лингвистический поворот, споры о котором продолжаются, не вызвал к жизни новые исторические школы, сопоставимые по своей значимости

---

<sup>54</sup> Бурганова Л.А. Эпистемологический поворот в социогуманитарном знании: от пророчества к экспертизе // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. М., 2008.

<sup>55</sup> Гольцов В.И. Методология интеллектуальной истории как способ преодоления кризиса исторической эпистемологии // Там же.

<sup>56</sup> Селунская Н.Б. «Объяснение» национальной истории в условиях «исторического поворота» // Там же.

<sup>57</sup> Там же. С. 192.

<sup>58</sup> Соловьёв Г.Е. Качественная методология исследования в социальном познании // Современное общество: вопросы теории, методологии, методы социальных исследований. Пермь, 2008. Т. 1. С. 35.

и влиянию со школой «Анналов», где, как уже было сказано, лежат истоки антропологического и культурного поворотов. Невозможно сказать что-то новое по поводу заслуг этой школы, ограничусь эмоциональной фразой американского историка Аллана Мегилла: «Анналы» – это «посланный небесами оазис на тропинке прочь» от историцизма<sup>59</sup>. И ещё одно заключительное размышление возникает в процессе анализа влияния методологических поворотов: споры о них, безусловно, пробуждают интеллектуальные страсти, сочетая рациональные и эмоциональные доводы, что само по себе позитивно, даже независимо от результатов этих споров и этих поворотов.

---

<sup>59</sup> Мегилл А. Историческая эпистемология. С. 341.

## Понятийно-категориальный аппарат теории исторического познания: проблемы и перспективы

*Нет ничего трудней для человека, чем выразить самого себя*

М. Блок. Апология истории

Одной из наиболее динамично развивающихся в современном историческом знании является область теории и методологии. Теоретизация представляет собой важнейшую и необходимую часть научного исследования. Уже в конце XIX в. подход, при котором ученый придавал значение одним только фактам, подвергался резкой критике. Яркие свидетельства тому дошли до нас в воспоминаниях; сохранилось, например, свидетельство Н. И. Кареева о том, что О. Ф. Миллер исследователей, не придававших значения обобщениям и, в целом, теоретической работе, называл «крохоборами»<sup>1</sup>.

Компонентом теоретической работы и отдельным направлением научной деятельности исследователя является работа со специальной лексикой, особым образом выделяемым понятийным аппаратом. Понятие в отдельности и комплекс понятий в целом можно воспринимать в качестве средства для установления и проведения диалога с прошлым. Как возникает такой диалог? В ходе научного исследования автором создается особое интеллектуальное поле. При работе в рамках этого поля главную роль играет языковая форма самовыражения автора и способ коммуникации.

В середине – второй половине XX в. уже был сформулирован принцип единства языка и мышления: «Мы нашли эту единицу, отражающую... единство мышления и речи, в значении слова. Значение слова... представляет собой... неразложимое единство... речи [и] мышления»<sup>2</sup>. Было

---

<sup>1</sup> Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 249.

<sup>2</sup> Виготский Л.С. Мышление и речь. М., 2005. С. 284.

оформлено общее правило: «Кто ясно мыслит – тот ясно выражается». В употреблении существующих понятий, в формировании новых категорий наиболее четко отражается мышление исследователя. Соответствие мышления средствам языкового выражения в середине 1960-х гг. уже являлось устоявшимся фактом: «Поскольку каждая единица мышления находит соответствие в определенной единице языка, а мысли, состоящие из нескольких самостоятельных логических единиц, – в сочетании единиц языка, постольку сложной системе формальных типов единиц мышления и мыслей... должна соответствовать не менее сложная система формальных типов языковых единиц и их сочетаний»<sup>3</sup>.

Сама по себе роль и значение языкового выражения исторического знания были осознаны ранее. В конце XIX – начале XX вв. проблема понятийного аппарата уже рассматривалась в качестве первостепенной: «Вопрос о языке исторических сочинений, о стиле, употребляющемся в них, о терминологии... настолько важен... Одним из главных недостатков языка исторических сочинений является злоупотребление терминологией»<sup>4</sup>. Отсутствие собственного устоявшегося понятийного аппарата осознавалось в качестве большого недостатка исторической науки. Необходимость определения всего комплекса исторических понятий охарактеризовал в 1914 г. Н. М. Бубнов в своем труде «Пособие по методологии истории»<sup>5</sup>. И. Смоленский также указывал, что в начале XX в. в сфере употребления исторической терминологии сложилось бедственное положение: «1. Авторы исторических сочинений (и вообще историки) понимают термины не ясно; 2. они понимают их каждый по-своему». Нормы употребления профессиональной терминологии уже в то время были сформулированы и в литературе считались общепринятыми: «Правила: 1. Если

---

<sup>3</sup> См., например: Чесноков П.В. Основные единицы языка и мышления. Ростов-на-Дону, 1966. С. 182.

<sup>4</sup> Смоленский И. История как наука и как предмет преподавания (Переоценка исторических знаний). Историко-методологический этюд Ильи Смоленского. Одесса, 1905. С. 74.

<sup>5</sup> Бубнов Н. М. Пособие по методологии истории. Киев, 1914. С. 3.

термин имеет строго установившееся, общепринятое значение, то всякий должен употреблять его только в этом значении; 2. Если термин не имеет общепринятого значения, то... автор вправе условиться употреблять его в том смысле, какой будет для него наиболее удобным (но всегда в одном и том же); 3. Если в науке нет термина..., то... автор вправе его создать, давши ему строгое определение».<sup>6</sup> Заметим, что правила эти оставались общепринятыми на протяжении всего XX в. Например, В. Эккерман и Г. Мор, предвзято написав весьма объемного труда описанием понятийного аппарата с определениями<sup>7</sup>.

Проблема, будучи осознанной и сформулированной в конце XIX – начале XX вв., своего решения не нашла. Интересно, что понятийный аппарат исторической науки в конце XIX в. характеризовался исследователями в самых нелестных выражениях: «туман несообразной терминологии», «муть и путаница понятий» (выражения П. Н. Ардашева). Историческое понятие уже осознавалось как форма выражения мыслительной деятельности, посредством которой возможно проникновение в тайны прошлого.

В период становления истории в качестве науки весьма значимую роль играла германская школа, общеизвестным достижением которой стало учение об отличии понятий естественнонаучных от исторических. Вследствие их принципиального различия необходимо было создать цельное и стройное учение о собственно историческом понятии. Этого сделано не было. Итог охарактеризовал Н. Е. Копосов в своей монографии «Как думают историки»: «Но что мы знаем о формах разума, сквозь призму которых рассматриваем историю? До странности мало, особенно если учесть, что программа критики исторического разума была впервые сформулирована сто с лишним лет назад. Среди «основоположников» более других размышляли об этом неокантианцы Юго-Западной немецкой школы. Но и они

---

<sup>6</sup> Смоленский И. Указ. соч. С. 76-77.

<sup>7</sup> Eckermann W., Mohr H. Einführung in das Studium der Geschichte. Berlin, 1966. S. 29-31.

сказали здесь удивительно мало конкретного. Их главная мысль заключалась в том, что в отличие от генерализирующих понятий наук о природе исторические понятия носят индивидуализирующий характер. Однако вопрос о логической структуре индивидуализирующих понятий остался до такой степени не проработанным, что оппоненты сохранили полную возможность утверждать, будто таких понятий вовсе не существует. В итоге теорию индивидуализирующих понятий преследует обвинение в том, что она основана на абсурдном противоречии в определении»<sup>8</sup>.

В середине и конце XX в. положение не изменилось. В своем диссертационном исследовании, посвященном методологическим вопросам исторического познания, Н. П. Французова отмечала: «В истории... нет даже единой терминологии». Констатируя, что методологической основой исторического познания является соотношение принципа историзма и исторического метода, Н. П. Французова пришла к выводу о неразработанности данного вопроса и отсутствии общепринятой трактовки понятий «историзм» и «исторический метод». Проблема понятийного аппарата заняла немалую часть ее исследования<sup>9</sup>.

Одной из наиболее влиятельных национальных исторических школ во второй половине XX в. стала французская. Особо выделяются работы исследователей, примыкавших к традиции «Анналов». Основатели традиции – Л. Февр и М. Блок – осознавали, что имевшийся понятийный аппарат историка XX в. не соответствовал критериям научности. Так, Л. Февр замечал, что уже в 1960–1970-х гг. понятия, которыми исследователи пользовались, имели весьма давнее происхождение и давно устарели: «Любопытно отметить, что сегодня... мы упорно и с важным видом спорим по поводу метафор, пришедших к нам из глубины веков, тяжелых, давящих, непригодных»<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001. С. 10.

<sup>9</sup> Французова Н. П. Методологические и логические вопросы исторического познания: Авт. дисс... докт. ф. н. М., 1973. С. 4, 8-10, 11.

<sup>10</sup> Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 31.

Несмотря на понимание важности данной работы, разработка системы исторических понятий в качестве самостоятельной задачи не выделялась. Разумеется, это вовсе не означает, что работа не проводилась вовсе: некоторые понятия, ставшие общеупотребительными в наше время, вводились в научный оборот в соответствии с логикой конкретно-исторических исследований. Так, М. Блок подчеркивает значение вклада Л. Февра в разработку понятия «цивилизация»<sup>11</sup>.

Сам Блок рассматривал научное понятие как необходимый исследовательский инструмент (что стало обыденным для современных взглядов): «Ибо всякий анализ прежде всего нуждается в орудии – в подходящем языке, способном точно очерчивать факты с сохранением гибкости, чтобы приспособливаться к новым открытиям... без зыбких и двусмысленных терминов. Это и есть наше слабое место»<sup>12</sup>. Восприятию исторических понятий М. Блок посвятил отдельную часть в «Апологии истории». Он выделил ряд специфических трудностей, свойственных работе исследователя. К ним относятся: отсутствие единства в заимствованиях, отсутствие системы символов, не связанных с каким-либо национальным языком, иерархический билингвизм, двусмысленность и мнимая точность терминологии изучаемых социальных реальностей, приблизительность даже самой общеупотребительной профессиональной лексики, различное происхождение и отклонения смысла в совокупности с «эмоциональными излучениями», «инстинктивное применение» (выражения Блока), навязывание прошлому исследовательской терминологии<sup>13</sup>.

Работа над историческим материалом начинается со словаря и словарем завершается (но уже на другом уровне). Решающую роль при любом виде теоретической деятельности исследователя играет историческое понятие. Набор фактов не создает науку, не способен сам по себе сформировать

---

<sup>11</sup> Блок М. Апология истории. М., 1986. С. 106.

<sup>12</sup> Там же. С. 89

<sup>13</sup> Там же. С. 91-107.

целостную картину прошлого. Подчеркивая это, М. И. Бацер в качестве ведущей тенденции развития исторического познания в XX в. выделил именно теоретическое осмысление материала: «Потребность в теоретическом осмыслении фактов осознается на Западе как определяющая характеристика современного процесса познания»<sup>14</sup>.

Отсутствие внимания к работе с понятиями сказалось на исторических исследованиях, относящихся к самым разным направлениям и национальным школам. Примером одной из ведущих национальных школ является американская. Преобладающей тенденцией развития исторической науки в США на протяжении XX в. являлось стремление к специализации. С. И. Жук отмечал, что спецификой американской историографии является «узкая специализация, фрагментация историографии и «научообразность» специфического жаргона, вошедших в моду среди историков США после «эпистемологической революции» 60-х – 70-х годов (XX в. – Л. Г.). Достаточно сказать, что сегодня уже невозможно представить ведение серьезных дискуссий среди историков США за пределами их узкоспециализированных групп»<sup>15</sup>.

Первым и весьма серьезным препятствием для этого явилось отсутствие ясно очерченной специальной лексики. В этом качестве она предстает уже не только как средство исследовательской работы, но и как средство коммуникации внутри профессиональной среды. А. А. Искендеров выразил это следующим образом: «К сожалению, начиная со второй половины XX в. в мировой исторической науке наметилась тенденция, связанная с... усилением фрагментации исторических исследований, когда историки начали углубляться в изучение сравнительно узких сфер прошлого и ослабили внимание к разработке общих проблем теории и методологии

---

<sup>14</sup> Бацер М. И. От нарратива к теории. Англо-американская историография Английской революции XVII в. // Новая и новейшая история. 1997. №5. С. 42.

<sup>15</sup> Жук С. И. Заметки о современной американской историографии // Вопросы истории. 1995. №10. С. 162.

истории»<sup>16</sup>. Порочность такого отношения к профессиональному языку подчеркивалась в редакционной статье журнала «Вопросы истории»: «В ряде случаев этот язык... принял совершенно закрытый характер; общение исследователей друг с другом происходит на уровне принятых ими дефиниций, зачастую уродующих и искажающих конкретно-исторический материал»<sup>17</sup>.

Итак, на протяжении столетия (1890–1990-х гг.) в историографии неоднократно подчеркивалось, что отсутствие точного и единого понятийного аппарата представляет собой методологический изъян. Отмечалось также недостаточное внимание исследователей к работе с понятиями собственной сферы знания. Но как повлияло на положение дел периодически возникавшее внимание к данной проблеме и единодушное признание важности ее немедленного разрешения? Как современными исследователями оценивается состояние исторической науки? Взгляды профессиональных историков о понятиях и категориях собственной сферы знания изучала И. Л. Зубова. В обобщающей статье, изданной в 2005 г., она привела ряд суждений, характеризующих состояние понятийного аппарата исторической науки. Какие отзывы остались в историографии о состоянии понятийно-категориального аппарата собственной науки? «Блестящий разброд» (Г. Нэш), «раскрошенная история» (Ф. Досс), «история – гибрид, не поддающийся классификации» (Д. Тош), «фрагментация истории» (Л. П. Репина), понятийная дискретность исторической науки (А. Филюшкин). Для всех характеристик одним общим выражением является слово «кризис». И. Л. Зубова перечислила причины такого состояния: «Истоки его усматриваются в отсутствии общепризнанной парадигмы и единого научного стандарта исторического исследования. Парадоксальность ситуации состоит в том, что кризисное состояние исторического познания возобновляется

---

<sup>16</sup> Искендеров, А. А. Историческая наука на пороге XXI века // Вопросы истории. 1996. №4. С. 20.

<sup>17</sup> Актуальные теоретические проблемы современной исторической науки // Вопросы истории. 1992. № 8-9. С. 162.

уже на протяжении более ста лет, фактически с того момента, когда были предприняты серьезные попытки обосновать его научный статус»<sup>18</sup>. Действительно, проблема понятийно-категориального аппарата влияет на статус данной сферы знания. Если на протяжении всего времени существования в теории исторического познания не было сделано сколько-нибудь значимых шагов в данном направлении, то неизбежно должен был последовать кризис. И нет ничего удивительного в том, что постмодернизм, заявив о себе как о парадигмальном явлении, в 1980-х гг. – 1990-х гг. приступил к развенчанию именно исторического знания. Зададимся тем же вопросом: действительно, является ли история наукой? Это, во-первых, приводит к вопросу о критериях научности исторического знания. Это, во-вторых, заставляет задать вопрос о возможности исторического знания. Впервые подобная формулировка по отношению к познанию мира в целом была сформулирована И. Кантом. Необходимо задаться подобным вопросом и по отношению к исторической науке.

Соответствие критериям научности само по себе подразумевает и наличие, и постоянное совершенствование понятийного аппарата. Важность этого была подчеркнута П. Веном: «Нет, выяснять, научна ли история – не пустые разговоры, поскольку «наука» – не возвышенное слово, а точный термин, и опыт показывает, что равнодушие к спорам о словах обычно сопровождается путаницей в представлениях о предмете»<sup>19</sup>. Значение этой работы состоит еще и в том, что проблема исторического понятия выводит на ряд проблем иного уровня, в частности на проблему логики исторического исследования. Понимание этой связи было достигнуто уже в начале XX в.: «Вопрос о терминологии есть один из важнейших вопросов логики. В науках, подобных истории, неопределенность терминов настолько велика, что... никакое

---

<sup>18</sup> Зубова И. Л. Современное состояние исторической науки: о некоторых результатах поиска новых парадигмально-методологических ориентаций // Фигуры истории, или «общие места историографии». Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. СПб., 2005. С. 57.

<sup>19</sup> Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М., 2003. С. 5.

другое лицо, да и сам говорящий не знает с точностью, что он желает утверждать»<sup>20</sup>.

В своей статье «Договоримся о словах!», изданной в 2003 г., В. П. Золотарев подвел неутешительные итоги: «В теоретической отрасли современной российской исторической мысли господствуют негативизм и анархия». Автор констатировал, что до сих пор далеко не все ученые отдают себе отчет в значении теоретико-методологических оснований своей работы. Примером могут служить вариации на «методологические» темы в соответствующих разделах диссертаций и авторефератов, назрела необходимость упорядочить терминологический аппарат теории истории. Один из путей выхода из создавшейся ситуации виделся В. П. Золотареву в том, чтобы, вернувшись к тому периоду, когда история конституировалась в качестве науки, разобраться в понятийном аппарате того времени и этим придать толчок современному развитию, надеясь на то, что ответ на него поможет упорядочить современную номенклатуру и терминологию истории как науки<sup>21</sup>. Даже учитывая тот факт, что, по формулировке А. А. Искендерова, достижения русских историков XIX – начала XX в. игнорировались, а часто третировались, замалчивались или извращались<sup>22</sup>, простое возвращение к идеям вековой давности едва ли можно считать верным решением. Ведь, констатируя необходимость возвращения к понятийному аппарату, который осознавался и разрабатывался в середине XIX в., нашел выход в публикациях конца XIX в., а устоявшимся и общепринятым стал в начале XX в. мы перечеркиваем все то развитие, которое прошла наука на протяжении этого столетия. Разумеется, теоретические достижения того поколения исследователей, к которому принадлежат Н. И. Кареев, С. Лаппо-Данилевского,

---

<sup>20</sup> Смоленский И. Указ. соч. С. 75.

<sup>21</sup> Золотарев В.П. Договоримся о словах! // Историческая наука и методология истории в России XX века: К 140-летию со дня рождения академика А. С. Лаппо-Данилевского. Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. Выпуск 1. СПб., 2003. С. 19, 24.

<sup>22</sup> Актуальные теоретические проблемы... С. 159.

Р. Ю. Виппер, неоспоримы, его необходимо изучать, но после всех вызовов, на которые ответила историческая наука в XX в. единственным выходом может стать только собственная работа в данной области.

Полностью справедливой представляется другое утверждение В. П. Золотарева: «Если теоретизирующие историки действительно хотят преодолеть терминологическую путаницу в одной из самых важных областей исторической науки, то они должны договориться (как сказали бы древние) о словах, т. е. о системе терминов и их содержании. Только при таком условии возможно двинуть вперед теорию истории. За ней же потянутся и другие отрасли исторической науки»<sup>23</sup>. В более категоричной форме эта мысль выражена в прогнозе А. А. Искендерова: «Исторической науке XXI в. неизбежно придется уделить серьезнейшее внимание совершенствованию своего понятийного аппарата, который играет важнейшую роль в процессе исторического познания и в значительной мере характеризует ее состояние и уровень развития. К сожалению, тот арсенал научных понятий и категорий, терминов и дефиниций, которыми располагает современный историк, не только крайне ограничен и беден, но и чрезвычайно несовершенен. К тому же, – и это, возможно, важнее всего, – широко используя современные понятия и термины, отражающие новейшие исторические события и процессы, многие историки невольно «подтягивают» историю к современности выпрямляют ее, подгоняют исторический материал к уже готовым формулам, принципиальным оценкам и выводам. В идеале историку надо научиться с каждой исторической эпохой разговаривать на ее языке, используя присущую ей систему понятий и терминов. Только в этом случае он сумеет понять и верно передать дух и особенности эпохи, ее специфику»<sup>24</sup>.

Таким был путь проблемы понятийно-категориального аппарата со времени становления истории как науки до конца XX – начала XXI вв. Но можно ли говорить о конкретных

---

<sup>23</sup> Золотарев В. П. Указ. соч. С. 26.

<sup>24</sup> Искендеров А. А. Указ. соч. С. 28.

последствиях отсутствия достаточного внимания к решению вопросов данного ряда? Результаты очевидны. Для их выявления предпримем попытку краткого обзора профессиональных изданий.

В литературе отмечается, что в теории исторического познания проблема понятийного аппарата возникает при попытках самоидентификации. Эта проблема была вынесена на обсуждение исторического профессионального сообщества не сегодня; можно опереться на мнение А. А. Искендерова: «Сегодня, как и несколько десятилетий тому назад, остро дебатруется вопрос, как следует понимать историю»<sup>25</sup>. Выработан целый комплекс определений. Корректен, например, подход А. М. Еременко, при котором последовательно определяются понятия «история», «историческое событие», «исторические условия». Одну из наиболее общих и выражающих осознанную в научном сообществе необходимость междисциплинарного синтеза трактовок предложили К. В. Хвостова и В. К. Финн: «Историческая наука есть смешанное обществоведчески-гуманитарное, т. е. комплексное знание». С этим нельзя не согласиться: начало XXI в. характеризуется сближением разных сфер знания. Б. Г. Могильницкий еще в 2001 г. писал: «Эффективность исторических исследований всецело зависит от... способности максимально расширить круг привлекаемых познавательных средств и синтезировать их в единую исследовательскую методологию, позволяющую достичь целостного понимания изучаемого объекта... При этом речь идет ... об их синтезе, единственно способном дать новое, интегрированное знание об изучаемом объекте»<sup>26</sup>.

Многозначность, многоплановость свойственна понятиям, которые обозначают разные науки, связанные с теорией

---

<sup>25</sup> Там же. С. 14.

<sup>26</sup> Еременко А.М. К проблеме описания структуры истории. Луганск, 1995. С. 1, 2, 6; Хвостова К.В., Финн В.К. Гносеологические и логические проблемы исторической науки. М., 1995. С. 6. Могильницкий Б.Г. Историческая теория как форма научного познания // Историческое знание и интеллектуальная культура: Матлы научной конференции. Москва, 4–6 декабря 2001 г. М. 2001. С. 6.

исторического познания – «философия истории» и «методология истории». Одного, сколько-нибудь общепринятого, толкования понятия «философия истории» также не существует. М. А. Кукарцева и Е. Н. Коломоец в статье 1998 г. признали: «Философия истории сегодня – не самая популярная область исследования философского знания ... в отечественной философии практически нет сколько-нибудь последовательного, упорядоченного исследования философии истории – ее предмета, методологии, категориального аппарата, основных направлений развития. Очевидно, что до тех пор, пока сохраняется это положение, действительно плодотворных исследований в философии истории ждать придется долго»<sup>27</sup>.

Многим учебным пособиям, которые увидели свет в начале 2000-х гг., присущ такой недостаток, как недостаточно четкое размежевание (или смешение) предмета философии истории, методологии истории, теории истории. Отсутствует и единое понимание этих понятий. Для теории исторического познания наиболее перспективным, создающим возможность выхода на новый теоретический уровень (что отчасти уже нашло воплощение в книге О. М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории») представляется определение упомянутого автора и М. Ф. Румянцевой: «Методология – это учение о методе... в соотнесенности с... эпистемологической и историософской парадигмами»<sup>28</sup>.

В статье «Договоримся о словах!» В. П. Золотарев приводит весь комплекс толкований и приходит к выводу об отсутствии однозначного толкования (и понимания) термина «философия истории»: «Итак, разброс мнений о содержании философии истории в отечественной и зарубежной теоретико-исторической мысли значителен. Со времен Гегеля это словосочетание понимается как философское освещение исторического процесса»<sup>29</sup>. Нет необходимости спорить и по

---

<sup>27</sup> Кукарцева М. А., Коломоец Е. Н. Онтологическая модель философии истории: проблема формирования // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 1998. №4. С. 33.

<sup>28</sup> Медушевская О. М., Румянцев М. Ф. Методология истории. М., 1997. С. 3.

<sup>29</sup> Золотарев В. П. Указ. соч. С. 22.

поводу другого его утверждения о том, что понимание философии истории следует восстановить и отделить его от другого основополагающего термина – методология истории. Но каким видится путь к этому? Для этого В. П. Золотарев предлагает вернуться к формулировкам Н. И. Кареева. По мнению В. П. Золотарева, термин «теория истории» был введен в научный оборот Н. Д. Кондратьевым в 1915 г. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. российскими исследователями данный термин был вновь принят в качестве действующего.

Понятие «философия истории» в научный оборот было введено эпохой Вольтера в смысле универсального исторического обозрения человеческой культуры. Гердер рассматривал философию истории как специальную дисциплину, которая должна изучать общие проблемы истории и проблему существования законов развития обществ. Уже в начале XX в. для термина «философия истории» были выработаны несколько трактовок, а энциклопедический словарь подчеркивал ситуацию, сложившуюся с его пониманием как «неопределенность». Смыслы, которые вкладывались тогда в понимание философии истории:

- 1) философское обозрение прошлых судеб всего человечества, а также истории какого-либо народа или какой-либо эпохи;
- 2) философское исследование общих законов исторического процесса, отвлеченно взятого;
- 3) философскую теорию исторического знания;
- 4) практические выводы, которые могут быть извлечены из истории.

Представители эпохи становления истории как науки выработали еще один термин, который в начале 2000-х гг. был актуализирован в качестве науки, занимающейся вопросами теории исторического познания: историософия. Слово непонятное, что, наверное, способствовало возникновению особой моды на его употребление.

Обзор трактовок понятия «историософия» в современной теории исторического познания дан в работе О. Ф. Русаковой «Историософия как отрасль философии истории: предмет и дискурс». Эта работа вышла в сборнике «Историческая наука и методология истории в России XX века» в ходе первого выпуска

Чтений по теории, методологии и философии истории в 2003 г. О. Ф. Русакова конкретизирует употреблявшиеся ранее понятия и предлагает собственные варианты их понимания, а также обосновывает новые.

В качестве весьма значимого для теории исторического познания представляется понимание реальности. Место этого термина среди остальных определяется тем, что его можно представить в качестве связующего звена между понятиями разных уровней обобщения. Оно непосредственно связано с объектом, предметом и методологией исторического познания, определяя видение более частных областей.

Процессы, которые определяли развитие западной историографии после 1970-х – 1980-х гг., способствовали концентрации внимания на употреблении, но не на разработке данного понятия. В отечественной теоретической мысли на протяжении большей части XX в. господствовали представления исторического материализма, зазубрив которые историку как-то и задумываться о таких понятиях, как «реальность», «пространство», «время» не полагалось. Изменения произошли после 1991 г., но они способствовали, скорее, быстрому, спорадическому и поверхностному восприятию отдельных достижений западной мысли без уяснения их сути.

Это объясняет, почему вполне естественным представляется отсутствие определения «реальность» для теоретической статьи С. Н. Тарадайко. К. Е. Сигалов основывает свое повествование на понятии «историческая реальность». Затем автор переходит к изложению представлений о формационном и цивилизационном подходах к изучению истории. При этом не дается определения базового понятия, а ведь речь идет об учебном тексте! Именно по преподавательским текстам студенты (будущие исследователи) должны формировать свое представление о научном познании. В комплексном виде представляется понятие «реальность» в работе А. В. Первушина. Автором различаются «реальность», «исследуемая реальность», «историческая реальность» и «наблюдаемая реальность». В качестве вывода читатель должен принять следующее замечание: «Реальность превратилась в

наблюдаемую реальность»<sup>30</sup>. А это хорошо или плохо? И какая может быть у историка «наблюдаемая реальность», если история исследует ту реальность, которая принципиально не наблюдается и наблюдаема быть не может (отличие истории, скажем, от физики или химии)?

И. В. Никитина, следуя логике системного подхода, формирует свое понимание реальности для теории исторического познания. Она дает следующее определение: «Социокультурная реальность – это сверхсложная система, элементы которой являются сложными системами». Однако без предварительного оговаривания понятий «система» и «сложная система» подобное определение превращается в пустой набор псевдонаучных слов<sup>31</sup>. За определение и толкование выдается псевдоопределение, где в качестве определяемого можно подставить любое слово. Например: «Общество – это сверхсложная система, элементы которой являются сложными системами», где за элементы примем социальные составляющие, ведь каждую из этих абстракций можно представить в виде сложной или сверхсложной системы. В книге Н. И. Смоленского «Теория и методология истории» вводится в оборот понятие «развитая историческая реальность», при этом автор не определяет объем нового понятия. Следствием такого обращения с понятийным аппаратом становится путаница, алогичность рассуждений<sup>32</sup>.

Реальность историком обязательно мыслится во времени и в пространстве. Отсутствие сколько-нибудь определенного

---

<sup>30</sup> Тарадайко С.Н. Предметная специфика социального познания как философско-методологическая проблема // Объективный и субъективный факторы в историческом процессе. М., 1988. С. 3-10; Сигалов К.Е. Проблемы периодизации исторического процесса: формационный и цивилизационный подходы. М., 1998; Перушин А.В. Кризис историзма. Техника «истории» // Гуманитарные науки и образование в контексте формирования исторического мышления: Труды Всероссийской научно-практической конференции (Бийск, 12–13 мая 2005 г.). Бийск, 2005. С. 42-43.

<sup>31</sup> Никитина И. В. История как наука о социокультурной реальности в свете «многомодельного подхода» // Гуманитарные науки и образование... С. 12-15.

<sup>32</sup> Смоленский Н.И. Теория и методология истории. М., 2007. С. 207.

понимания этих категорий признается в научном сообществе. Д. А. Максимова в 1973 г. констатировала: «Историческое время – малоисследованная категория». Все богатство объема данного понятия продемонстрировано авторами статей, составивших новейший сборник (выпущен под редакцией М. С. Бобковой ИВИ РАН)<sup>33</sup>.

Настолько же важным для исторического исследования является понятие и понимание пространства. Локализация исторического исследования представляет собой отдельную проблему. Охарактеризуем ее лишь на примере одного исследовательского направления – местной истории. С. А. Гомаюнов, показывая развитие региональной истории на протяжении последних 150 лет, приходит к выводу об отсутствии проработанности и определенности одной из ключевых категорий местной истории – «место», которая в методологическом аспекте пока не рассматривалась<sup>34</sup>.

В работе любого исследователя особое место занимает понимание научного факта. Подробно разбирает объем понятий «исторический факт», «исторический образ», «историческая истина» В. А. Ельчанинов в своей монографии «Проблемы творчества в историческом познании и искусстве»<sup>35</sup>. Но понимание исторического факта в настоящее время во многом нуждается в новом осмыслении. Смена парадигмальных установок, изживание позитивистских взглядов привели к размыванию данного понятия. Не выяснена проблема объективности исторического познания, ее степени, ее ограничений. В этом смысле сомнительными выглядят и методологические вступления современных диссертаций, где обосновывается объективность как принцип. Во многом это диктуется наработками прошлых лет, когда понимание

---

<sup>33</sup> Максимова Д.А. Методологический анализ теории в исторической науке: Авт. дисс... к. ф. н. Новосибирск, 1973. С. 15; Время в координатах истории: Тезисы международной научной конференции. М., 2008.

<sup>34</sup> Гомаюнов С.А. Местная история: проблемы методологии // Вопросы истории. 1996. № 9. С. 160.

<sup>35</sup> Ельчанинов В.А. Проблемы творчества в историческом познании и искусстве. Томск, 1979. С. 30–31, 48, 155.

исторического факта виделось как «достоверное знание о прошлых событиях»<sup>36</sup>.

Понимание исторического факта и совокупности научных фактов влияет на формирование понятий «исторический процесс» и «исторический период». В отечественной мысли неоднократно отмечались недостатки современного видения развития истории, ее отдельных этапов. Общеупотребительные названия часто не дают сколько-нибудь четкого представления об истории и не могут употребляться одинаково к разным цивилизациям (например, понятие «феодализм»). Спорными выглядят понятия, которые обозначают и другие периоды («Новое время», «Новейшее время»). Неразработанность в этой области вызывает полное вымывание конкретности: так, Л. А. Кряжева дала собственное определение понятию «исторический процесс»: «Исторический процесс – это специфическая форма бытийности мироздания». Есть основания считать обоснованным подход Л. С. Чурочкиной: объясняя методологические проблемы периодизации, она не только раскрывает объем понятий, употребляемых в ее исследовании, но и поясняет процесс их изучения. Так, она поясняет: вопрос о гносеологическом статусе категорий «общественно-экономическая формация», «уклад», «историческая эпоха» и подобных им был поставлен в отечественной исторической и философской мысли в 1970-х гг. А. Я. Гуревичем, Е. М. Жуковым, М. А. Баргом, Е. Б. Черняком. Полностью обоснован подход Ю. Г. Ершова: вторую главу своего исследования автор целиком посвятил освещению понятия «переходный период»<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Французова Н.П. Методологические и логические вопросы исторического познания: Авт. дисс... докт. ф. н. М., 1973. С. 17.

<sup>37</sup> Кряжева Л.А. О философском видении перспектив исторического процесса в канун XXI века // Современный исторический процесс: истоки, перипетии, перспективы. Йошкар-Ола, 1999. С. 120; Чурочкина Л.С. Методологические проблемы периодизации исторического процесса в советской философии и исторической литературе 60–80-х годов: Авт. дисс... к. ф. н. М., 1990. С. 16; Ершов Ю. Г. Проблема периодизации всемирной истории: соотношение исторического и логического: Авт. дисс... к. ф. н. Свердловск, 1981. С. 15-17.

Проблема терминологии, связанной с наименованиями периодов в частности и периодизации в целом, связана с целым понятийным комплексом, ядром которого выступает понятие «цивилизация». Для совершения теоретического прорыва в исторической науке в 1990-х гг. отечественные исследователи пришли к выводу о необходимости перехода от формационного подхода к цивилизационному. Однако часто переход к иным познавательным установкам сводился к замене слов. Упускалось из виду, что такие понятия, как «общество», «цивилизация», «формация» «личность», «ментальность» имеют конкретно-историческое содержание. При этом в историческом познании сталкивается понятие изучаемой эпохи (которое по-своему отражает картину мира) и понятие исследователя. У этого процесса была и другая сторона – подмена объемов понятий. Типичный пример: когда стало немодным или неудобным понятие «класс», многие стали произвольно заменять его понятием «сословие».

Какие последствия имело такое словоупотребление? Опасность была выявлена в самом начале смены исследовательских установок: «К сожалению, пока вместо разработки целостной теории цивилизаций ученые ограничиваются призывами изучать культуру, менталитет и т. п., не имея при этом достаточно ясного представления о сущности цивилизационного процесса. Для того, чтобы добиться какого-то консенсуса, надо, очевидно, понять... систему категорий, отражающих цивилизационный уровень исторического процесса»<sup>38</sup>. В результате этого в теории исторического познания соотношение категорий «формация» и «цивилизация» долгое время оставалось едва ли не главным направлением<sup>39</sup>. В 1992 г. в редакционной статье журнала «Вопросы истории» признавалось: «Такие категории, как феодализм, капитализм... во многом исчерпали свои

---

<sup>38</sup> Актуальные теоретические проблемы... С. 164.

<sup>39</sup> См., например: Бурмистров Н.А. Историческая мысль в поисках методологического обоснования концепции единства всемирной истории // Ученые записки Казанского университета. Т. 134: Проблемы отечественной и зарубежной истории и историографии. Казань, 1998. С. 23-26.

эвристические возможности, которые и прежде были весьма ограниченными. Но кризис исторической науки будет еще более углубляться, если историки начнут пользоваться разными категориями им терминами и перестанут вообще понимать друг друга». Отсутствие ясного понимания общенаучной лексики фиксируется и в других исследованиях, в частности, в книге Н. И. Смоленского, где констатируется «отсутствие... четкого представления о том, что такое цивилизация». Н. А. Бурмистровым категория «цивилизации» признана как не имеющая единого классификационного основания<sup>40</sup>. Это, в свою очередь, ведет к некорректному употреблению. Так Е. В. Антипова определяет: «Цивилизация есть все человечество, социальная форма движения материи»<sup>41</sup>. Данный подход запутывает все окончательно: человечество – это не социальная форма движения материи. Понятие «цивилизация» традиционно противопоставлялось понятию «варварство». И то, и другое характеризует человечество.

Переходя к смежным понятиям («народ», «нация», «этнос»), нельзя не обратиться к работам Л. Н. Гумилева. Характеризуя историю определения термина «этнос», Л. Н. Гумилев вспоминал парадоксальную ситуацию, сложившуюся в 1960-х гг.: «Вопрос о то, что такое «этнос», т. е. как у нас сейчас принято говорить «нация», был совершенно неясен в самом Институте этнографии. Выяснение объема понятия «этнос» было необходимо даже не для отвлеченных теоретических изысканий, а для удовлетворения конкретных потребностей народного хозяйства – для составления этнографических карт». Осознавая важность терминологии для исторического познания, Л. Н. Гумилев сам позволял себе весьма вольные трактовки. Для этногенеза важным является процесс становления этнического самосознания. Л. Н. Гумилев характеризовал понятия «отечество» и «родина»: «жесткую связь человеческого коллектива с ландшафтом, т. е. понятие

---

<sup>40</sup> Актуальные теоретические проблемы... С. 165; Смоленский Н.И. Указ. соч. С. 53; Бурмистров Н.А. Указ. соч. С. 24.

<sup>41</sup> Антипова Е. В. Понятие цивилизации в контексте социально-философского знания // Цивилизация и общественное развитие человека. М., 1989. С. 48.

«Родина» и со временем, т.е. понятие «отечество». Это... два параметра, которые перекрещиваясь, дают нужную точку, фокус, характеризующий этнос». На творчестве самого Л. Н. Гумилева весьма сильно сказалось отсутствие механизма формирования понятий, что приводило к большим натяжкам. Так, обосновывая свое понимание этноса, он прибег к случайно найденному у К. Маркса противопоставлению понятий «*Gemeinwesen*» и «*Gemeinschaft*». Такое разделение понятий К. Марксом было применено для определения понятия «этнос». Удивительно, что подобное отношение к работе с понятийным аппаратом не вызвало резко отрицательной оценки со стороны коллег и С. Б. Лавров описывал это весьма добродушно: «Я помню, как он радовался, найдя у раннего Маркса понятие *Gemeinwesen*, которое, как ему казалось, вполне вписывалось в его теорию этногенеза... Здесь, конечно, натяжка, состоящая в идентификации упомянутого немецкого термина с понятием «этнос», но если очень хочется найти известного союзника в науке, то можно»<sup>42</sup>.

Одновременно с понятием «цивилизация» для отечественного исторического познания стало характерным употребление понятия «менталитет». Весьма обоснованной представляется позиция Ф. Грауса. По его мнению, словом «менталитет» называется часто все то, что не подпадает под определение других понятий («политика», «социально-экономические отношения», «обычай», «закон»). Оно позволяет продвигаться дальше в давно разрабатываемых областях исследований, там, где традиционная метода не дают эффекта. С помощью этого слова объясняют и то, что представляется странным и непонятным в культуре и истории других народов. Менталитет есть только абстракция; это понятие, придуманное историками, а не явление, открытое ими в исторической действительности.

Ф. Граус считает: понятие «менталитет» так же неопределимо, как понятие «культура» или «идеология». Менталитет — это «общий тонус» долговременных форм

---

<sup>42</sup> Гумилев Л. Н. Автонекролог // Лавров С. Б. Лев Гумилев: Судьба и идеи. М., 2003. С. 28, 33, 56.

поведения и мнений индивидуумов в пределах групп. Менталитет никогда не монолитен, часто противоречив; он образует специфические «вживленные образы», стереотипы мнений и действий. Он проявляется в предрасположенности индивидуума к определенным типам реакций — собственно, он является их механизмом.

Менталитет отличается от «мнений», «учений», «идеологий» тем, что своими носителями он никогда не может быть отрефлексирован и сформулирован. Менталитет исследуется сторонним наблюдателем, отслежен нами там, где мы видим что-то непохожее на нас самих. Менталитет не тождественен высказанным мыслям и видимым образам действия. Менталитет стоит за ними и определяет границу между тем, что человек вообще может помыслить и допустить, и тем, что он ощущает как «немыслимое», «невозможное». Историческим изучением менталитета является исследование суммы механизмов реакций и базовых представлений, характерных для ограниченных групп на заданном отрезке времени<sup>43</sup>. Изложение точки зрения Ф. Грауса выглядит обоснованным при обращении к попыткам толкования понятия «менталитет», которое наиболее часто смешивается с другими. В статье М. А. Шестаковой менталитет толкуется аналогично парадигме: «Менталитет... набор категорий, универсальных понятий, без которых невозможно построение никаких идей и концепций»<sup>44</sup>. В целом можно признать, что именно в употреблении понятий «цивилизация» и «менталитет» выявилось такое веяние в развитии теории исторического познания, как мода. А мода подразумевает слепое следование ей. Более того, сложившееся положение прямо признается Е. Ю. Зубковой и А. И. Куприяновой: «Термин «менталитет» часто употребляется скорее как дань моде, нежели как результат

---

<sup>43</sup> Граус Ф. Менталитет в средневековье. История ментальностей и историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 79-80.

<sup>44</sup> Шестакова М.А. К вопросу о природе исторического познания // Современный исторический процесс: истоки, перипетии, перспективы. Йошкар-Ола, 1999. С. 16.

осознанного понимания необходимости изменить сам подход к историческому исследованию»<sup>45</sup>.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. для теории исторического познания привычным стал процесс изменения объемов старых понятий. Новая жизнь дана, например, таким терминам, как «вероятность» и «случайность». Изучение этой части терминологии – дело будущего. Необходимо подчеркнуть особую работу в данном направлении представителей Томской историографической школы, в частности, А. В. Бочарова<sup>46</sup>. Привычным стал также процесс создания новых исследовательских направлений, одним из которых является альтернативистика. Однако для новых областей проблема понятийно-категориального аппарата является такой же насущной, как и для традиционных, о чем писал, например, Я. Г. Шемякин: «Необходимо расширить используемый понятийный аппарат. Проблематика альтернативности – это междисциплинарная проблематика и для того, чтобы осветить ее всесторонне, нужна не только общепhilosophическая терминология, но и язык междисциплинарного общения, каковым является язык теории информации, кибернетики, общей теории систем»<sup>47</sup>. Это же касается употребления старых понятий в новых условиях. Так, в 1980-х гг. В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзоном было подчеркнуто, что категории «потребность» и «интерес» человека исторического не определены. Соавторы книги признавали, что в категорию «интерес» все вкладывают разный смысл<sup>48</sup>. В последующее время исследователи предпочитали заимствовать результаты изучения подобных понятий из смежных наук, нежели развивать собственное понимание.

---

<sup>45</sup> Зубкова Е.Ю., Куприянов А.И. Ментальное измерение истории: поиски метода // Вопросы истории. 1995. № 7. С. 153.

<sup>46</sup> Бочаров А. В. Использование категорий «возможность» и «вероятность» в историческом познании // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 2001. С. 24-45.

<sup>47</sup> Шемякин Я.Г. Теоретические проблемы исследования феномена альтернативности // Анналы: Научно-публицистический альманах. № 3: Альтернативность в истории. Донецк, 1992. С. 23.

<sup>48</sup> Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история: (Проблемы теории исторического процесса). М., 1981. С. 131.

Современное отношение к проблеме понятийно-категориального аппарата в теории исторического познания оттеняется при изучении работ классиков. Не случайно, например, Ф. Фюре, описывая собственное видение Французской революции, специально и целенаправленно останавливается на терминологии. Это для него – правило работы даже в тех случаях, когда речь идет о тех словах, которые, казалось бы, являются частью даже не научной, а обыденной лексики. Это касается, например, трактовки идеологии: «Термин «идеология» обозначает здесь два явления, которые, на мой взгляд, составляют истинную основу революционного сознания»<sup>49</sup>. Это же касается и тех понятий, которые употреблялись другими историками; в частности, Ф. Фюре напоминает толкование понятия Кошена «умственное общество».<sup>50</sup> С таким же подходом мы встречаемся, когда речь заходит об общеупотребительной терминологии, примером чего могут являться слова «феодалная реакция» и «аристократия», по поводу выяснения термина «абсолютная» по отношению к французской монархии кануна революции, по поводу термина «буржуазная революция»<sup>51</sup>.

Именно Ф. Фюре обращает внимание на серьезное обстоятельство, которое нами не учитывается при введении в научный оборот новых слов. Применение термина само по себе способно спровоцировать создание целой концепции: «Начнем... с самого понятия «буржуазная революция». Оно дает для исторического понимания почти провиденциальную точку опоры, предлагая обобщенную концепцию, позволяющую не только охватить множество эмпирических данных, но и различные уровни реальности – экономический, социальный и политико-идеологический»<sup>52</sup>.

Для теории исторического познания важен не только процесс создания, но и соотношения понятий: эта область также не принимается в качестве объекта изучения и представляет собой отдельную проблему. Приходится лишь констатировать: в

---

<sup>49</sup> Фюре Ф. Постигание Французской Революции. СПб., 1998. С. 34.

<sup>50</sup> Там же. С. 48.

<sup>51</sup> Там же. С. 102, 113, 117, 125-126.

<sup>52</sup> Там же. С. 125.

редких случаях исследователи задумываются над вопросом о том, как соотносятся употребляемые ими понятия. Можно обоснованно утверждать, что данная проблема имеет свою собственную традицию. По крайней мере, еще в 1973 г. В. В. Иванов признавал: «Вопросы о соотношении категорий «история» и «современность» не изучены». Современный автор, А. А. Аникеев, отмечает отсутствие понимания соотношения и «особенно взаимосвязи таких понятий, как «формация», «цивилизация», «культура»<sup>53</sup>.

Проблема формирования понятийного аппарата, вопрос соотносимости понятий прямо связаны с логикой исторического исследования. Логика – одна из важнейших частей теории научного познания в целом. Не случайно именно эта тема присутствует в качестве отдельного исследовательского направления в работе многих российских исследователей. Отечественными исследователями проблема логической основы исторического познания поднималась неоднократно<sup>54</sup>. Б. А. Грушин рассматривал логическую характеристику категории «процесс развития» применительно к исторической науке<sup>55</sup>. Однако комплексного исследования логики исторического исследования проведено не было. Любопытно и показательно, что случай, когда логик приходит к разработке проблем истории особо выделяется Н. Е. Копосовым: «Г. Риккерт был единственным логиком среди критических философов истории, и им с

---

<sup>53</sup> Иванов В.В. Соотношение истории и современности как методологическая проблема: Очерки по марксистско-ленинской методологии исторического исследования. М., 1973. С. 9; Аникеев А.А. О некоторых вопросах современной методологии истории // Новая и новейшая история. 1997. №2. С. 171.

<sup>54</sup> Ельчанинов В.А. Исторический и логический методы в изложении научных знаний: Авт. дисс... к. ф. н. Томск, 1967; Смоленский Н.И. Вопросы логики исторической науки в новейших исследованиях // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 18. Томск, 1986. С. 41-49.

<sup>55</sup> Грушин Б.А. Процесс развития (логическая характеристика категории в свете задач исторической науки) // Проблемы методологии и логики наук: Ученые записки Томского университета. № 41. 1962. С. 91-104.

наибольшей полнотой разработана теория индивидуализирующих исторических понятий»<sup>56</sup>.

Недостатки собственно исторического понятийно-категориального аппарата в настоящее время отчасти компенсируются междисциплинарностью современного научного знания. Распространенным является заимствование терминологии из других наук. При выяснении вопроса о соотношении понятий «исторический факт» и «объективная реальность», Н. П. Французовой пришлось даже прибегать к сравнению истории людей с историей геологии<sup>57</sup>.

Действительно, междисциплинарный синтез, вероятно, составляет будущее научного познания. Проблема в понимании одного и того же термина возникает потому, что историк, работая на границе нескольких сфер знания, использует термины разных наук, следствием чего является разная (и даже противоречащая друг другу) интерпретация понятий.<sup>58</sup> Для второй половины XX в. наиболее ярким примером в этом отношении может служить работа Л. Н. Гумилева. Но и в этой сфере необходима работа над разграничением предметов разных сфер знания. Подчеркнем это на примере смежных областей – истории и социологии: со стороны Э. В. Сайко было предложено «установление содержательной характеристики цивилизации как... социальной реальности», не вдаваясь, в определение самого термина «социальная реальность». Определение понятия «социальная реальность» дал П. Сорокин, но его понимание свойственно для социологии. Применять определения из смежных отраслей знания можно, но это необходимо специально оговаривать, как, например, сделала Д. А. Максимова при употреблении понятия «социальная ситуация»<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 236.

<sup>57</sup> Французова Н.П. Методологические и логические вопросы исторического познания: Авт. дисс... докт. ф. н. М., 1973. С. 28, 30.

<sup>58</sup> Берк П. «Новая история», ее прошлое и будущее // Альманах всеобщей истории XVI–XX вв. Екатеринбург, 2004. С. 90.

<sup>59</sup> Сайко Э.В. Вопросы стадийного анализа всемирно-исторического развития цивилизации // Цивилизация: теория, история и современность. М., 1989. С. 2-19; Максимова Д.А. Методологический

Заимствование понятийного аппарата дополняется другими процессами. Так, свой термин «метаисследование» употребляется А. Б. Бочаровым с косвенным объяснением (через альтернативный подход понимания исторического процесса): «Представляет интерес другое: альтернативный подход с общетеоретической точки зрения, т. е. метаисследование, с использованием аппарата и методических разработок в смежных с историей дисциплинах». За неимением собственно исторических средств для проведения работы, исследователь вынужден обращаться к иной сфере знания – физике: «В качестве образца модели исследования можно взять физику, поскольку теорию физики задают существующие в ней: а) законы, б) способ исследования, в) среда исследования и г) объект исследования»<sup>60</sup>. Необходимо и при данной работе помнить о разнице между словоупотреблением в разных сферах научного знания: «В естественных науках каждое понятие имеет смысл при всех условиях (в физике одно понятие силы). В общественных же науках каждое слово имеет в разных культурных образованиях различное значение (в результате того, что оно выступает всякий раз функцией другой системы)»<sup>61</sup>.

Эти и многие другие проблемы, обусловленные недостатками понятийно-категориального аппарата или связанные с ними, в большинстве современных изданий и, прежде всего, учебных пособий, не раскрываются. Так, полностью обходит вопросы работы с понятийным аппаратом И. П. Попов в учебном пособии к спецкурсу «Основы научного исторического исследования». Характеризуя преподавание проблем методологии истории, А. Г. Голиков не включал в них

---

анализ теории в исторической науке: Авт. дисс... к. ф. н. Новосибирск, 1973. С. 6.

<sup>60</sup> Бочаров А. Б. Альтернативная история в контексте естественнонаучной парадигмы: версия системного анализа // Фигуры истории, или «общие места историографии». Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. СПб., 2005. С. 8.

<sup>61</sup> Желенина И. А. Об объективности исторического знания (Критический анализ некоторых современных концепций) // Вестник Московского университета. Философия. 1969. № 2. С. 53.

работу с понятийно-категориальным аппаратом<sup>62</sup>. Таким образом, проблема даже не включается в число тех, которые относятся к базовым для исторического исследования. Это не может не наводить на мысль о том, что кризисное состояние в данной области, отмечавшееся на протяжении последних ста лет, станет чертой развития теории исторического познания первой половины XXI в. (первое десятилетие которого уже на исходе). Это может принять патологический характер: ведь проблема формирования и совершенствования понятийного аппарата соотносится с проблемой концептуализации научного знания, о которой в своих работах, изданных в начале 1980-х гг., упоминали А. И. Ракитов и И. С. Тимофеев. Смысл слов, употребляемых в ходе научного исследования, А. И. Ракитовым трактовался как «частичная профессиональная концептуализация (изменение смысла слов для решения исследовательских задач и формирование своего языка)»<sup>63</sup>.

Нельзя сказать, что историки не понимают важности работы по совершенствованию понятийного аппарата. Так, Б.Г. Соколов (г. Санкт-Петербург) с современных позиций подверг анализу термин «историзм». Характерным (и методологически правильным) в его работе является то, что начинает исследователь с выяснения самого термина «история»<sup>64</sup>. Пермский исследователь М. П. Лаптева признает: «Теоретическая зрелость любой науки зависит от развития ее понятийного аппарата. В понятиях, применяемых историками, фиксируется логика развития исторических явлений и процессов». Большая или меньшая степени разработанности понятийного аппарата определяют во многом саму науку и ее отношения с обществом: «От состояния языка историка зависит

---

<sup>62</sup> Попов И.П. Основы научного исторического исследования. Рязань, 1996.; Голиков А.Г. Преподавание проблем методологии истории в МГУ им. М. В. Ломоносова // Новая и новейшая история. 2006. №5. С. 139-150.

<sup>63</sup> Тимофеев И.С. Проблема концептуализации историко-научного знания // Методология развития научного знания. М., 1982. С. 45-54; Ракитов А.И. Историческое познание. М., 1982. С. 128-129.

<sup>64</sup> Соколов Б.Г. История и время // Фигуры истории, или «общие места историографии». Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. СПб., 2005. С. 92-97.

степень научности исторической картины, адекватность наших представлений о прошлом, а также эффективность и мера их воздействия на формирование исторического сознания общества... Язык историка – это единственная форма связи с коллегами и читателями... Убедить... людей можно только на понятном им языке»<sup>65</sup>.

Наверное, для понимания данной проблемы требуется перестройка системы исторического образования с приданием большего значения теоретическому компоненту. Это диктуется и общим видением диалога исследователя с объектом изучения. Баттерфилд еще в начале 1950-х гг. признавал: «Подлинное понимание истории может быть достигнуто не подчинением прошлого настоящему, но, скорее, превращением прошлого в наше настоящее и попытками увидеть жизнь глазами иного, чем наше собственное, столетия»<sup>66</sup>. Однако «вживание» в иное видение мира возможно только путем реконструкции ментальности, а это требует особо тщательного обращения с понятийным аппаратом.

Итак, роль проблемы формирования и развития понятийного аппарата в системе исторического познания не является какой-то новацией, вызванной современностью. Проблема выявлена в самом начале формирования истории как научного знания. Роль категорий по отношению к отдельным историческим наукам также осознана в научном сообществе<sup>67</sup>.

Кризис исторической и философской мысли проявляется, прежде всего, в отсутствии самого необходимого инструментария для работы – понятийно-категориального аппарата. Понятийный аппарат, как часть языка, находится в постоянном движении, это непрерывно изменяющийся конгломерат. Уже в конце 1980-х гг. проблема деятельности

---

<sup>65</sup> Лаптева М.П. Язык историка и проблема понимания // Фигуры истории, или «общие места историографии». Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. СПб., 2005. С. 68, 70-71.

<sup>66</sup> Butterfield H. The Whig interpretation of history. London, 1951. P. 16.

<sup>67</sup> См., например: Суркова Н.В. О роли категорий в историографическом исследовании // Категориальные основания научного познания. Куйбышев, 1988. С. 107-113.

историка стала частью проблемы специфики исторического исследования (главным компонентом которой выделяется специфика мышления историка). В конце XX – начале XXI вв. отдельным направлением стало изучение языка историка и роль языка в создании исторического исследования. Характерной чертой современного состояния данного направления является отсутствие отдельного исследования монографического характера.<sup>68</sup> В конце XX – начале XXI вв. наиболее сильное воздействие на изучение исторического познания оказывал совершившийся в западной историографии лингвистический поворот.<sup>69</sup>

Проблема, поднятая в данной статье, неминуемо приводит к вопросу о соответствии истории требованиям научности. А. И. Ракитов ввел понятия «эпистемологический идеал» и «эталон науки». Их он определял через понятия «сильная версия концепции науки» и «слабая версия концепции науки» А. И. Ракитов утверждает, что основой познавательных систем является слабая версия концепции науки: 1. Каждая форма познания имеет собственную онтологическую систему и относится к отдельной совокупности объектов; 2. Каждая форма познания имеет свой предмет знания (или онтологическую модель); 3. Каждая форма познания имеет собственный круг проблем, внутри которого выделяются т.н. «стержневые»; 4. Каждая форма познания имеет свои принятые критерии истины; 5. Каждая форма познания имеет свои методы исследования. Методы рациональны, подчинены решению рационально сформулированных проблем, принятым критериям истинности и ориентированы на качественно определенный предмет и объект знания; 6. Каждая форма познания имеет исходный эмпирический базис знания. Ей является информация,

---

<sup>68</sup> Ким В. В. Структура языка науки // Новые идеи в философии науки и научном познании. Екатеринбург, 2002. С. 35-54; Смоленский Н.И. Теория и методология истории. М., 2007. С. 198-207.

<sup>69</sup> Выражением этого является, например, работа Ю. А. Тюменцева: Тюменцев Ю. А. «Метафорический нарративизм» о роли языка при формировании исторических интерпретаций // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 27. Томск, 2003. С. 56-62.

полученная прямым и непосредственным чувственным наблюдением; 7. Каждая форма познания имеет специфические теоретические знания, наиболее развитой формой которых является теория; 8. Существует частичная профессиональная концептуализация (изменение смысла слов для решения исследовательских задач и формирование своего языка). Сильная версия концепции науки является эпистемологическим идеалом науки. Именно посредством введения понятия «эпистемологический идеал» А. И. Ракитов объяснял разграничение историографии и философии истории: «Историческое познание в его современной профессиональной форме не обладает теорией, приближающейся к требованиям эпистемологического идеала. Вместе с тем историческая наука целиком соответствует слабой версии науки и располагает большим объемом теоретических знаний... ... внутри исторического познания, рассматриваемого как особый класс в системе наук, роль теоретического знания выполняла (и еще отчасти выполняет) философия истории».<sup>70</sup>

В начале XXI в. исследователи вновь ставят перед собой вопросы о природе исторического познания, о критериях его научности, об историческом сознании, признавая, что ответы не найдены. Соглашаясь с тезисом В. А. Ельчанинова о недостаточности формально-дефиниционного подхода к определению предмета исторической науки,<sup>71</sup> правомерными будут следующие выводы:

1. Адекватность исторического исследования требует, прежде всего, адекватного инструментария, первым и основным видом которого является понятийный аппарат. Его отсутствие обязательно влияет на качество работы. Ярким примером проявления этого правила стала «программа социальной истории» (термин Н. Е. Копосова): «Возможно, мы понимаем некоторые из причин, по которым программу социальной истории выполнить не удалось. Историки не

---

<sup>70</sup> Ракитов А.И. Историческое познание. М., 1982. С. 118, 128-129, 130.

<sup>71</sup> Ельчанинов В.А. Методологический анализ проблемы отношения исторической науки к искусству: Авт. дисс... докт. ф. н. Новосибирск, 1979. С. 13.

сумели совладать... с задачей... не сумели в силу неадекватности словесного материала. Тогда историки потянулись к словам, которые неожиданно предстали идеальными фальсификаторами логики пространства. Следом стала распадаться модель глобальной истории. Одним из мотивов перехода к микроистории была... именно возможность нарушить в микромасштабе... жесткую логику привычных макроисторических категорий. Вся система..., неразрывно связанная с понятийной системой и программой глобальной и социальной истории, перестала быть несомненным референциальным кадром».<sup>72</sup>

2. Не изучены познавательные стандарты исследователя в восприятии прошлого, конструировании прошлого и отражении в виде системы понятий.
3. Отсутствует общепринятый для исторической науки понятийный аппарат. Нет единого понимания терминов, входящих в состав даже самой распространенной специальной лексики. Возникает вопрос: возможно ли создание такой единой системы научных понятий, которая смогла бы адекватно описывать прошлое? История часто предстает перед нами в качестве проекции на прошлое собственных представлений исследователя, языковых формул, выработанных временем существования историка. Без собственного понятийного аппарата невозможно проведение исследовательских операций. Эта зависимость очевидна; когда М. Блок описывал необходимость проведения тонкого анализа по отношению к деятельности человека и социальных групп прошлого, он отметил необходимость проведения классификации: «Проблема же классификации... неотделима от важнейшей проблемы терминологии. Ибо всякий анализ прежде всего нуждается в орудии – в подходящем языке, способном точно очерчивать факты с сохранением гибкости, чтобы приспособливаться к новым открытиям... без зыбких и двусмысленных терминов. Это и есть наше слабое место».<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 214.

<sup>73</sup> Блок М. Указ. соч. С. 89.

4. В научный оборот конца 1990-х – начала 2000-х гг. вошли принципиально новые понятия: синергетика, глобальный эволюционизм, коэволюция и многие другие. Современная философская и научная мысль создают условия и являются содержательной основой для создания новых парадигмальных, методологических установок в исторической науке.
5. Обновление понятийного аппарата совершается крайне медленными темпами.
6. Работа с понятийным аппаратом не рассматривается в качестве одного из основных видов исследовательского труда.
7. Для заполнения лакун собственно исторического понятийного аппарата приходится прибегать к терминологии других сфер знания. Заимствования делаются произвольно. Терминология заимствуется не только из социальных и гуманитарных наук, но и из точного, и естественнонаучного циклов.
8. «Методологическая невинность» историков восполняется философами и исследователями, работающими в самых разных областях. Это, в свою очередь, приводит к антинаучным явлениям. «Феномен Фоменко» – наиболее яркое тому доказательство, когда математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ, забывая о профессиональной этике, создает объемные псевдоисторические труды. Они, изданные огромными тиражами, в отличие от работ профессиональных историков, в условиях очередного «смутного» времени обязательно находят путь к сердцу читателя. Результат получается отрицательный и для истории, и для общества, и для тех, кто, возможно, мог бы в будущем избрать для себя профессию исследователя.
9. В современной исторической науке отсутствует такое явление, как терминологические споры. Дискуссия по поводу употребляемой терминологии позволяет выявить границу между сферой познанного и непознанного, между объясненным и необъясненным (а, может быть, и не поддающимся объяснению). Внутри сферы познанного

терминологический спор даст возможность уточнить наличное знание. Терминологический спор способен привести к выявлению степени ложности или некорректности познанного и объясненного, выйти на новый круг исследовательских вопросов, создать новую проблематику.

10. Не изучен вопрос о соотношении исторического понятия и языковых механизмов, воздействующих на исследователя, создающего собственное видение истории. После совершения лингвистического поворота доминирующей тенденцией развития в исторической эпистемологии стало убеждение в том, представления историка не представляют чего-либо, что выходило бы за рамки создававших эти представления языковых механизмов. При этом неизбежно возникают следующие вопросы: как соотносятся понятие (и система понятий) и знание? Как соотносятся понятие и принцип объективности научного познания? Как соотносятся понятие и историческое повествование? Возможно ли описание того, что называется научным знанием? Как системой понятий описать научное знание? Как соотносятся процессы формирования понятий с процессами идентификации и номинации объекта исторического исследования? Каковы место и роль понятия и системы понятий в исторической эпистемологии? На подобные вопросы ответы не искались.
11. Не принимались для изучения следующие вопросы: что собой представляет соотношение понятий изучаемой эпохи (объекта исследования) и понятийного аппарата (инструментария) исследователя? Понятие должно рассматриваться как конструкт сознания субъектов исторического процесса и субъекта исторического исследования.
12. Проблема формирования и совершенствования понятийного аппарата неразрывно связана с проблемой понимания научной рациональности и ее познавательных возможностей. Эти возможности связаны с наличием концептуального аппарата, моделированием реальности в системе понятийных конструкций, надстраивающихся над

обыденными представлениями о мире. Обеспечивая проникновение человеческой мысли в слои реальности, недоступные неспециализированному обыденному сознанию, рациональное сознание создает особый мир идеальных конструкций, теоретический мир.

13. Не ставилась проблема и не находил выражения в скольконибудь четкой формулировке вопрос о соотношении категорий и понятий. Есть ли необходимость проводить подобное разграничение в историческом познании? Оправдано ли это? Каково отношение исследовательского сообщества к существующему смысловому разделению этих понятий?

Перспектива исторического познания видится в ответах на данные вопросы. И не надо думать, что постмодернистский вызов случаен: если на протяжении длительного времени в научном сообществе неоднократно приходили к мысли о серьезном изъяне в основах исследовательской деятельности, но каждый раз останавливались на стадии формулировании проблемы, то это не может не вызвать сомнения. Сомнения должны были возникнуть, прежде всего, в степени научности этой сферы знания. В дальнейшем предстоит отвечать на вопрос, является ли история наукой или только искусством, где полотно создается лишь воображением художника и возможностями его фантазии и вкуса.

Но существует и иной путь. В косвенной форме он был сформулирован французскими исследователями. Ж. Ле Гофф, в частности, высказывал мысль о том, что отсутствие единого, ясного, четкого определения понятия «ментальность» может рассматриваться как достоинство: «Сильная сторона истории ментальностей заключается именно в том, в чем ее часто упрекают — в расплывчатости ее предмета, в ее попытках уловить упускаемый другими науками «осадок» исторического анализа, отыскать нечто от него ускользающее».<sup>74</sup> Наличие такой позиции в отношении четкого определения одного из

---

<sup>74</sup> Ле Гофф Ж. Ментальности: двусмысленная история // История ментальностей и историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 40.

важнейших для современной науки понятий подтверждалась Ж. Ревелем.<sup>75</sup>

Подобное отношение к употребляемым понятиям касалось не только понятия «ментальность». Л. Февр подчеркивал, что так же относились и к термину «социальный», когда в книге «Бои за историю» писал о том, что прилагательное «социальное» принадлежит к числу тех слов, с помощью которых в разное время пытались обозначить столь много различных вещей, и что оно совершенно утратило свое значение. И именно поэтому Февром и Блоком данный термин был взят в употребление. Отсюда был совершен переход от фрагментирования реальности к человеку историческому и историческому в человеке.

Преимущество это или недостаток? Отношение к работе с понятиями иногда воспринимается как нечто второстепенное и даже противоречащее самой истории. Действительно ли некоторые понятия и категории не поддаются определению, как констатировал Б. Рассел в своем «Введении» к «Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна? Основываясь на этом, П. Рахшмир считает, что попытки определения понятий в истории обречены на неудачу, поскольку исторические явления слишком широки и многообразны, чтобы уместиться в прокрустово ложе какой-либо формулы. А Н. Е. Копосов фиксирует лишь отсутствие определения, четкого понимания и, как следствие этого, неясность употребления терминологии, в частности, понятия «социальная история» историков, принадлежавших к разным поколениям школы «Анналов»: «Положение социальной истории... было столь же двусмысленным, как у Блока и Февра. С одной стороны, ее постоянно сужали до истории социальной структуры, с другой – расширяли в пределе до отождествления с историей в целом. При этом тот факт, что социальная история, пусть и с самым

---

<sup>75</sup> Ревель Ж. История ментальностей: опыт обзора // Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993. С. 58.

неопределенным предметом, все же существует... не подвергался сомнению».<sup>76</sup>

В любом случае, можно говорить о правомерности существования второго взгляда на понятийно-категориальный аппарат исторического познания. В качестве отправного пункта для развития можно принять теорию Дж. Хекстера об эмансипации исторического знания, «исторического разума», нетождественного другим разновидностям интеллектуальной деятельности.<sup>77</sup> Именно в принципиальной неопределенности многих понятий приверженцы данного подхода склонны усматривать и очарование, и специфику данной сферы знания. Но и в этом случае необходимо применять данный принцип последовательно и систематично, что также требует специализированной работы.

И для первого, и для второго варианта решения проблемы понятийного аппарата свойственна та характеристика, которую дал М. Блок. Он выразил точку зрения П. Валерии: «Решающий момент, когда четкие и специальные определения и обозначения приходят на смену понятиям, по происхождению туманным и статистическим, для истории еще не наступил». К этому М. Блок добавлял в качестве оправдания: «Не будем забывать, что история – наука, еще находящаяся в процессе становления».<sup>78</sup>

Так с кем можно ассоциировать современное состояние исторической науки: с младенцем, подростком или взрослым, хронически больным человеком? Это не преувеличение и не метафора: именно медицинская терминология задействуется для определения состояния истории: А. А. Искендеров признавал в начале 1990-х гг.: «Хотя все признают наличие глубокого кризиса нашей науки, недостаточно внимания обращается на то, что кризис этот сильнее всего поразил именно теорию исторического познания. Сейчас нужен прямой ответ на вопрос: насколько методология... отвечает современным требованиям,

---

<sup>76</sup> Рахшмир П.Ю. Вариации на тему консерватизма. Пермь, 2004. С. 3; Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 212.

<sup>77</sup> Цит. по: Бацер М.И. Указ. соч. С. 53.

<sup>78</sup> Цит. по: Блок М. Указ. соч. С. 89; Там же. С. 104.

позволяет ли она получить полную и достоверную информацию о прошлом». В своих формулировках к этому склонялся и В. А. Тишков: «Историческая наука очень серьезно больна. Мы пропустили колоссальный прорыв, происшедший за последние 20–30 лет».<sup>79</sup>

После этой констатации минуло пятнадцать лет. «Излечение» уже наступило или о нем говорить не приходится? Можно лишь подтвердить, что, по крайней мере, в одной области перемен к лучшему не произошло. Дальнейшее развитие теории исторического познания видится, прежде всего, в сфере особого внимания исследователей к особенностям своей деятельности, к своему инструментарию, к его совершенствованию. Внимание к понятийному аппарату подчеркивается и предыдущим состоянием науки, и современным (лингвистический поворот), и будущим.

---

<sup>79</sup> Актуальные теоретические проблемы... С. 159, 161.

## **«Поэтика заглавий» как отражение дискурсивных практик современного историописания**

### **Вместо эпиграфа**

*«Подводя итоги...» Нет, «не подводя итогов...» Нет, пожалуй, «по-прежнему не подводя итогов...» Согласимся, что для нас важны «язык историка и проблема понимания». Поэтому, «договоримся о словах!» «Как думают историки», «Клио на распутье». Послушайте, а вообще «думают ли историки? А если думают, то зачем?» Только-только случилось «прощание с Марксом», а впереди уже маячит «призрак третьей книги» и «история России в мелкий горошек». «Вперед, к Геродоту!» «Не «Вперед, к Геродоту!», а назад – к анекдотам». «Что за «Казус»?» «Казус с «Казусом». «Казус с «Одиссеем». Что это, «изъявление Господне или азартная игра?» «Методологический синтез: «сверхзадача» будущего или реалия сегодняшнего дня?» «Смертельные судороги или родовые муки?» «Произошла ли методологическая революция в современной российской исторической науке?» Призывы, восклицания, вопрошания... Нет, «жесточких опытов собирая поздний плод», имеет смысл поговорить об «избиении кошек в Париже». Помилуйте, «хватит убивать кошек!» «Хватит убивать кошек?» Вы серьезно? А как Вы думаете, «выживет ли Клио при глобализации?» Ну, что Вы, «история закончилась. Забудьте». Как, «история – позади? Историк – человек лишний?» А что «там, за поворотом...»? По мнению «герцогов республики в эпоху переводов», всего лишь «эпистемология доверия, или девиантная совокупность». Нам остается довериться «апокатастасису, или основному инстинкту историка». Ну, и, конечно, постигать «науку «убеждать»... Ах, эта «странная тюрьма исторической необходимости»... «Попытка инвентаризации» в очередной раз заставила нас восхититься «фигурами истории, или «общими местами» историографии». Это были «заметки о современном историческом разуме, или разговор об «историописании в век постмодернизма».*

Выдающийся отечественный историк и методолог истории М.А. Барг в своей известной монографии «Эпохи и идеи: Становление историзма», вышедшей в 1987 г., утверждал, что «...процесс историописания следует понимать в двух смыслах:

как процесс восприятия, «дешифровки» и упорядочения опыта прошлого с целью истолкования его в свете опыта настоящего и как *метод реализации подобной программы* (курсив мой. – Л.Х.). Эти две стороны единого процесса историописания попеременно выдвигаются на первый план, оставаясь при этом в тесной связи и взаимообусловленности: развитие метода открывает доступ к новому знанию, и, наоборот, рост позитивных знаний совершенствует методы их получения»<sup>1</sup>.

Задавшись вопросом о содержательном наполнении термина «историописание» в контексте современной историографической ситуации, думается, имеет смысл взглянуть на проблему со стороны, так сказать, «содержания формы» («the content of the form»<sup>2</sup>). Точнее говоря, посмотреть, как выглядит сегодня «упаковка» текстов, создаваемых «историописателями», и, в частности, такой ее атрибут, как заглавие, которое, как известно, помимо всего прочего, представляет собой пограничье между озаглавливаемым текстом и внешней по отношению к этому тексту реальностью.

Работая с современными текстами, написанными российскими историками об их «ремесле», т.е. исследованиями теоретико-методологического и историографического плана, нельзя не обратить внимания на рождающуюся на наших глазах практику озаглавливания текстов, свидетельствующую о стремительном погружении историографического дискурса в весьма причудливые конструкции смыслов и сопряжений. Существенным компонентом современного историописания становится необычное (не всегда экзотичное, но, часто, нетрадиционное) заглавие текста. Казалось бы, «строгий жанр» теоретико-методологического или историографического исследования не может по определению нести на себе печать «литературщины», некоей заданной «брендовости». Если при этом «старые» академические журналы все же продолжают придерживаться некоего стандарта «чистой» научности, то ряд

---

<sup>1</sup> Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987. С. 12.

<sup>2</sup> Как известно, так в свое время назвал одну из своих работ Хейден Уайт. См.: White H. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, 1990.

современных изданий, таких, например, как «Одиссей», «Казус», открывают нам широкое пространство смыслов и толкований заглавий предлагаемых текстов.

Какую цель преследуют авторы? Есть ли это способ адекватного отражения авторской позиции, или это способ «продвижения интеллектуального продукта» в условиях конкуренции? Каковы авторские стратегии создания заглавий? Насколько востребованы способы экстремального воздействия на читателя (изошренность, способность шокировать)? Что такое заглавие как образ текста, заглавие как индекс дискурсивной стратегии произведения? Этими и другими вопросами, связанными с проблемой озаглавливания текстов, уже давно и плодотворно занимаются наши коллеги-филологи. Классикой жанра является мини-монография незаслуженно преданного забвению, а затем «переоткрытого» писателя и мыслителя XX века С. Д. Кржижановского «Поэтика заглавий»<sup>3</sup>, изданная еще в 1931 г. Это была первая серьезная работа по поэтике книжного заглавия, впоследствии ставшая классическим трудом в титлологии и предопределившая развитие целого междисциплинарного направления. «Десяток-другой букв, ведущих за собой тысячи знаков текста, принято называть *заглавием*. Слова на обложке не могут не общаться со словами, спрятанными под обложку. Мало того: заглавие, поскольку оно не в отрыве от единого книжного тела и поскольку оно, в параллель обложке, облегает текст и смысл, – вправе выдавать себя за *главное* книги»<sup>4</sup>, – писал С.Д. Кржижановский. Усилиями кафедры теоретической и исторической поэтики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и кафедры теории литературы Тверского госуниверситета в 2005 г. был издан сборник «Поэтика заглавия», основу которого составили материалы докладов, прочитанных на конференции «Феномен

---

<sup>3</sup> Кржижановский С.Д. Поэтика заглавий // Он же. Статьи. Заметки. Размышления о литературе и театре. Собр. соч. Т. 4. СПб., 2006. С.7-42.

<sup>4</sup> Там же. С. 7.

заглавия», ежегодно проводимой в РГГУ<sup>5</sup>. Наконец, нельзя не упомянуть об эссе «Поэтика заглавий» одного из лидеров «нового историзма»<sup>6</sup> А. Эткинда. Оно начинается цитатой из Саши Черного о том, что «в экзотике заглавий – пол – успеха», а далее в нем анализируются практики озаглавливания литературно-художественных текстов<sup>7</sup>. Историки, в отличие от филологов, пока не столь активны в анализе феномена заглавий своих текстов. Из немногих примеров – доклад Ю.Л. Троицкого «Заголовочный комплекс российских историков XIX века как дискурс», прозвучавший на V конференции 2001 г. в РГГУ.

Основу предпринятого в данной статье анализа составили около 70 современных текстов историков «об истории и историках», посвященных теоретико-методологическим и историографическим вопросам исторической науки. Так или иначе, они есть результат рефлексии по поводу основ нашего «ремесла» и представляют собой размышления о настоящем и будущем исторической науки, принадлежащие как знаковым фигурам (Л.М. Баткин, Ю.Л. Бессмертный, М.А. Бойцов, А.Я. Гуревич, Д.М. Володихин, Н.Е. Копосов, Ю.М. Лотман, Л.П. Репина, П.Ю. Уваров, С.А. Экштут и др.), так и многочисленным рядовым представителям современного сообщества российских историков, включая автора этих строк.

Одним из результатов предпринятого анализа стал следующий опыт первичной систематизации (типологизации) заглавий современных исторических текстов. Итак, заглавия, как и люди, «бывают разные»:

- 1) (мнимо)традиционные и подчеркнуто экзотические заглавия;

---

<sup>5</sup> Поэтика заглавия: сб. науч. тр. / ред.-сост.: А.Н. Андреева, Г.В. Иванченко, Ю.Б. Орлицкий. М.; Тверь, 2005.

<sup>6</sup> «Новый историзм», по А. Эткинду, это «история не событий, но людей и текстов в их отношении друг к другу». (Эткинд А. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. 2001. №47. С. 7.)

<sup>7</sup> Эткинд А. Поэтика заглавий // Он же. Non-fiction по-русски правда. Книга отзывов. М., 2007. С. 65-71.

- 2) заглавия с использованием слов-маркеров современной историографической ситуации (термины «историописание», «образ»);
- 3) заглавия с использованием «узнаваемых» имен собственных;
- 4) двойные (тройные) заглавия;
- 5) заглавия – «цитаты»;
- 6) заглавия – «призывы»;
- 7) заглавия – «вопросания»;
- 8) заглавия – «диагнозы»;
- 9) заглавия – «аллюзии»;
- 10) заглавия – «переклички»;
- 11) «смешанные» заглавия.

**Анализ (мнимо)традиционных и подчеркнуто экзотических заглавий** хотелось бы начать с «Заметок о современном историческом разуме» – заглавия блестящей полемической статьи Л.М. Баткина<sup>8</sup>. Отличительная черта (мнимо)традиционных заглавий – внешнее следование традиции («что-то» о «чем-то») при безусловном присутствии экзотики (например, как в данном случае, «большое» помещено в «малое»). Сам автор пишет, что «название заметок заведомо и непомерно широковещательное», что на самом деле это «всего лишь...разные беглые соображения философско-исторического порядка». При этом он добавляет, что «по примеру наиболее отважных диспутантов» (речь идет о памятной дискуссии о соотношении микро- и макроподходов к изучению прошлого, состоявшейся в Институте всеобщей истории РАН в 1998 г.<sup>9</sup>) ему тоже захотелось «поднять над своей шхуной вызывающий флаг», правда не «черный пиратский», а флаг «надежды и рационализма» с уверенностью, что «при нынешнем положении вещей это будет...более дико и вызывающе»<sup>10</sup>. К заглавиям

---

<sup>8</sup> Полные выходные данные анализируемых историографических источников см. в приложении.

<sup>9</sup> См.: Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого: доклады и выступления на конференции 5-6 октября 1998 г. М., 1999.

<sup>10</sup> Баткин Л.М. Заметки о современном историческом разуме // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 3. М., 2000. С. 62.

подобного рода мы можем отнести «Странную тюрьму исторической необходимости» того же Л.М. Баткина. Или, допустим, «Феодализм перед судом историков» (так назывался «круглый стол», проведенный в 2005 г. в рамках семинара по исторической и культурной антропологии ИВИ РАН и Ассамблеи медиевистов), а так же «Манифест историсофского маньеризма» (С.А. Экштут). А вот уже подчеркнутая экзотика: «Призрак третьей книги»: методологический монизм и «глобальная архаизация» (Д.М. Володихин). Данное заглавие можно разделить на три части: 1) «призрак третьей книги»; 2) методологический монизм; 3) «глобальная архаизация». При этом более или менее «узнаваемой» оказывается вторая (что такое «методологический монизм», мы хорошо усвоили на примере советской историографии, вернее, благодаря ее ожесточенной критике в конце 1980-х – 1990-е гг., в рамках которой данное словосочетание стало для нее «приговором»). Что же касается первой и третьей, то тут возникает упоминавшееся пространство смыслов и толкований, вызванное как множеством возможных ассоциативных рядов («призрак Оперы», «призрак коммунизма»), так и оппозицией оказавшихся «в одной связке» терминов («глобальный» и «архаизация»). К этой же группе могут быть отнесены такие заглавия, как «История России в мелкий горошек» (Д.М. Володихин и др.), «Хватит убивать кошек!» (Н.Е. Копосов), «Герцоги республики в эпоху переводов» (Д.Р. Хапаева), «Апокатастасис, или основной инстинкт историка» (П.Ю. Уваров). При знакомстве же с содержанием названных текстов оказывается, что за «призраками», «мелким горошком», «кошками», «герцогами республики», «основным инстинктом» и т.д. скрываются серьезные размышления о судьбах современного историознания. Чего, например, стоит пронзительная статья П.Ю. Уварова, в которой «основным инстинктом историка» названо стремление к воскрешению из небытия («апокатастасису»<sup>11</sup>) абсолютно всех персонажей истории, а не только личностей героического плана!

---

<sup>11</sup> Апокатастасис (греч. — возвращение в прежнее состояние, восстановление) — понятие, посредством которого обозначалось

Что касается **заглавий с использованием слов-маркеров современной историографической ситуации**, то репрезентативны в этом смысле заглавия, в которых фигурируют такие, допустим, термины, как «**историописание**» и «**образ**» (второй, как правило, в рамках словосочетаний «образ исторической науки», «образ историографии» и т.д.). Если сегодня набрать в какой-нибудь поисковой системе Интернета термин «историописание», то, в первую очередь, она предлагает «Западноевропейское историописание «эпохи катастроф» (М.С. Бобкова) – фундаментальное учебное пособие нового поколения, посвященное анализу процессов в западноевропейском историописании в рамках переходного периода XVI-XVIII вв.. Активно использует этот термин в заглавиях своих текстов Л.П. Репина: «Историческое сознание и историописание», «Культурная память и проблемы историописания: (историографические заметки)», «Память и историописание». Он прочно обосновался на страницах научных сборников и периодических изданий ИВИ РАН: «Об истории в культуре и «культуре» в истории (фрагментация историописания и социальная ответственность историка) (О.Ю.

---

необходимое возвращение вещей в свое былое обличье. Учение об апокатастасисе, восходящее истоками к пифагорейской школе и взглядам Гераклита, нашло концептуальное оформление в воззрениях школы стоиков, утверждавших тождественность сменяющихся миров и, следовательно, неизбежное возвращение в каждый новый мир вещей, живых существ (идея реинкарнации) и событий, присущих миру предыдущему. В раннехристианской традиции понятие апокатастасиса обозначало время, когда после Страшного Суда Христа были должны исполниться пророчества об утверждении Царства Божия на земле, о предстоящем обращении всех людей в христианство и об обретении святыми вечного блаженства. Идея апокатастасиса коррелировалась с апокалиптическими представлениями о судьбе мира. Ориген не исключал из процедуры полного «спасения», просветления и соединения с Богом (независимо от их воли) всех душ и духов, даже дьявола, а также постулировал вследствие этого временный характер мук грешников в аду. В VI в. церковь объявила такие мысли ересью, что не помешало им проявиться вновь в IX в. в воззрениях Иоанна Скотта Эриугены, отрицавшего сущностную реальность зла, которое, по его мнению, существует лишь как собственное отрицание, как «ничто». (История философии: Энциклопедия. Мн., 2002. С. 64).

Бессмертная); «В поисках интегральной версии историописания (по материалам немецкой науки 1990-х годов)» (С.Г. Ким), «Современное историописание как компонент гуманитарного дискурса» (З.А. Чеканцева). Он появился на страницах журнала «Вопросы философии»: «Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и основные принципы» (М.А. Кукарцева). Особое внимание в этой связи хотелось бы обратить на то, что часто в проанализированных исторических текстах термин «историописание» используется для характеристики процессов в **современном** историознании.

Термин «образ» и производные от него словосочетания «образ исторической науки», «образ историографии» и др. востребованы в контексте **современной** историографической ситуации тоже далеко не случайно, являясь отражением все того же процесса активного участия субъекта познания исторического прошлого в конструировании этого прошлого. Эти термины активно используются той частью нашего сообщества, которая профессионально занимается проблемами историографии: «Поиск нового образа историографии в современном интеллектуальном пространстве (Размышления над учебным пособием Л.П. Репиной, В.В. Зверевой, М.Ю. Парамоновой «История исторического знания»)» (В.П. Корзун, В.Г. Рыженко), «Трансформация образа отечественной исторической науки в середине 90-х гг. XX в.» (А.П. Логунов), «Образы историографии» (сб. статей под ред. А.П. Логунова), «Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации» (сб. статей под ред. Л.П. Репиной), «Образ истории и историческое сознание в латинской историографии X – XIII веков» (Ю.А. Арнаутова), «Образ исторической науки в современной отечественной историографии» (А.В. Юдельсон).

Еще одна классификационная группа заглавий – это **заглавия с использованием «узнаваемых» имен собственных**. Здесь и богиня памяти, мать девяти муз, в том числе музы истории, Мнемозина – «Битвы за храм Мнемозины» (С.А. Экштут), и сама муза истории Клио – «Клио на распутье» (Ю.М. Лотман), «Выживет ли Клио при глобализации?» (М.А. Бойцов), и «отец истории» Геродот – «Вперед, к Геродоту!» (М.А. Бойцов), и «вождь мирового пролетариата» К. Маркс –

«Прощание с Марксом» (В.М. Вильчек), и даже библейское чудовище Левиафан, более известное читателю благодаря знаменитому труду Т. Гоббса, – «На службе российскому Левиафану (С.А. Экштут).

Довольно часто сегодня встречаются **двойные (тройные) заглавия**. Как правило, смысл второго и третьего заглавий состоит в том, чтобы «расшифровать» смысл первого: «Об истории в культуре и «культуре» в истории (фрагментация историописания и социальная ответственность историка)» (О.Ю. Бессмертная); «Прощание с Марксом (Алгоритмы истории)» (В.М. Вильчек); «Избиение кошек в Париже, или Некоторые проблемы символической антропологии» (А.Я. Гуревич), «Жестоких опытов собирая поздний плод: Кое-что о роли знания в истории» (Ю. Каграманов), «Как историки объясняют историю. И можно ли объяснить историю историей? По материалам обсуждения за «круглым столом» в рамках Независимого теоретического семинара «Социокультурная методология анализа российского общества»; «В поисках интегральной версии историописания (по материалам немецкой науки 1990-х годов)» (С.Г. Ким); «Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – начало 50-х гг. XIX в.)» (С.В. Кондратьев, Т.Н. Кондратьева); «Хватит убивать кошек! Критика социальных наук» (Н.Е. Копосов); «Изъявление Господне или азартная игра? (Закономерное и случайное в историческом процессе)» (Ю.М. Лотман); «Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю» (И.М. Савельева. А.В. Полетаев); «Знать, чтобы действовать», или Как превратить информацию в знание» (Н.Л. Селиванов); «Думают ли историки? А если думают, то зачем? Заметки о книге Н.Е. Копосова «Как думают историки» (М., 2001)» (П.Ю. Уваров); «Фигуры истории, или «общие места» историографии» (сб. статей); «Смертельные судороги или родовые муки?: Споры о конце исторической науки в начале XXI в.» (А.И. Филошкин); «Герцоги республики в эпоху переводов: гуманитарные науки и революция понятий» (Д.Р. Хапаева); «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»? (Феномен folk-history: мысли вслух)» (Л.Р. Хут); «Хватит убивать кошек?»

(Тестирование как способ проверки знаний студента-историка: размышления вузовского преподавателя)» (Л.Р. Хут); «На службе российскому Левиафану. Историософские опыты» (С.А. Экштут); «Битвы за храм Мнемозины. Очерки интеллектуальной истории» (С.А. Экштут). Правда при этом довольно часто второе (третье) заглавие не проясняет, а еще больше затуманивает смысл первого, повышая тем самым изначальный «градус» интриги: «Эпистемология доверия, или девиантная совокупность» (Н.Е. Копосов); «Призрак третьей книги»: методологический монизм и «глобальная архаизация» (Д.М. Володихин).

**Заглавия – «цитаты»**, как правило, отсылают к известному тексту, и таким образом, изначально «обречены» на повышенный читательский интерес: «Жестоких опытов собирая поздний плод» (Ю. Каграманов), «Там, за поворотом...» (И.М. Савельева, А.В. Полетаев), «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман?»» (Л.Р. Хут).

Есть **заглавия – «призывы»**: «Вперед, к Геродоту!» (М.А. Бойцов), «Договоримся о словах!» (В.П. Золотарев), «Хватит убивать кошек!» (Н.Е. Копосов). Но их несравненно меньше, чем **заглавий – «вопросаний»**: «Что за «Казус»?..» (Ю.Л. Бессмертный); «Выживет ли Клио при глобализации?» (М.А. Бойцов); «История – позади? Историк – человек лишний?» (М.Я. Гефтер); «Как историки объясняют историю. И можно ли объяснить историю историей?»; «Изыявление Господне или азартная игра?» (Ю.М. Лотман); «Методологический синтез: «сверхзадача» будущего или реалия сегодняшнего дня?» (И.Ю. Николаева); «Думают ли историки? А если думают, то зачем?»; «Смертельные судороги или родовые муки?» (А.И. Филюшкин); «Произошла ли методологическая революция в современной российской исторической науке?» (А.И. Филюшкин); «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман?»»(Л.Р. Хут); «Хватит убивать кошек?»» (Л.Р. Хут).

Интересны **заглавия-«аллюзии»**. «Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – начало 50-х гг. XIX в.)» (С.В. Кондратьев, Т.Н. Кондратьева) невольно вызывает в памяти суворовскую «Науку побеждать». Лотмановская «Клио на

распутье» ассоциируется с излюбленной темой русских сказок о витязе, оказавшемся на перекрестье трех дорог.

Есть **заглавия** – **«переклички»**. Это когда некий авторский текст вызвал соответствующую ответную реакцию, причем нетрадиционно озаглавленный текст может вызывать реакцию, облаченную в «эпатаж в эпатаже». Примеры заглавий – перекличек: «Подводя итоги...» (А.Я. Гуревич) – «Не подводя итогов...» (Ю.Л. Бессмертный, М.А. Бойцов), – «По-прежнему не подводя итогов...» (О.Ю. Бессмертная); «Что за «Казус»?..» (Ю.Л. Бессмертный) – «Казус с «Казусом» (А.Я. Гуревич) – «Казус с «Одиссеем» (М.А. Бойцов); «Вперед, к Геродоту!» – (М.А. Бойцов) – «Не «Вперед, к Геродоту!», а назад – к анекдотам» (А.Я. Гуревич); «Избиение кошек в Париже, или Некоторые проблемы символической антропологии» (А.Я. Гуревич) – «Хватит убивать кошек!» (Н.Е. Копосов) – «Хватит убивать кошек?»» (Л.Р. Хут); «Как думают историки» (Н.Е. Копосов) – «Думают ли историки? А если думают, то зачем?» (П.Ю. Уваров).

Есть даже **заглавия-«диагнозы»**: «История закончилась. Забудьте» (М.А. Бойцов); «О невозможности микроистории» (Н.Е. Копосов); «Эпистемология доверия, или девиантная совокупность» (Н.Е. Копосов); «Профессор! Ты убог...» (С.А. Экштут).

И все же, в значительной своей части, заглавия не предстают перед нами в «чистом виде» выделенных типов. Скорее, корректнее вести речь о **«смешанных» заглавиях**, когда одно и то же заглавие имеет признаки двух и более выделенных типов. Допустим, заглавие «Об истории в культуре и «культуре» в истории (фрагментация историописания и социальная ответственность историка)» (О.Ю. Бессмертная) представляет собой двойное заглавие с использованием слов-маркера современной историографической ситуации. «Изъявление Господне или азартная игра? (Закономерное и случайное в историческом процессе)» (Ю.М. Лотман) – это двойное (тройное) заглавие и одновременно заглавие – «вопросание». «Хватит убивать кошек! Критика социальных наук» (Н.Е. Копосов) – так же двойное заглавие, одновременно являющееся подчеркнуто экзотическим (в первой своей части),

заглавием – «призывом» и заглавием – «перекличкой». «Хватит убивать кошек»? (Тестирование как способ проверки знаний студента-историка: размышления вузовского преподавателя)» (Л.Р. Хут) – двойное заглавие, заглавие – «цитата», заглавие – «вопросание», заглавие – «перекличка».

При всей разности дискурсивных стратегий есть некая объединяющая черта современных заглавий текстов историков «об истории и историках» – наличие того, что можно обозначить словом «интрига». Вы невольно идете за ней, совсем как в хорошем литературно-художественном тексте. Не время и не место сейчас говорить о том, что при этом есть «благородная» интрига и интрига «неблагородная». Важен сам факт ее наличия. Если признать справедливость замечания С.Д. Кржижановского по поводу того, что «о наши глаза трется слишком много текстов, чтобы мы...могли и хотели вбирать все эти груды букв в себя...плющильная «машина времени», в которую втягивает всю нашу книжную продукцию... отжав книгам почти все их знаки, сплющивает их до объема заглавия»<sup>12</sup>, если согласиться с А. Эткиндо, что «одно или несколько слов заглавия имеют вес, сравнимый с тысячами других слов текста»<sup>13</sup>, то мы оказываемся в ситуации интертекстуальности, представляющей собой причудливое переплетение оказавшихся «на слуху» заглавий когда-то прочитанных текстов. Ведь «тексты, как мы знаем, не существуют поодиночке, они соотносятся с другими текстами. В этих своих отношениях тексты тоже представлены заглавиями, игра которых иногда очевиднее игры самих текстов. Интертекстуальные ряды, как они выстраиваются в сознании читателя и, вероятно, писателя, заполнены заглавиями – и только через их посредство текстами»<sup>14</sup>.

Вместо эпиграфа к данной статье был предложен один из вполне возможных, но далеко не единственных интертекстуальных рядов подобного плана, в пространстве которых существует современное историописание. Этот ряд и

---

<sup>12</sup> Кржижановский С.Д. Указ. соч. С.10.

<sup>13</sup> Эткинд А. Поэтика заглавий... С. 65.

<sup>14</sup> Там же. С. 66.

достаточно репрезентативен, и достаточно ироничен, как, впрочем, во многом ироничен сегодня исторический дискурс в целом.

Таким образом, предложенный опыт систематизации (типологизации) заглавий современных исторических текстов, думается, позволяет сделать вывод о стремительном сближении исторического и литературного дискурсов, стирании грани между историей и литературой как искусством создания художественных текстов. Активное использование в контексте современной историографической ситуации термина «историописание», который, являясь калькой термина «историография», тем не менее, отличается от него некой размытостью и эстетической необязательностью, есть не что иное, как стремление «узаконить» отношения между научно-историческим и литературно-художественным дискурсами в условиях, когда «лингвистический поворот предлагает соединить историческое исследование и нарратив»<sup>15</sup>. Одним из возможных, в свете изложенного, ответов на вопрос, что значит термин «историописание», может быть следующий: это то, чем занимаются историописатели, балансируя между «ученостью, добавленной к искусству» и «искусством, добавленным к учености». Термин «историописание» изначально «обречен» на размытость. В этом его сильная и слабая стороны одновременно. В этом его «самость».

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Список историографических источников

1. Арнаутова Ю.А. *Образ истории и историческое сознание в латинской историографии X – XIII веков* // История и память: историческая наука и культура Европы до начала нового времени / под ред. Л.П. Репиной. М., 2006. С. 277-307.

---

<sup>15</sup> Кукарцева М.А. Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и основные принципы // Вопросы философии. 2006. №4. С. 50.

2. *Баткин Л.М. Заметки о современном историческом разуме // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. Вып. 3. С. 62-96.*
3. *Баткин Л.М. Странная тюрьма исторической необходимости // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 64-77.*
4. *Бессмертная О.Ю. Об истории в культуре и «культуре» в истории (фрагментация историописания и социальная ответственность историка) // Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5-6 октября 1998. М., 1999. С. 253-259.*
5. *Бессмертная О.Ю. По-прежнему не подводя итогов...// Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2003. Вып. 5. С. 576-583.*
6. *Бессмертный Ю.Л. «Что за «Казус»?.. // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. Вып. 1.*
7. *Бессмертный Ю.Л., Бойцов М.А. «Не подводя итогов...» // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. Вып. 3. С. 178-184.*
8. *Бобкова М.С. Западноевропейское историописание «эпохи катастроф»: учеб. пособие. М., 2008.*
9. *Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту! // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 1999. Вып. 2. С.17-41.*
10. *Бойцов М.А. Казус с «Одиссеем» // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2004. Вып. 6. С. 407-444.*
11. *Бойцов М.А. Выживет ли Клио при глобализации? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2005. Вып. 7. С. 15-41.*
12. *Бойцов М.А. История закончилась. Забудьте // Культура. 2005. №31-32.*
13. *Вильчек В.М. Прощание с Марксом (Алгоритмы истории). М., 1993.*
14. *Вильчек В.М. Алгоритмы истории. М., 2004.*
15. *Володихин Д.М. «Призрак третьей книги»: методологический монизм и «глобальная архаизация» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 9. М., 2002. С. 51-66.*

16. Володихин Д., Елисеева О., Олейников Д. *История России в мелкий горошек*. М., 1998.
17. Гефтер М.Я. *История – позади? Историк – человек лишний?* // Вопросы философии. 1993. №9. С. 3-15.
18. Гуревич А.Я. *Избиение кошек в Париже, или Некоторые проблемы символической антропологии* // Труды по знаковым системам. Т. 25. Семиотика и история. Тарту, 1992. С. 23-34.
19. Гуревич А.Я. *Не «Вперед, к Геродоту!», а назад – к анекдотам* // Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5-6 октября 1998. М., 1999. С. 234-239.
20. Гуревич А.Я. *Подводя итоги...* // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 125-138.
21. Гуревич А.Я. *Казус с «Казусом»* // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2004. Вып. 6. С. 401-406.
22. Золотарев В.П. *Договоримся о словах!* // Историческая наука и методология истории в России XX века: К 140-летию со дня рождения академика А.С. Лаппо-Данилевского. Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. Вып. I / отв. ред. А.В. Малинов. СПб., 2003. С. 19-28.
23. Каграманов Ю. *«Жестоких опытов собирая поздний плод»: Кое-что о роли знания в истории* // Новый мир. 1998. №10. С. 119-137.
24. *Как историки объясняют историю. И можно ли объяснить историю историей? По материалам обсуждения за «круглым столом» в рамках Независимого теоретического семинара «Социокультурная методология анализа российского общества»* // Знание – сила. 2001. №3. С. 21-43.
25. Ким С.Г. *В поисках интегральной версии историописания (по материалам немецкой науки 1990-х годов)* // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 9. М., 2002. С. 30-50.
26. Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. *Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – начало 50-х гг. XIX в.)*. Тюмень, 2003.

27. *Копосов Н.Е. О невозможности микроистории // Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5-6 октября 1998. М., 1999. С. 166-183.*
28. *Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001.*
29. *Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005.*
30. *Копосов Н.Е. Эпистемология доверия, или девиантная совокупность. (Рец. на кн.: Уваров П.Ю. Франция XVI века: Опыт реконструкции по нотариальным актам. М., 2004) // Одиссей. Человек в истории. 2007. М., 2007. С. 466-489.*
31. *Корзун В.П., Рыженко В.Г. Поиск нового образа историографии в современном интеллектуальном пространстве (Размышления над учебным пособием Л.П. Репиной, В.В. Зверевой, М.Ю. Парамоновой «История исторического знания») // Мир КЛИО. Сборник статей в честь Лорины Петровны Репиной: в 2 т. / под ред. О.В. Воробьевой. М., 2007. Т. 2. С. 267-278.*
32. *Кукарцева М.А. Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и основные принципы // Вопросы философии. 2006. №4. С. 44-55.*
33. *Лаптева М.П. Язык историка и проблема понимания // Фигуры истории, или «общие места» историографии. Вторые санкт-петербургские чтения по теории, методологии и философии истории / отв. ред. А.В. Малинов. СПб., 2005. С. 66-71.*
34. *Лозунов А.П. Трансформация образа отечественной исторической науки в середине 90-х гг. XX в. // Россия в новое время: историографический образ и проблемы интерпретации: сборник докладов I-V научных конференций. М., 1998. С. 98-121.*
35. *Лотман Ю.М. Клио на распутье // Новое время. 1993. №47. С. 56-59.*
36. *Лотман Ю.М. Изъявление Господне или азартная игра? (Закономерное и случайное в историческом процессе) // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 353-363.*

37. Николаева И.Ю. *Методологический синтез: «сверхзадача» будущего или реалія сегодняшнего дня?* // *Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы* / под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой. М., 2005. С. 43-65.
38. *Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации: сб. статей* / под ред. Л.П. Репиной. М., 2005.
39. *Образы историографии: сборник статей* / науч. ред. А.П. Логунов. М., 2000.
40. Репина Л.П. *Культурная память и проблемы историописания: (историогр. заметки)*. Препринт WP6/2003/07/. М., 2003.
41. Репина Л.П. *Историческое сознание и историописание* // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания. М., 2005. С. 3-11.
42. Репина Л.П. *Память и историописание* // *История и память: историческая наука и культура Европы до начала нового времени* / под ред. Л.П. Репиной. М., 2006. С. 19-46.
43. Савельева И.М., Полетаев А.В. «Там, за поворотом...» // *Междисциплинарные подходы к изучению прошлого: до и после «постмодерна». Материалы научной конференции. 28-29 апреля 2005 г.* М., 2005. С. 7-9.
44. Савельева И.М., Полетаев А.В. «Там, за поворотом...» *О модусе сосуществования истории с другими социальными и гуманитарными науками* // *Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации: сб. статей* / под ред. Л.П. Репиной. М., 2005. С. 73-101.
45. Савельева И.М., Полетаев А.В. *Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю*. М., 2008.
46. Савицкий Е.Е. «Чего ожидают читатели?» *О демократичности в историографии 1980-2000 годов* // *Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации: сб. статей* / под ред. Л.П. Репиной. М., 2005. С. 174-200.
47. Селиванов Н.Л. «Знать, чтобы действовать», или *Как превратить информацию в знание* // *Новый образ*

- исторической науки в век глобализации и информатизации: сб. статей / под ред. Л.П. Репиной. М., 2005. С. 241-251.
48. Уваров П.Ю. *Апокатастасис, или основной инстинкт историка* // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. Вып. 3. С. 15-32.
  49. Уваров П.Ю. *О невозможном и плодотворном* // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. Вып. 3. С. 118-124.
  50. Уваров П.Ю. *Развилки и игральные кости, альтернативы и случайности (Попытка инвентаризации)* // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 78-85.
  51. Уваров П.Ю. *Думают ли историки? А если думают, то зачем? Заметки о книге Н.Е. Копосова «Как думают историки» (М., 2001)* // Одиссей. Человек в истории. 2003. М., 2003. С. 303-331.
  52. *Феодализм перед судом историков* // Одиссей. Человек в истории. 2006. М., 2006. С. 5-200.
  53. *Фигуры истории, или «общие места» историографии. Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории* / отв. ред. А.В. Малинов. СПб., 2005.
  54. *Филюшкин А.И. Методологические инновации в современной российской исторической науке (вместо предисловия)* // АСТЮ NOVA. М., 2000. С. 7-50.
  55. *Филюшкин А.И. Смертельные судороги или родовые муки?: Споры о конце исторической науки в начале XXI в.* // Россия XXI. 2002. №4. С. 64-99.
  56. *Филюшкин А.И. Произошла ли методологическая революция в современной российской исторической науке?* // Историческая наука и методология истории в России XX века: К 140-летию со дня рождения академика А.С. Лаппо-Данилевского. Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. СПб., 2003. Вып. 1. С. 59-68.
  57. *Хапаева Д.Р. Герцоги республики в эпоху переводов: гуманитарные науки и революция понятий.* М., 2005.
  58. *Хут Л.Р. Образ исторической науки в современной отечественной историографии* // Вестник Адыгейского

- государственного университета. Серия: Исторические, социально-экономические и политические науки. 2000. №4. С. 43-48.
59. Хут Л.Р. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»? (Феномен *folk-history*: мысли вслух) // Диалоги с прошлым: исторический журнал. Майкоп, 2004. №3. С. 14-18.
60. Хут Л.Р. «Хватит убивать кошек»? (Тестирование как способ проверки знаний студента-историка: размышления вузовского преподавателя) // Вестник Адыгейского государственного университета. Вып.1 (25). Майкоп, 2007. С. 50-53.
61. Чеканцева З.А. Современное историописание как компонент гуманитарного дискурса // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 11. М., 2004. С. 360-371.
62. Экиштут С.А. Манифест историософского маньеризма // Вопросы философии. 1998. №1. С. 180-181.
63. Экиштут С.А. На службе российскому Левиафану. Историософские опыты. М., 1998.
64. Экиштут С.А. Битвы за храм Мнемозины. Очерки интеллектуальной истории. СПб., 2003.
65. Экиштут С.А. «Профессор! Ты убог...»: современные размышления // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации: сб. статей / под ред. Л.П. Репиной. М., 2005. С. 201-212.
66. Юдельсон А.В. Образ исторической науки в современной отечественной историографии: автореф. дис...к.и.н. М., 2000.

## ЧАСТЬ II

### ПРАКТИКИ ИСТОРИОПИСАНИЯ. ФОРМЫ И ТИПЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

*И.Л. Григорьева*

#### **Формирование истории как дисциплины в контексте эволюции преподавания свободных искусств**

Присущее древним понимание того, что такое *история* и каковы её задачи, в образной форме отразила античная мифология. Муза Клио – одна из покровительниц различных видов искусного слова, имя которой переводится как «дарующая славу», с эллинистического времени стала считаться музой *истории*. Она, как и прочие спутницы Аполлона Мусагета – девять олимпийских муз, богинь поэзии, искусств и наук, обитает на горе Геликон, воспевая вместе с сёстрами все поколения богов. Таким образом, музы связывают прошлое, настоящее и будущее, которые им ведомы. Они воспевают законы, наставляют и утешают людей, наделяют их убедительным словом. В «Теогонии» Гесиода также сказано, что Клио рождена от брачного союза Зевса и богини памяти Мнемосины (Hes. Theog. 52-54). Согласно Павсанию (Paus. VIII 10–12; IX 11, 1), в Беотии, близ пещеры Трофония, сына Аполлона, есть два источника: Леты и Мнемосины. Испив воды из Леты, души умерших забывают свою былую земную жизнь, а, испив из источника Мнемосины, вспоминают её.

Учение о предсуществовании душ и о знании как припоминании, связанное с представлением о божественном идеальном мире, во многом предопределило *антиисторические* тенденции платонизма. Согласно Платону, объект знания должен быть вечным и неизменным. Если вещь познаваема, она

должна быть определённой<sup>1</sup>. Такая определённость есть, например, у математики – науки, имевшей у Платона высокий статус. Антиисторизм был присущ и философской традиции, идущей от Аристотеля, согласно которому *история* также не попадает в разряд наук. Она – не дисциплина, как грамматика и риторика. Объясняя только единичные вещи – события, она не годится для генерализации эмпирического материала.

Известно, что для греко-римской историографии большую роль играла идея нравственного назидания, морализация, поиски в исторических событиях полезного и поучительного для современников смысла: либо образцов поведения, достойного подражания, либо примеров пороков, которых следует избегать. Греко-римской историографии была присуща переоценка разумного в человеческом поведении, осознанности человеческих действий, представление о том, что человек может быть защищён от окружающего его дикого и порочного мира рациональностью, приобретённой им путём больших усилий, потраченных на развитие и совершенствование своего разума<sup>2</sup>. Эти идеи сформировались в связи с понятием Пайдеи – общей культуры, стремления человека к воспитанию и культуре. Это понятие во многом определило и формирование программы семи свободных искусств, являвшейся основой европейской системы образования от Античности вплоть до конца XVIII в. В рамках этой программы, входя в состав её дисциплин, и преподавалась *история*.

Классические концепции Пайдеи возникли в Греции в IV в. до Р. Х., одновременно с философскими школами, создавшими западноевропейскую науку и философию. Творцом одной из важнейших таких концепций был Сократ с его представлением о духовности как об истинной сути человека. Всякое истинное благополучие, уверял мыслитель, зиждется на творении Блага. Иным было учение софистов, которые также требовали примата духовной культуры, но рассматривали её лишь как залог жизненного успеха. Преподавая философию, они давали чисто политическое образование, а под Пайдейей

---

1 См.: Коллингвуд Р. *Идея истории. Автобиография*. М., 1980. С. 22.

2 См., в частности: Там же. С. 47.

понимали интеллектуальное образование, основоположниками которого являлись.

Индивидуализм софистов был преодолен спиритуализмом Платона. Развивая теорию вечной объективной истины (божественного царства идей), Платон считал своей целью воспитание людей в духе Сократа и создание истинного человеческого сообщества, основанного на добродетели (арете). Как и Сократ, он полагал, что добродетель и есть знание. Поэтому все силы общества нужно бросить на образование. Огромное значение в платонизме придавалось внутренней жизни человека, сосредоточение на которой и есть, собственно, само знание. Процесс познания истинных ценностей – подлинный смысл философии. Он длится всю жизнь и заключается в уподоблении души тем ценностям, которые человек стремится познать. Как и вся греческая Пайдейя, образовательное учение Платона было основано на древних греческих понятиях парадигмы и мимесиса. Антропология Платона вписывалась в его учение о видимом и единственно реальном – невидимом (интеллигибельном) мирах. Таким образом, истоки платоновской Пайдейи были связаны с трансцендентным, а не с земным, чувственным миром, являющимся ареной единичных событий и фактов земной жизни людей (что, собственно, и изучает *история*). Вместе с тем, Пайдейя Платона предполагала интерес к морализирующей *истории*.

По мнению Аристотеля, платоновское царство идей «неотделимо от актуализирующих его эмпирических людей и вещей и существует лишь в конкретном бытии»<sup>3</sup>. Первый учёный в европейской истории, он считал истинно образованным человеком только того, кто обладал всесторонними знаниями, т. е. был универсальным учёным. Аристотель идентифицировал мудрость и универсальное знание. Несмотря на то, что в его учении не было места *истории*, как таковой, требуя от учёного универсального знания, философия Стагирита предполагала развитие единого

---

3 Карсавин Л.П. История европейской культуры. СПб., 2003. Т. 1: Римская империя, христианство и варвары. С. 88.

комплекса «философии о человеческом», занимающейся сферой практической деятельности и поведения людей.

Первое частное учебное заведение, возникшее в Греции раньше Академии, было основано Исократом в 393 г. до Р. Х. и представляло собой ораторскую школу. Образование, полагал Исократ, будучи основано на идее уподобления прекрасному (парадигма и мимесис), должно привести к формированию Пайдеи, неотделимой от добродетели. Большое значение при этом приобретали примеры и образцы человеческого поведения, достойные подражания. Идея парадигмы в интерпретации Исократа имела впоследствии огромный успех и была широко распространена среди античных мыслителей вплоть до Цицерона и Сенеки, также обусловив интерес к *истории*, как к объекту морализации.

Выдающимся достижением Античности была разработка образовательной системы – программы семи свободных искусств. Начало ей было положено в эпоху софистики, которая вплотную подвела греческую мысль к обособлению научного знания: грамматика, риторика и диалектика, как и прочие науки, начинают выделяться из философии именно тогда. Софисты брали на себя общее и полное образование сограждан, достаточное для того, чтобы свободный гражданин мог выполнять все политические функции в городе-государстве. Занимаясь образовательной практикой, они создали идеал энциклопедизма и давали «энциклопедическое» образование. В софистической системе обучения большую роль играли словесные науки: анализ структуры языка и критическая интерпретация литературы, что соответствовало грамматике, а также теория логической и формальной аргументации, что соответствовало риторике. Подчиненными грамматике разделами знания считались *история* и география.

В образовательной системе Платона главную роль играла диалектика – искусство ведения диспута путём вопросов и ответов с целью поиска истины и исследования онтологических структур. Очень высоко ценил он также математические науки, связанные общим элементом – числом, которое философ считал онтологической реальностью. Речь у него при этом шла не об арифметике, геометрии, астрономии и музыке в практическом

смысле, а, скорее, о теологии и философии числа, фигуры, звука и движения небесных тел. Целью образовательной программы платоновской Академии было приобретение Пайдеи в соответствии с платоновской возвышенно-духовной концепцией культуры. Система образования Аристотеля была реализована в Ликее, который, подобно Академии, принадлежал к первым институционализированным научным учреждениям<sup>4</sup>. Энциклопедическому идеалу своего создателя Ликей оставался верен и при его преемниках. Этот идеал был перенесён затем в Александрию, ставшую в эллинистическую эпоху признанным образовательным и научным центром.

Стоики, значение которых для христианского Средневековья немаловажно, учили о Логосе как о телесном божественном первоначале, распространяющемся по всем уровням бытия и проявляющемся преимущественно в человеческом разуме и языке. Они рассматривали грамматику как составную часть логического подразделения философии, изучали все формы языка, а также давали определение всем структурам и законам, которые его упорядочивают. Риторику и диалектику они считали добродетелями, одновременно рассматривая их как часть философии – логики. Своей задачей они считали научить правильности словесного выражения и умению делать убедительный логический вывод. Нравственному воспитанию придавалось решающее значение, поэтому составной частью философии у стоиков была этика. Как и для Аристотеля, физика также являлась для них частью философии. Большинство стоиков исповедовало перипатетический идеал полиматии (знания многих наук), побуждая своих приверженцев к получению более обширной общей культуры. Стоик Страбон писал в своей «Географии», что полиматия присуща философу и что география относится к философии<sup>5</sup>. Равным образом, определённое место в

---

4 Фролов Э. Д. Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб., 2004. С. 316.

5 Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. М., 2002. С. 354-355.

образовательной концепции стоиков как часть философии занимала морализирующая *история*.

Эволюция Академии в сторону скептицизма обусловила широко распространившуюся в эпоху эллинизма тенденцию придавать всё большее значение риторико-литературным занятиям. Риторические школы по образцу Исократовой появились в ряде городов Малой Азии и на островах. Важным образовательным центром, кроме Александрии и Пергама, стал Родос, где изучал риторiku Цицерон. В русле этой традиции сложилась и его образовательная программа. В своём трактате «Об ораторе», очень популярном в средневековой Европе, Цицерон исходил из идеи исконного единства философии и риторики. Целью культуры для него было формирование политического деятеля как идеального оратора. Поэтому изучение риторики неотделимо у него от философского образования. Цицерон считал необходимым изучение греческой и латинской литературы, *истории*, философии (включая диалектику), риторики и римского права<sup>6</sup>.

Канон семи свободных искусств окончательно сформировался и был фиксирован в эпоху поздней Античности. В III в. Порфирий связал три (словесные) науки в тривиум, четыре (математические) – в квадравиум. С замкнутым циклом свободных искусств мы впервые встречаемся у Аврелия Августина. Тезис о том, что свободные искусства составляют цикл, а учебные курсы должны читаться в определённой последовательности, получил у Августина обоснование, имеющее неоплатоническое происхождение. Согласно его трактату «О порядке» (*De ordine*), написанному в пору увлечения неоплатонизмом, порядок занятий определяется божественным порядком<sup>7</sup>. Язык и письменность – изобретения Разума. Эту роль у Платона играет бог Тевт (Тот), сначала уподобленный Гермесу, потом – Логосу. Предметом грамматики, кроме лингвистической теории, является всё, что написано, всё, достойное запоминания, включая *историю* и мифы, т. е. все памятники человеческого языка и литературной

---

6 Там же. С. 57.

7 Там же. С. 117.

традиции, не исключая вымысла. Разум изобретает также диалектику и риторику. Таким образом, основанием всех трёх наук у Августина является Логос, понимаемый как Разум, благодаря чему словесные науки были признаны необходимыми элементами неоплатонического образования. Вслед за Порфирием Августин описывает возврат души к интеллигибельному миру при помощи различных дисциплин: семь наук являются семью ступенями, которые постепенно возводят от чувственного к познанию умопостигаемого. Поэтому, согласно Августину, только вполне образованный человек может достичь познания Бога и души. Определяя место *истории* в образовательной концепции Августина, отметим, что она по-прежнему не выступает в качестве самостоятельной учебной или научной дисциплины. Вместе с тем ясно, что памятники человеческого языка и литературной традиции, которые рассматриваются как составная часть грамматики, одновременно являются и содержанием *истории*.

Благодаря современнику Августина африканскому неоплатонику ритору Марциану Капелле и его сочинению «О браке Филологии и Меркурия» неоплатоническое учение о семи свободных искусствах оказалось хорошо известным средневековой Европе. Сочинение имело исключительную популярность и являлось в течение всего Средневековья классическим и самым распространённым школьным учебником<sup>8</sup>. Семь свободных искусств у Марциана Капеллы – *disciplinae*, т. е. науки. Меркурий (Логос) преподносит их своей невесте Филологии (той, что любит Логос) в дар в качестве служанок. Таким образом, эти дисциплины имеют божественное происхождение. Человек может их постичь, только помня о божественном происхождении своей разумной души, о том, что она видела во время своего пребывания на небесах. Готовят апофеоз Филологии музы – божества, возвышающие душу благодаря воздействию книг, развивающих ум. В небесном восхождении Филология проходит все сферы, вплоть до сферы неподвижных светил. Она догадывается о существовании

---

8 Уколова В.И. Античное наследие в культуре раннего средневековья (конец V – середина VII в.). М., 1989. С. 8.

трансцендентного Бога, который не допускает какого-либо постижения. Семью ступенями, ведущими к познанию божественного, являются только науки, входящие в цикл семи свободных искусств. Боги отказываются выслушать Медицину и Архитектуру, потому что последние посвящены предметам, которые относятся к области смертных вещей и не имеют ничего общего с вещами божественными<sup>9</sup>. Филология – персонификация знания, которое должна получить душа для возвращения на небесную родину. Марциан Капелла выражает ту же мысль, что и Августин в трактате «О порядке»: образование освобождает душу от уз тела, возвращая её из звериного состояния, в которое она впала из любви к чувственному миру. Отношение Марциана Капеллы к тому комплексу знаний, который можно отнести к *истории*, лежало в русле неоплатонической традиции.

Свободные искусства в поздней Античности означали курс наук, объединённых методикой и структурой, который следует пройти до конца, чтобы получить полное образование. Эти науки, как основанные на рассуждении, имели первостепенное значение. Медик и философ Гален давал тройное деление наук и искусств, разместив их в трёх хороводах, окружающих их создателя бога Гермеса: геометры, арифметики, философы, медики, астрономы и грамматикисы располагаются в первом хороводе; во втором стоят художники, лепщики, писцы, скульпторы по дереву, архитекторы и скульпторы по камню, в третьем – все остальные. Первый круг ближе к центру, где находится Гермес-Разум, остальные – дальше<sup>10</sup>. Ясно, что *история*, не выступая как самостоятельная дисциплина, попадает при этом под определение «философии» или «грамматики». Давая аналогичное тройное деление, Сенека писал о «ремесленных», «изящных» и «свободных» искусствах: «свободные» же искусства делятся на «детские, изучаемые в школах, и поистине свободные или... дающие свободу

---

9 Адо И. Указ. соч. С. 178.

10 Там же. С. 327.

искусства, ... те, что пекутся о добродетели»<sup>11</sup>. К последним следует, по-видимому, отнести и морализирующую *историю*.

Образовательная традиция Античности оказалась чрезвычайно важной для формирования цивилизации Средневекового Запада, во многом определив те глубокие корни, которые пустила в этом регионе мира секулярная культура. Заслуга создания средневековой системы образования наряду с Аврелием Августином принадлежит великим систематизаторам и хранителям основных достижений классической древности – Боэцию, Кассиодору и Исидору Севильскому. Передача Средневековью важных традиций письменной культуры Античности – одна из главных заслуг Кассиодора. Составленный им сборник «Варии» положил начало сложившейся в Средневековье традиции преподавания риторики как науки составления писем. В сочинении «Наставления в науках божественных и светских» (*Institutiones litterarum divinarum et saecularum*, 551 г.) – популярном средневековом учебнике, определявшем порядок обучения и объём знаний, Кассиодор сформулировал свою основную идею о гармоническом синтезе теологии и светского знания, о необходимости сохранения и использования достижений античной науки. Как и Августин, он стремился поставить всю эллинистическую культуру на службу толкования Писания. При этом он указывал на Откровение как на источник светских наук. Благодаря Кассиодору продолжение получила традиционная для Античности связь риторики и морали. Результатом этого стало хорошее знание в Средние века древней *истории*. *История* получила новую задачу – рассказать о деяниях Бога (*gesta Dei*). Так появилась теологически ориентированная *история*. Для религиозного воспитания Кассиодор считал необходимым чтение христианских историков и отобрал некоторых из них: Иосифа Флавия, Евсевия Кесарийского, Павла Орозия<sup>12</sup>. Идеи Кассиодора, подхваченные орденом бенедиктинцев – главным

---

11 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. Письмо LXXXVIII. С. 193-194, 21-24.

12 Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002. С. 32.

каналом трансляции образовательной теории и практики, получили широкое распространение. Труды Кассиодора, как и сочинения Бозция, «явились своеобразным конспектом древней культуры и легли в основание средневекового просвещения»<sup>13</sup>. Традиция преподавания свободных искусств вошла в школьный обиход в немалой степени благодаря также «Этимологиям» Исидора Севильского.

У истоков создания средневековой школьной традиции стоят и деятели Каролингского Возрождения, осуществившие реформу школьного образования и возродившие практику преподавания семи свободных искусств во Франкском государстве. Последователь Августина англосакс Алкуин, центральная фигура духовной жизни Каролингской эпохи, был автором трактатов по орфографии, грамматике, риторике и диалектике, которыми пользовались до конца Средневековья<sup>14</sup>. Он же занимался систематизацией христианского учения и подготовил новую редакцию Вульгаты<sup>15</sup>. Таким образом, в Каролингскую эпоху существовала и получила развитие божественная, или теологически ориентированная *история*. Согласно рекомендациям Кассиодора, каждый монастырь каролингского времени выделял в своей библиотеке секцию христианских историков<sup>16</sup>.

В X–XI вв. свободные искусства развиваются в монастырских и соборных школах. В XII в. складывается представление о том, что они являются первой частью более широкого образования, заканчивающегося философией и богословием<sup>17</sup>. При этом из дисциплин тривиума начинают особенно интенсивно развиваться логика и грамматика<sup>18</sup>. На предпочтение учёными современниками логики, которая сама

---

13 Карсавин Л. П. Указ. соч. С. 144.

14 См.: Антология педагогической мысли христианского Средневековья: В 2 т. / сост. В.Г. Безрогов, О.И. Варьяш. М., 1994. Т. 1. С. 301.

15 См.: Усков Н.Ф. Алкуин // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 26.

16. Гене Б. Указ. соч. С. 33.

17 Воскобойников О.С. Artes liberales // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 3. С. 469.

18 См.: Piltz A. The World of Medieval Learning. Oxford, 1981. P. 120.

по себе «бессильна и бесплодна», жалуется в своём «Металогиконе», посвящённом изучению тривиума, Иоанн Солсберийский<sup>19</sup> – «гуманист XII в.», читатель Цицерона. Он был сторонником широкого образования, полагая, что богослов должен быть хорошо знаком с культурой древнего мира, а также с историей.

В XIII в. состоялось более полное знакомство с Аристотелем, сложился интерес к опытному знанию. В состав свободных искусств были включены натурфилософия и метафизика. В трудах Винсента из Бове и Эгидия Римского преобладает логика в тривиуме и математика в квадриуме. Спекулятивная математика ложится в основу натурфилософии Фомы Аквинского, Роберта Гроссетеста и Роджера Бэкона<sup>20</sup>. История по-прежнему не является самостоятельной дисциплиной, но она существует, и никто не оспаривает её полезности. Вслед за Аристотелем Винсент из Бове отмечает: «Историческое не относится к философии, поскольку объясняет только единичные из совершившихся деяний», но он также признаёт, что история содержит многое «для удовольствия, отдохновения и пользы»<sup>21</sup>.

Со второй половины XV в. система семи свободных искусств начинает трансформироваться. Несмотря на то, что в университетах доминировал теологический и философский куррикулум, основой академического образования постепенно, по мере формирования ренессансного гуманизма, становятся язык и литература классической древности, в которой богато представлены древняя *история* и античная мифология. Прежде чем утвердиться в университетах, изучение классиков благодаря Гуарино да Верона и Витторино да Фельтре проникло в школьное преподавание, которое, будучи ещё средневековым по форме (структуру учебного плана определяли свободные искусства), стало гуманистическим по содержанию,

---

19 См.: Иоанн Солсберийский. Металогикон. Кн. 2. Гл. 10 / пер. И. П. Стрельниковой // Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья) / под ред. С. С. Неретиной. СПб., 2002. Т. 1. С. 497-499.

20 См.: Воскобойников О.С. Указ. соч. С. 469.

21 Гене Б. Указ соч. С. 30, 47.

повернувшись лицом к языкам и литературе классической древности. Классический куррикулум был принят вначале итальянскими университетами, затем распространился в Париже, Гейдельберге, Эрфурте, Лейпциге, Виттенберге и, наконец, в Оксфорде и Кембридже<sup>22</sup>. Так, проводником гуманистической системы образования в Гейдельбергском университете выступал Петр Лудер (1415–1472), образовательная программа которого включала изучение поэтических, риторических и исторических трудов древних. Свою деятельность в университете он начал в 1456 г. с публичной речи при открытии семестра, содержащей восхваление гуманистического образования и истории как источника морального очищения и улаждающего душу занятия<sup>23</sup>. Попытку реформировать систему университетского преподавания в Германии предпринял и другой немецкий гуманист – Конрад Цельтис, который призывал к изучению не только классической древности, но национального прошлого, истории немецкой империи и отдельных племён, из которых она состоит<sup>24</sup>.

Кроме учебных заведений, подобных школе Витторино да Фельтре в Мантуе, рассадниками чистого классицизма в форме цистеронианства были немецкие гимназии и школы повышенного типа во Франции. Гуманистический куррикулум (наподобие немецких гимназий) имели также публичные школы в Англии. Такой тип школ под названием «грамматических» был трансплантирован в Америку: первой из них стала Бостонская, возникшая в 1635 г.<sup>25</sup> Исключением являлись школы, основанные в Германии и Нидерландах Братьями общей жизни, принадлежавшими к религиозному движению «Новое благочестие». Прекрасной постановкой школьного дела нидерландские «набожные» подготовили в этих странах почву и для Ренессанса, и для Реформации. Под влиянием Братьев

---

22 См.: Barnes H.E. An Intellectual and Cultural History of the Western World. From the Renaissance through the Eighteenth Century. New York, 1965. Vol. 2. P. 566.

23 Немиллов А.Н. Немецкие гуманисты XV века. Л., 1979. С. 101.

24 Там же. С. 139.

25 См.: Barnes H.E. Op. cit. P. 566.

общей жизни, используя их лучший опыт, собственную образовательную систему создали также иезуиты, ставшие в XVII в. главной образовательной силой в Европе. В иезуитских школах при сохранении прежнего содержания дисциплин выделяются три основные: грамматика, риторика и философия, включавшая в себя диалектику и математические предметы квадривиума. В целом, они имели куррикулум, предписанный средневековой схоластической традицией, к которому добавили серьёзное изучение классических языков, а также естественные науки в духе Аристотеля.

Изучение всеобщей истории было введено в иезуитских школах Польши и Литвы уже в XVII в. Однако в России в первой половине XVIII в. история как самостоятельная учебная дисциплина еще не преподавалась. Известно, что в Киево-Могилянской академии в первой половине XVIII в. согласно требованиям Духовного регламента при изучении грамматики учащиеся читали византийских историков. В классе пиитики им предстояло чтение Цезаря, Саллюстия, Ливия и Курция, а также изучение греко-римской мифологии, считавшейся главным источником поэтических красот. В классе риторики в качестве вспомогательных дисциплин преподавались мифология, история греческих и римских древностей, элементы геральдики, антропонимики, этнографии и т. д. Основной целью изучения этого материала являлось украшение речи оратора. Элементы истории содержались и в преподавании философии, которое предварялось изучением истории философии. К историческому материалу обращались также в классе богословия, при толковании книг Священного Писания<sup>26</sup>.

В Новгородской духовной семинарии в XVIII в. история преподавалась аналогичным образом. В 1769 г. семинарией была получена рекомендация Св. Синода изучать историю «совокупно с риторикой»<sup>27</sup>. Известно, что в 1769/1770 гг. учитель класса риторики Феофил (Раев) (?) дополнительно к курсу риторики прочитал «универсальную» историю по книге

---

26 Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия. Киев, 1988. С. 107-122.

27 Светлов Г.И. Краткий очерк истории Новгородской духовной семинарии. Пг., 1917. Вып. 1. С. 133.

Людовика Гольберга<sup>28</sup>. В начале XIX в. в семинарии появляется исторический класс, который относился к «неординарным» (факультативным). История преподавалась в нем совместно с географией ученикам, изучавшим риторику, поэзию, а также обучавшимся в высшем латинском классе. В рекомендациях к преподаванию истории в семинарии за 1802 г. говорилось: «...для лучшего же успеха дать наперед ученикам понятие о главных эпохах истории и показать генеральный характер в них живущего народа. При чтении истории показывать хронологию происшествий и топографию мест, где они случались»<sup>29</sup>. При этом преподавание истории в духе античной и гуманистической историографии сохраняло морализирующий характер.

---

28 Там же. С. 113.

29 Там же. С. 326-327.

**«Французы на самом деле по происхождению германцы»: основы национальной истории в описании Жана Дю Тийе**

Жан Дю Тийе-старший – юрист, старший нотариус (*greffier*<sup>1</sup>), секретарь и хранитель архивов Парижского Парламента, впоследствии – глава основанной Франциском I *Le Trésor des Chartes*, королевский нотариус и секретарь<sup>2</sup>. Родившийся в самом начале XVI в. в семье потомственных правоведов, он принадлежал старшему поколению той знаменательной партии французских юристов своей эпохи, которые, по признанию их современных исследователей, уже в полной мере могут быть «...удостоены звания историка...»<sup>3</sup>. Среди них – Этьен Пакье, Жан Боден, Жак-Огюст де Ту, Франсуа Отман, Ланселот де Попелиньер<sup>4</sup>, создавшие целую серию трудов, выдержанных в

---

<sup>1</sup> «Greffier en son Parlement», так официально писалась эта должность. – *Maugis E. Histoire du Parlement de Paris. Vol. 1. Paris, 1913. P. XVII-XVIII.* Подробнее о пономочиях греффье в целом и Жана Дю Тийе в частности см.: *Daubresse S., Morgat-Bonnet M., Storez-Brancourt I. Le Parlement en exil, ou, histoire politique et judiciaire des translations du Parlement de Paris (XV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle) // Histoire et archives. 2007. №8. P. 29, 68, 76, 541.*

<sup>2</sup> Существует две версии года рождения Жана Дю Тийе-старшего (у него имелся младший брат с таким же именем, впоследствии ставший епископом и автором целого ряда историописаний и публикаций серии документов): либо 1495, либо 1502. Подробная биография Жана Дю Тийе и его рода изложена в ряде справочных изданий, статей и монографий: *Biographie universelle, ancienne et moderne ou histoire, pour ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs action, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Vol.12. Paris, 1814. P.401-402. Dictionnaire de la noblesse. Paris, 1825. Rubercy G. de. Les du Tillet, seigneurs de la Bussière (Loiret) // Académie de Saint-Croix d'Orléans. Lectures et mémoires. 1891. T. 6. P. 477-541; Châtillon H. Recueil de Généalogie. Rennes, 1904. T.1. Calderini De-Marchi R. Jacopo Corbinelli et les érudits français. Milan, 1914. P. 188.*

<sup>3</sup> *Grell Ch. Les historiographes en France XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles // Les historiographes en Europe de la fin du moyen âge à la révolution / Dir. de Ch. Grell. Paris, 2006. P. 138.*

<sup>4</sup> Этьен Пакье (1529-1615) – гуманист, полемист, поэт, выходец из знаменитой, созданной Маргаритой Наваррской и Мишелем де Л'Опителем, Буржской школы права. Основоположник собственно

духе гуманистических традиций исторической критики и предопределивших расцвет эрудитского направления XVII в.<sup>5</sup>

Первоначально работа Ж. Дю Тийе состояла в регистрации и хранении протоколов судебных заседаний, черновиков и прочих записей делопроизводства Парижского Парламента, позже к ней прибавится аналогичная деятельность в *Le Trésor des Chartes* – хранилища королевской канцелярии, приобретшей

---

французской исторической науки (с основой на критике источника) и философии истории, автор «Исследования о Франции». См.: Pasquier E. *Les Recherches de la France*. Paris, 1643. Жан Боден (1529/1530–1596) – гуманист, философ, юрист, экономист, политик, государственный деятель. Один из первых теоретиков истории как науки, автор целой серии работ, в главной из которых в контексте настоящего исследования, является «Метод легкого познания истории». См.: Bodin J. *Methodus ad facile historinarum cognitionem*. Paris, 1566. (рус. пер.: Боден Ж. *Метод легкого познания истории* / Пер., ст., комм. М.С. Бобковой. М., 2000). Жак Огюст де Ту (1553-1617) – юрист, президент Парижского Парламента, автор «Истории моего времени». См.: De Thou J.-A. *Histoire des mois temps*. Paris, 1725. Франсуа Отман (1524-1590) – французский юрист, историк и публицист, автор Франкогаллии» – самого известного сочинения из прочих трудов теоретиков-тираноборцев. См.: Hotman Fr. *Francogallia*. Genève, 1573. Ланселот де Попелиньер (1541-1608) – гуманист, юрист, историк, один из лидеров гугенотской партии в эпоху Религиозных войн. Автор «Истории Франции» и «Истории историй...», на страницах которой впервые выступил как провозвестник теории прогресса в истории. См.: Lancelot Du Voisin, sieur de la Popelinière. *Histoire de France*. Paris, 1581. Idem. *Histoire des histoires avec l'idée de l'histoire accomplie. Plus le dessein de l'histoire nouvelle des François, et pour avant-jeu la réfutation de la descente des fugitifs de Troye aux Palais-Meotides, Italie, Germanie, Gaules, et autres pays pour y dresser les plus états qui soient en Europe et entre autres le royaume de France*. Paris, 1599.

<sup>5</sup> Под влиянием, в первую очередь, идей Ж. Бодена и Э. Пакье изданием с 1618 г. грандиозного собрания средневековых французских источников начало ему положит Андре Дюшен (1584-1640) – т. н. отец французской истории, королевский географ и историограф. См.: *Bibliothèque des Autheurs qui ont escrit l'Histoire et la Topographie de la France* / Éd. A. Dushesn. Paris, 1618. *Historiae Francorum scriptores coetanei ab ipsius gentis origine ad Philippi IV tempora* / Éd. A. Dushesn. Paris, 1636-1649. *Historiae Normannorum scriptores antiqui* / Éd. A. Dushesn. Paris, 1619. *Histoire généalogique de la maison de Montmorency et de Laval* / Éd. A. Dushesn. Paris, 1624. *Histoire généalogique de la maison de Vergi* / Éd. A. Dushesn. Paris, 1625.

к этому времени статус практически королевского архива<sup>6</sup>. В итоге, розыск и неизбежная систематизация в регистры огромного массива документов приведут Дю Тийе к мысли об их исследовании и обязательном издании. Возможно, не последнюю роль в этом стремлении сыграло и письмо Франциска I от 12 июня 1539 г., приложенное к мандату о назначении Дю Тийе хранителем Сокровищницы Хартий: «Дабы знать самое необходимое ...для развития ума и всех наших дел, ...которые... могут вернуть в прошлое и напомнить о нем, необходимо, чтобы каждое событие, случившееся в старину, было упорядочено и сохранено в *Tresor de nos Chartes...*»<sup>7</sup>. Проявив незаурядные организаторские способности по реорганизации вверенных ему хранилищ<sup>8</sup>, Жан Дю Тийе формируется и как историк, ставший в итоге автором более чем десяти сочинений, как отдельных сюжетов из истории Франции, так и описаний королевских династий и Двора. Наиболее фундаментальным из них, принесшим заслуженную славу, стало «Собрание о королях Франции, их короне и доме»<sup>9</sup>. Для его

---

<sup>6</sup> О происхождении и последующих этапах ее существования см. трактат одного из ее первых хранителей, ученика Ж. Дю Тийе Пьера Дюпюи, и последующие исследования: Dupuy P. *Du Tresor des Chartes du Roy*. Paris, 1655. Dessalles M.L. *Le Trésor des Chartes, sa création, ses gardes et leurs travaux, depuis l'origine jusqu'en 1582* // *Imprimerie royale*. №4. 1844. P.79-82. Delaborde H-Fr. *Étude de la constitution du Trésor des chartes*. Paris, 1909.

<sup>7</sup> *Ordonnances des rois de France. Règne de François I<sup>er</sup>*. T. 1. Paris, 1902. P. 249.

<sup>8</sup> Деятельность Дю Тийе на должности хранителя посвящена целая серия исследований, что позволяет автору уклониться от ее описания в рамках настоящей статьи. См.: Boislesle A.-M. de. *Jean Du Tillet et le Trésor des Chartes* // *Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France*. 1873. №10. P. 106-111. Omont H. *Jean du Tillet et le Trésor des Chartes* // *Bulletin de la Société de l'histoire de Pans et de Ile-de-France*. 1904. №51. P. 79-81. Brown E.A.R. *Le greffe civil du Parlement de Paris au XVI<sup>e</sup> siècle: Jean Du Tillet et les registres des plaidoiries* // *Bibliothèque de l'École des chartes*. 1995. №153. P. 325-372. Eadem. *Jean Du Tillet, François I<sup>er</sup>, and the Trésor des Chartes* // *Histoires d'archives: Recueil d'articles offert à Lucie Favier par ses colloques et amis*. Paris, 1997. P. 237-245. Eadem. *Jean Du Tillet and the Archives of France* // *Histoire et archives*. 1997. №2. P. 29-63.

<sup>9</sup> Дю Тийе завершил работу над ним до начала Религиозных войн, но книга была издана только спустя через 6 лет после смерти автора, т.е. в

создания он впервые обратился к накопленным документам, что и позволило создать национальную версию происхождения государства и права. В ней можно выделить несколько условных линий<sup>10</sup>.

Первая из них – *источниковедческая*. Как уже упоминалось, систематизация документов Парламента и королевской канцелярии заставила Дю Тийе начать создавать их каталоги и осознавать историчность их содержания. Интерес к основам формирования государства привел его к изучению рукописей ранних каролингских капитуляриев и правовых памятников мерovingской эпохи, включая «Салическую правду», эдикты от Хлодвига до Карла Великого. Практическая деятельность судьи и секретаря, а Дю Тийе постоянно составлял генеалогии, перечни церемониальных списков по рангу присутствующих и отчеты по соблюдению протоколов, краткие отчеты, направлявшиеся в различные королевские земли (в них он юридически оформлял различные апанажи, должности и завещания) – к накоплению материала. Это сказалось и на непосредственном стиле научной работы: после каждого раздела своего «Собрания...», посвященного правлению того или иного монарха, Дю Тийе приводит подборку собранных им в официальных архивах источников – *«Inventare sur chasque Maison des Roys et grands de France»*. Она носит достаточно гетерогенный характер, включая королевские ордонансы и письма, договоры, соглашения, церковные документы, разного рода нотариальные акты и инструкции, парламентские акты и т.д. На этом пути встречались и неизбежные находки,

---

1577 г.: Du Tillet J. Recueil des roys de France, leurs couronne et maison. Paris, 1577. Посмертные издания под редакцией племянника Дю Тийе, Элии, предприняты в 1578, 1580, 1586-1588, 1602, 1607 и 1618 гг. По другим данным, первое издание было осуществлено в 1589 г., с последующими переизданиями в 1602, 1606, 1607, 1610 гг. и указанном 1618 г. – См: Biographie universelle. Vol. 12. P. 401.

<sup>10</sup> Их условность объясняется не только умозрительностью, но и гораздо большим количеством сюжетов, затронутых Дю Тийе в его работах. Среди них – концепция королевской власти и ее роли в истории страны, позиция по отношению к катарам и альбигойским войнам, современным ему протестантам и Религиозным войнам, хронологическая концепция и т.д.

обнаруживающие истоки отношений с Англией, Святым Престолом, целой серии регальных и сословных прав.

Особое место в источниковедческих изысканиях Дю Тийе занимают обнаруженные им в регистрах Счетной палаты коронационные *ordines* – протоколы инаугурационной церемонии французской монархии от самых ранних из них, датируемых серединой IX в., до современной ему эпохи. Именно на их содержании выстроена вся концепция «Собрания...», его хронологическая структура (от предыдущего монарха к последующему) и смысловая составляющая (легитимность правления определяется наличием церемонии с соблюдением всех её процедур)<sup>11</sup>. Первая часть книги последовательно описывает монархов от Меровингов до Гуго Капета и Генриха II. Вторая посвящена тонкой теме легитимной взаимосвязи династий. Третий, самый значительный, раздел приглашает читателя погрузиться в проблемы происхождения Франции, имен, величия и прерогативы ее королей и королев. Наконец, четвертая часть обращена к описанию коронаций каждого монарха, предваряясь годами его правления (регентства) и последовательной нумерацией. Дю Тийе приходит к выводу, как о специфике инаугурации французских монархов, так и об ее историчности, позволяющей проследить эволюцию не только форм репрезентации королевской власти, но и ее прерогатив.

Основной текст «Собрания...» состоит из достаточно простой хронологии королевской политики, – примечателен другой факт: содержание раздела строго соответствует данным источников в «*Inventaire...*», который непосредственно следует за текстом. Наконец, в каждой библиографической ссылке указаны названия или предмет содержания документа и даже номер его *la layette* – коробки с хранящимися в ней оригиналами.

---

<sup>11</sup> Подробно эта линия рассмотрена автором в отдельной статье. См.: Польская С.А. Время власти под властью времени: принцип хронологии королевского правления в трактатах французских юристов XVI-XVII веков // Формы и способы презентации времени в истории: Сб. научн. статей / Отв. ред. С.Г. Мереминский. М., 2009. С. 289-293.

Для максимальной наглядности Дю Тийе снабжает рукопись, впоследствии врученную Карлу IX в 1566 г., цветными копиями с деревянных гравюрных портретов французских монархов, снабженные по нижней кромке подлинным воспроизведением королевских печатей. С этой целью королевский архивист озабочился написанием пояснений для оставшегося неизвестным художника, которому вменялось добросовестно следовать подлинным памятникам королей Франции, дабы картины послужили наглядным пояснением для его книги. Таким образом, портреты Хлодвига, Хильперика, Фредегонды, Карла II Лысого, Карла III Простоватого, Людовика IV Заморского, Лотаря I и Филиппа I были скопированы с надгробий или статуй в аббатствах Сен-Женевьев Сен-Жермен де Пре, Сен-Дени, Сен-Коломб, Сен-Реми, Сен-Бенуа, Барбо и т.д. Портреты же Филиппа II Августа, Людовика VIII, Людовика IX Святого, Филиппа IV Красивого, Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного, а также Филиппа VI, Карла V и Карла VI Валуа были заимствованы с гравюр на их печатях. Предположительно, это один из старейших примеров использования иллюстрации как достоверного источника в гуманистической книжной традиции, и в этом отношении Жан дю Тийе оценивается историками книги в качестве первопроходца<sup>12</sup>.

Использование средневековых хроник и их критика, стремление учитывать генеалогии всех королей, первых знатных фамилий и основные установления монархии, эволюцию ее институтов и т.д. заставляли обращаться к архивным документам и с вполне прагматичной целью. Изученные Дю Тийе, как он писал, «...документы, призванные послужить истории Франции», призывали монархию, по его же

---

<sup>12</sup> См. отдельно посвященную этому сюжету статью Э. Омона: Omont H. Les portraits des rois de France du Recueil de Du Tillet // Bibliothèque de l'École des chartes. 1907. Vol. 68. №68. P. 673-674. Он же подчеркивает дополнительную ценность миниатюр, поскольку значительная часть использованных для их написания оригиналов, восходящая еще к XIV в., украшала Большой зал Лувра, где и была уничтожена пожаром в 1618 г.

выражению, к «политическому благоразумию»<sup>13</sup>. В целом предложенная королевским архивистом позиция представляла собой достаточно сложное, продиктованное условиями эпохи, понимание роли документа в трактовке прошлого страны. Крепнувший абсолютизм заставлял и королевскую власть интересоваться собственными архивными и историческими ресурсами. Примечательно, что Франциск II не только продлил должностной мандат Дю Тийе, но расширил его полномочия и распорядился окончательно реорганизовать и классифицировать собрания королевских архивов (его примеру будут следовать все представители династии). И уже в своем посвящении Карлу IX, Дю Тийе утверждал, что королевская история и политика неотделимы от реальных исторических документов, на которые должно ссылаться и представлять их как можно полнее, в том числе и в форме их отдельных публикаций<sup>14</sup>.

Разумеется, столь грандиозная задача в полном объеме была невыполнимой даже для столь деятельной натуры королевского архивиста. Но его источниковедческие изыскания с целью превращения прерогатив монархии в предмет изучения и доказательства их легитимности открыли дорогу последователям, сменявшим Дю Тийе на посту хранителя документов Парламента и *Le Trésor des Chartes* вплоть до конца Старого Порядка<sup>15</sup> и ставшими основателями эрудитского направления в исторической мысли Франции<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... I. P. 243.

<sup>14</sup> Далее Дю Тийе указывал на целеполагание своих усилий: «С тех пор как я был определен на это место, невероятными усилиями и ценой я исследовал бесчисленное количество записей Вашего парламента и по разрешению Вашего отца (да простит его Господь) посещал Вашу канцелярию... Я вызвался организовать написание истории всех правлений, всех споров этой третьей династии (Валуа – С.П.) с соседями, королевского домена с провинциями, собрать в тома законы и ордонансы с салических времен и, наконец, отдельным собранием указать, что подобает королевской особе и дому, включая древние формы правления тремя сословиями, справедливые законы в королевстве и изменения, которые имели место во времени». Ibid. I. Preface. P. 2.

<sup>15</sup> Таковых только в период правления Генриха IV и Людовика XIII сменилось несколько человек: Матье Моле, назначенный хранителем в ноябре 1614 г., сменивший его в мае 1615 г. Пьер Дюпюи и, наконец,

На практике же исследования источников из королевских архивов вели к весомым политическим последствиям, показывая, как знание прошлого может быть использовано в реалиях современного Дю Тийе XVI столетия. Это открытие морально-нравственной стороны основанного на источниках историописания привело ряд исследователей «Собрания...» к заключению о наличии в нем мотивов «...*techne*» Макиавелли духа благоразумия Полибия»<sup>17</sup>. Действительно, в предисловии, рассуждая о документах, подтверждающих легитимность королевской власти вообще и Карла IX в частности, его

---

Теодор Годфруа, который занял это место в 1618 г., став впоследствии и придворным историописателем, автором известного «Французского церемониала», продолжившего линию Жана Дю Тийе. Он же и завершит составление описи фондов. См.: Delaborde H-Fr. Les travaux de Dupuy sur les Trésor de Chartes et les origines du supplément // Bibliothèque de l'École des chartes. 1897. P. 128-154. Описи, созданные Ж. Дю Тийе и Т. Годфруа, при определении их классификации получили наименование «исторических» (сейчас в Национальном архиве Франции они составляют серию «J»). Сменивший Теодора Годфруа на посту хранителя сын, Дени Годфруа, занялся изысканием документов уже в провинциях. В частности, в архивах Счетной Палаты г. Лилля он обнаружил, отредактировал и, по распоряжению Кольбера, передал в королевскую библиотеку 182 томов регистров, восходящих еще к 1000 г. См.: Guyotjeannin O., Potin Y. La fabrique de la perpétuité: le Trésor des chartes et les archives du royaume, XIII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles // Revue de synthèse. Fabrique des archives, fabrique de l'histoire. 2004. №5. P. 15-44.

<sup>16</sup> К числу таковых можно с полной уверенностью можно отнести уже упомянутого Пьера Дюпюи – хранителя королевской библиотеки и создателя известного «*le cabinet de érudit*» и занимавшего аналогичную должность Пьера Питу, собравшего и опубликовавшего франкскую анналистику VIII-IX вв. и прочие рукописей с 900 по 1285 гг. См.: Annalium et histotia Francorum ab anno DCCVIII ad annum DCCXC scriptores watanci XII. Paris, 1558. Scriptores veteres: 11 vol. Paris, 1596. В итоге деятельность Пьера Питу заслужит у ряда исследователей более высокую оценку, чем усилия Жана Дю Тийе. В частности, Анри-Франсуа Делаборд окончательно определит пальму первенства следующим образом: «Этот великий знаток (П.Питу – С.П.) создавал свои проекты, еще более многоплановые, чем смог Дю Тийе, сумев издать бесконечное собрание источников для историков, юристов и клириков Франции...»: Delaborde H-Fr. Étude de la constitution... P. CLXXVIII.

<sup>17</sup> Soll J. Publishing the prince: history, reading and the birth of political criticism. Est.-Lansing, 2005. P. 30.

секретарь пишет «Письменное описание настоящих событиях, даже семейных, являются (сир) не только очень полезными, но и крайне необходимыми как для королей и принцев, так и для их подданных. Поскольку (так сказал Полибий) нет более легкого пути, чтобы узнать о жизни, чем преимущество, полученное от знаний<sup>18</sup>, потому что есть два пути для всех, чтобы исправить свои ошибки (от которых никто нас не освобождает): первый заставляет принять бедствие, исходящее от случающихся с нами беспорядков, которые должны быть приняты как гнев и наказание Божие. ... Другой путь, более желанный, действенный, и своевременный, и избираемый – это знание о добром и дурном правлении и сходных событиях, в действительности пережитых кем-то из предшественников, которые послужат всякому как добрый или дурной опыт, но из которого нужно извлечь пользу без потерь и сетований»<sup>19</sup>. Ниже Дю Тийе подчеркивает, что стремится показать своим сочинением, как подлинные документы учат мыслить на конкретных исторических примерах и служить образцом для привычки к исторической точности<sup>20</sup>.

Ко времени составления этого посвящения, т.е. в правление Карла IX, Жан Дю Тийе пережил уже четырех королей. Его долгая и верная служба династии позволяла быть так откровенным с одним из ее последних представителей. Прошлое должно служить настоящему, и познающий его историк наилучшим образом может служить своему государю. Королю же, как тонко заметил Якоб Солл, «...необходим надежный историк со знанием о том, как найти исторические документы и извлечь их политическую мудрость»<sup>21</sup>. От этого и отталкивается вся последующая концепция национальной истории Дю Тийе, основанная на толковании древних законов в купе с их значимостью для настоящего.

---

<sup>18</sup> «...ибо познание прошлого скорее всяких иных знаний может послужить на пользу людям...»: Полибий. Всеобщая история / Пер. Ф.Г. Мищенко: В 3 т. М., 1990. Кн. 1. Гл. 1.

<sup>19</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... I. Preface. P. 1.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Soll J. Op. cit. P. 30.

Так появляется ее вторая линия – *правовая*. Первый публичный опыт по применению своих знаний спровоцировала гибель Генриха II в 1559 г., заставив Дю Тийе-юриста решать достаточно деликатный вопрос о королевском совершеннолетии: с одной стороны, имелся 15-летний наследник Франциск II, достигший сознательного возраста, но, с другой стороны, по букве гражданского права, можно было подождать еще 10 лет. Такого рода правовая лазейка создавала прецедент для Гизов, для принцев крови, в первую очередь, для короля Наваррского. Как непревзойденному знатоку регистров Парламента и документов королевской канцелярии, Дю Тийе поручают предоставить аргументированное разрешение проблемы в пользу Франциска II. У него сразу же обнаруживается оппонент в лице трибуна гугенотов Франсуа Отмана, что вынуждает Дю Тийе к ответным мерам: в 1559 и 1560 гг. он пишет памфлеты «О старшинстве всехристианнейшего короля против сочинений бунтовщиков» и «О старшинстве всехристианнейшего короля против хитро измышленного законным совета бунтовщиков»<sup>22</sup>, в результате чего их лидер Ла Ренуди становится личным врагом Дю Тийе<sup>23</sup>.

Годом ранее, в 1558 г. Дю Тийе публикует «Предостережение дворянам...», склонявшимися к кальвинизму. Поддерживая гугенотов, по его мнению, они выступают против короля, что расценивается как измена: «Когда некто считает, что все состояние и богатство королевства, все его величие и просторы предназначены для знати, и совокупные доходы короля таковы, что покрывают содержание и оплату большого числа ведомств, и выплату пенсий должностным лицам короны: маршалам, губернаторам,

---

<sup>22</sup> Du Tillet J. Pour la majorité du roi treschrestien contre les escrits des rebelles. Paris, 1560. Idem. Pour l'entier majorité du roy treschrestien contre le legitime conseil malicieusement inventé par les rebelles. Paris, 1560.

<sup>23</sup> Naef H. La Congjuration d'Amboise et Genève. Genève, 1921. P. 33. Hearsey J., Salmon J H.M. Society in crisis: France in the sixteenth century. Cambridge, 1979. P. 125, 126. Brown E.A.R. La Renaudie se venge: l'autre acy de la conjuration d'Ambois // Complots et conjusations dans l'Europe modern / Éd. Y.-M. Bergè, E.F. Giarini. Collection de l'École française de Rome. №220. 1996. P. 451-474.

капитанам, лейтенантам и гвардейцам и раздачу их родственникам пожалований любого размера. Короче говоря, если выяснить доходы хотя бы одного принца и его свиты, то обнаружилось бы, что излишки и доходы распределены и разделены между ними (знатью)»<sup>24</sup>.

По мнению Дю Тийе, знать не только занимает ведущие позиции в государстве, но сам государственный механизм направлен на обеспечение поступлений к дворянам в форме централизованной системой ренты от короля<sup>25</sup>. Поэтому дворянство обязано выступать на стороне своего государя.

Эти работы получили вполне понятное признание властей и оказались помещены в собрание королевских ордонансов канцлером Мишелем де Л'Опиталем<sup>26</sup>. Причина оказанной чести проста: опираясь на легистскую традицию, Дю Тийе отверг авторитет римского права и утвердил главенство феодального обычая. А с ростом централизации страны и укреплением монархии – превосходство королевского закона<sup>27</sup>. Как доказывает сам автор, «в соответствии с законами Франции, т.е. областей, где наличествовало обычное право, возраст несовершеннолетнего не определяется римскими установлениями»<sup>28</sup>. В итоге, если вернуться к проблеме королевского совершеннолетия, то предложенный им метод позволил решить ее в достаточно убедительной степени. Игнорируя классические авторитеты, он обращается к

---

<sup>24</sup> Du Tillet J. *Advertissement à la nobles tant du parti du roy, que de rebelles*. Paris, 1558. P. 21.

<sup>25</sup> Heller H. *Iron and blood: civil wars in sixteenth-century France*: 2-e ed. Ottawa, 1991. P. 4.

<sup>26</sup> См.: *Ordonnances des roys de France de la troisième race*. Vol. 6. Paris, 1741. P. 26-32.

<sup>27</sup> В этом отношении Дю Тийе расходится во взглядах со многими своими современниками, в том числе и с Э. Пакье, позиционировавшим, как и Ф. Отман, что Франция – это, прежде всего, нация, а не государство; суть страны выражают обычай и культура, а не монархия. См.: Farr W. *Constitutional thought in sixteenth-century France: a study in the evolution*. London, 1969. P. 115.

<sup>28</sup> Du Tillet J. *Pour la majorité du roi treschrestien contre les escrits...* P. 25.

известному ордонансу Карла V от 1374 г., который устанавливал законным правление с 15-ти лет<sup>29</sup>.

В итоге именно Дю Тийе юридически обосновал тезис о том, что собственно французская монархическая традиция является не римской, а германской (франкской). Мобилизуя этот аргумент, он считал вполне естественным обратиться к «Германии» Тацита, где достаточно подробно описана варварская практика присвоения высших должностей в очень молодом возрасте. В целом внимание к Тациту<sup>30</sup>, к его аналитическому инструментарию, заставило Дю Тийе обратить внимание на моральную подоплеку своего историописания и на его практическое применение.

Скорее всего, именно по этой причине Дю Тийе отверг требования «бунтовщиков», как он упорно именовал тираноборцев, о необходимости регентства принцев крови над Франциском II и подтвердил необоснованность ссылок на решение Генеральных Штатов как консультативного органа<sup>31</sup>. Немаловажным доводом в логике рассуждений Дю Тийе выступил и тот факт, что он по-прежнему активно критиковал своих оппонентов за ссылки на средневековые хроники, вновь полагая, что истинная монархическая традиция прослеживается только по актам королевского делопроизводства, т.е. по королевским архивам.

В самом ли деле Дю Тийе продал свое перо, как утверждали гугеноты, неизвестно. Но то, что они не порывал с галликанской традицией, хотя и мог использовать конъюнктуру

---

<sup>29</sup> Подробно о проблеме королевского совершеннолетия в трактовке Дю Тийе см. раздел исследования Элизабет Браун: Brown E.A.R. *Jean Du Tillet and the French wars of religion: five tracts, 1562-1569*. Cambridge, 1994. P. 11-13.

<sup>30</sup> Я. Солл называет его «тацитизмом». Он же упоминает о влиянии на Дю Тийе комментатора и издателя Тацита, фламандского гуманиста Юстуса Липсиуса (1547-1608): Soll J. *Op. cit.* P. 30-31.

<sup>31</sup> О «законном совете» и критике его Дю Тийе пишет в своих мемуарах не только его последователь Пьер Дюпюи, но и принц Конде. – Dupuy P. *Traité de la majorité de nos rois, et des régences du royaume*. Paris, 1655; Idem. *Traites touchant les droits du roy très-chrestien sur plusieurs estats et seigneuries possédées par divers princes voisins*. Paris, 1655. *Mémoires de Condé*. Vol. 1. London, 1743. P. 437.

ситуации Религиозных войн, очевидно. Более того, его вклад в развитие истории как науки получил продолжение и даже укрепил позиции тираноборцев, поскольку, следуя за своими регистрами, не мог окончательно отрицать природный характер социальных и политических институтов Франции. Вслед за Генеральными штатами к числу естественным образом зародившихся институтов французского общества, фактически независимых в своих функциях от короля, Дю Тийе относит и столь близкий ему Парижский Парламент, чьи судебные прерогативы уже с середины XIV в. он оценивает как судебную функцию (*judiciare*), соответственно, признавая за монархом законодательную (*législatif*)<sup>32</sup>. И хотя одна часть исследователей не без оснований полагает, что «греффье-историк» разделил их преждевременно, отнеся к слишком раннему периоду развития французского государственного аппарата (тем более, что эта тенденция не наблюдается и в современном ему XVI в.)<sup>33</sup>, вторая, не останавливаясь на достоверности, оценивает эту позицию как «...создание принципиального направления для эрудитов, исследующих исторически обусловленные изменения французской системы управления, построения его отсутствующей ранее рациональной традиции»<sup>34</sup>.

Действительно, королевскому архивисту не доставало ярости Ф. Отмана: он все же обладал темпераментом ученого, а не реформатора, и на находящиеся в его распоряжении документы смотрел в большей степени глазами архивиста, а не политика. Проведя много лет жизни среди огромного количества памятников французского прошлого, Дю

---

<sup>32</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... I. P. 341.

<sup>33</sup> Hanly S. Le «lit de justice» des rois de France. L'ideological constitutionnelle dans l'Église, le rituel et le discours / Trad. par A. Charpentier. Paris, 1991. P. 144. Кроме Сары Ханли этой позиции также придерживаются Элизабет Браун и Ксавье Годе. См.: Brown E.A.R. La justice royale et le Parlement de Paris (XIV<sup>e</sup> – XVII<sup>e</sup> siècle) // Bibliothèque de l'École des chartes. 1995. №151. P. 325-372. Godin X. Les enjeux politiques de l'ordonnance civile (1667) // Procéder: pas d'action, pas de droit ou pas de droit, pas d'action? / Éd. J. Hoareau-Dodinau, G. Métairie, P. Texier. Liège, 2006. P. 160-161.

<sup>34</sup> Parsons J. The church in the republic: Gallicanism and political ideology in Renaissance. Washington, 2004. P. 98.

Тийе ценил их именно как исторические источники и не придавал им первостепенного значения прагматической ценности<sup>35</sup>.

Наконец, его захватила принадлежащая еще легистам мысль о естественном происхождении общества и государства. Окруженный реликвиями прежней эпохи, Дю Тийе остался верен себе и не стал искать классических параллелей в романтических легендах о галлах, а обратился к германскому наследию Франции. Возможно, он стал одним из первых, кто отверг троянскую теорию, не драпируя ее в идеологическую подоплеку. «Те, кто писали, что французы на самом деле по происхождению германцы, сулили им больше чести, нежели те, кто выводил их от троянцев, ибо лишь честь и достойна называться истинной добродетелью...»<sup>36</sup>.

Дю Тийе подчеркивал, что для французов важнее их действительно франкское начало, чем повтор старых легенд о якобы их троянском происхождении<sup>37</sup>. Это особенно важно на фоне разразившихся религиозных войн для «защиты и прославления» французской короны, как национальной монархии<sup>38</sup>. Соответственно подчеркивается и враждебность между франками и римлянами, что объясняется несоответствием римских институтов с германской свободой. «Римляне, – как отмечено в соответствующей эпохе первых

---

<sup>35</sup> Kelley D.R. *Foundation of Modern Historical Scholarship: Language, Law and History in French Renaissance France*. New York, 1970. P. 215. Специальной работой Дональда Келли, посвященной деятельности Тийе-историка, является его статья «Жан Дю Тийе – архивист и антиквар», материалы которой отчасти вошли в указанную выше монографию: Idem. *Jean du Tillet, Archivist and Antiquary* // *Journal of Modern History*. 1966. Vol. 38. P. 337-354.

<sup>36</sup> Du Tillet J. *Recueil des roys de France...* I. P. 54.

<sup>37</sup> В этом отношении он был полностью солидарен с мнением брата, Жана Дю Тийе-младшего, получившего к этому времени епископскую кафедру в Мо. См.: Brown E.A.R. *The Trojan Origins of the French and the Brothers Jean Du Tillet* // *After Rome's fall: narrators and sources of early medieval history* / Ed. by W.A. Goffart, A.C. Murray. Toronto, 1998. P. 348-384.

<sup>38</sup> Д. Келли называет совокупность этих воззрений Дю Тийе «французским духом»: Kelly D.R. *France // The Renaissance in national context* / Ed. K. Porter, M. Theich. Cambridge, 1992. P. 134-135.

Меровингов главе «Собрания...», – неоднократно побеждали германцев, но так окончательно их и не покорили»<sup>39</sup>.

Институт королевской власти в трактовке «Собрания...» тоже является непосредственно германским: описание инаугураций, не без влияния Тацита, начинается с того, что «...по своей форме коронация и провозглашение вождей у франков являлись поднятием их на щит», с этого же времени берет начало практика провозглашения правителей собранием, «веками позже ставшим собранием сословий»<sup>40</sup>. Он прямо указывает: «Хлодвиг, первый христианский король, ...начал править в 485 году и был провозглашен королем Франции на генеральной ассамблее. Воины подняли его на щит, трижды пронесли на руках вокруг лагеря с криком: «Мы признаем его, мы принимаем его как своего короля!»»<sup>41</sup>.

Сама церемония королевского посвящения (*le sacre royal*) имеет строго правовой и, опять-таки, национальный характер. Ее уникальность заключается в нескольких аспектах. Во-первых, наивысшей степени сакральности получаемых монархом прерогатив следствии помазания Священным Елеем из Святой Склепки, хранящейся в аббатстве Сен-Реми. Для этого Дю Тийе привлекает широко известную легенду о крещении Хлодвига: он (Хлодвиг – *С.П.*) сотоварищи принял в сочельник Святое Причастие в церкви Реймса у святого Реми, архиепископа этого места, получившего от Святого Духа Святую Склепку (*La Sainte Ampoule*) со священным миром, коим помазываются все короли Франции»<sup>42</sup>.

Во-вторых, крайне важна публично-правовая сторона процедура коронация в присутствии всей знати и посредством прикосновения к возлагаемой короне 12-ти пэров, институт которых, ссылаясь на королевские регистры, Дю Тийе совершенно обоснованно выводит от эпохи Капетингов, а не Каролингов: начиная с посвящения Филиппа I в 1059 г. и постановления Людовика VII и Филиппа II Августа: «...пэры

---

<sup>39</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... I. P. 371.

<sup>40</sup> Ibid. I. P. 183, 185.

<sup>41</sup> Ibid. I. P. 140.

<sup>42</sup> Ibid. I. P. 15.

Франции явились в вышеназванную церковь Реймса (Реймский собор – С.П.) в 1059 г., и хотя среди них не обнаружилось епископа Бовэ и герцога Нормандского..., все прочие присутствующие там прелаты и бароны были назван по-порядку (т.е. по рангу – С.П.). И они постановили, что посвящение и коронация не могут проводиться в другом месте, кроме Реймса...», затем в 1179 г. статус пэра получил епископ Лана, «...сильный и признаваемый даже своими противниками...», и в 1216 г. назначение пэром принесшего оммаж еще Филиппу II Августу герцога Шампанского<sup>43</sup>.

В-третьих, основой легитимности монархии выступает преемственность всех ее династий, связанных не только помазанием Священным Елеем, но и более земными обстоятельствами. Так, он признает, что «линия Меровингов, правивших 300 лет, пресеклась», поскольку Пипин Короткий отнял ее «для узурпации и тирании», но авторитетом архиепископа Майнцского Бонифация он получил корону для «посвящения и помазания»<sup>44</sup>. Понимая всю деликатность проблемы, Дю Тийе приводит ответ папы Стефана II Пипину Короткому, признав его посвящение, а также указ о законности посвящения обоих его сыновей Карла и Карломана. «Отправленная им (папой – С.П.) 28 июля 754 г. «*Clausula de unctine Pippini*» гласит: «Тогда он дал свое благословение милостью Божьей на шести известных языках, первым из них – франкском, под страхом интердикта и кары отлучения от Церкви никому никогда не претендовать в будущем на избрание короля, происходящего из иного рода, нежели того, у которого почитание Господне превыше всего и который решено, с заступничества святых апостолов, признать и посвятить рукой святейшего понтифика, его викария.»»<sup>45</sup>. Таким образом, Пипин признается первым посвященным и коронованным, т.е. приобретшим статус полноценного христианского монарха, и в этом его легитимность.

---

<sup>43</sup> Ibid. I. P. 431-432.

<sup>44</sup> Ibid. I. P. 37.

<sup>45</sup> Ibid. I. P. 11. Полный текст см.: *Clausula de unctioe Peppini* / Ed. V. Krause // *MGH. Series rerum merovingicarum* / Ed. V. Krusch. Bd. 2. №2. Hannover, 1896. S. 456.

Несколько иначе трактуется приход к власти Гуго Капета. В данном случае Дю Тийе возлагает вину на его сына, Роберта II, который «...сумел силой отобрать корону у Каролингов», а его отец, став к этому времени королем Нойона, «...затем в 988 г. был посвящён и коронован в Реймсе...»<sup>46</sup>. Воцарение Валуа у Дю Тийе полностью согласовано с прекращением прямой ветви Капетингов и подчеркнутым соблюдением принципа примогенитуры при переходе трона к Филиппу VI<sup>47</sup>, а затем и к Ангулемской ветви<sup>48</sup>.

Что касается происхождения феодального права, то оно выводится от эпохи образования Папского государства. Доказывая этот тезис, Дю Тийе обратился к анализу этимологии основных дефиниций сеньориальных отношений. Он утверждал, что понятия «лен» и «фьеф», как наследственные земли, в документации раньше эпохи Каролингов не встречаются, и находил, что присвоение семье имени территориального владения есть варварский обычай, противоположный римской практике<sup>49</sup>. Что касается обычного права, то оно порождено не знатью, а народом, что также, по мнению Дю Тийе, демонстрирует доминирование германских корней.

В конечном счете, наиболее тщательно Дю Тийе проиллюстрировал самостоятельность и одновременно преемственность французской политической традиции посредством исторических комментариев относительно основных институтов и учреждений монархии. Его вывод исходил из идеи самоценности французского права, что активно поддерживалось его представителями, особенно членами Парижского Парламента, которые, по мнению Дю Тийе, потому и облачались на королевских похоронах в красное платье вместо черного, чтобы символизировать вечность французского правосудия и монархии<sup>50</sup>. Среди прочих составных частей «тела Франции» – уже упомянутые 12 пэров (6 церковных и 6

---

<sup>46</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... I. P. 60.

<sup>47</sup> Ibid. I. P. 201.

<sup>48</sup> Ibid. I. P. 351-352.

<sup>49</sup> Ibid. I. P. 389.

<sup>50</sup> Brown E.A.R., Famiglietti R.C. The Lit de justice: semantics, ceremonial, and the Parlement of Paris, 1300-1600. Cambridge, 1994. P. 75.

светских), *conseil privé*, маршал, адмирал и губернаторы (по каждой из должностей им составлены отдельные описи)<sup>51</sup>.

Именно благодаря глубокой фундированности своего труда, Дю Тийе блестяще доказывает уникальность и одновременно преемственность власти. Тем более, что регистры королевской канцелярии хранят бесчисленное множество доказательств как королевского титула, так и королевских знаков. Например, геральдическая лилия, указанная еще в «Салической правде»: «Во французской короне, – писал он, повторяя многих легистов, – имеются определенные цветы, символизирующие королевские прерогативы и права, присущие только ей одной (монархии – С.П.)»<sup>52</sup>. Однако сам королевский архивист отрицал обычную приписку ее происхождения Фарамону, поскольку, как он писал, «не существует свидетельств, что этот легендарный король посещал галлов, правда, с другой стороны, в Салическом своде законов остались очевидные следы христианства»<sup>53</sup>.

Анализ источников и необходимость применять их для правового обоснования королевских прерогатив вывели Дю Тийе на третью линию его поиска – *филологическую*. Зная древние германские языки и знакомый с трудами современных ему гуманистов<sup>54</sup>, он пытался придать своим рассуждениям на «варварскую» тему более обоснованную историческую и филологическую базу. Отправной точкой его изучения стал массив текстов, где отмечались качественные оценки германцев: это уже упоминаемые труды Тацита и Полибия, позже – Иордана, редакция и обширное предисловие к «Салической правде», введенной таким образом в оборот научного знания<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... I. P. 362.

<sup>52</sup> Ibid. I. P. 253.

<sup>53</sup> Ibidem.

<sup>54</sup> См. подробнее: Turner C.H. Jean du Tillet: A Neglected Scholar of the Sixteenth Century. Oxford, 1905.

<sup>55</sup> Эта редакция «*Lex Salica*», наряду с рукописями ранних каролингских капитуляриев и правовых памятников меровингской эпохи, между 1549 и 1557 гг. была опубликована Жаном Дю Тийем-младшим: Du Tillet J. Libelli seu decreta a Clodoveo et Childeberto prius aedita ac postremo a Carolelu-cide emendata, auctaque plurimum. Paris, s/d.

Помимо этого он использовал и труды современных ему авторов, но в любом случае даже проведенный им анализ этимологии понятий, доказывал, по его мнению, германское происхождение французских институтов.

Так, «майордом», по Дю Тийе, восходит к понятию «*meyer du palais*», что в переводе с нижнегерманского означало управляющего. Позднее, в связи с изменениями языка, это стало звучать как «*maire or maistre du palais*». Или, например, один из излюбленных героев средневековых хронистов, маршал Франции, – понятие, происходившее от двух нижнегерманских слов, где «*march*» означало «лошадь», а «*schal*», соответственно, слугу или всадника<sup>56</sup>.

Наконец, вобравшей в себя весь предыдущий опыт, является последняя, четвертая линия доктрины Дю Тийе – *историко-патриотическая*. Связь между свободолюбивыми франками и современными ему французами являлась, по его мнению, отличительной чертой эпохи Карломанов (Каролингов). Французы унаследовали не только черты, присущие германскому миру, но и политические (имперские) традиции Рима. Они были установлены позже, в эпоху Карла Великого, который выступал, по мнению Дю Тийе, «строителем западной империи, разделенной между Германской и Галльской коронами»<sup>57</sup>. Более того, королевский архивариус «перенаправил»<sup>58</sup> миф о Карле Великом, утверждая, что император принадлежал больше Франции, чем Германии, поскольку создал наследственную монархию, основанную на принципе примогенитуры. Ее и получили от него Капетинги, а не восточные франки, потому что «...нет такого народа, испытавшего большее размежевание, чем немцы, которые, если бы объединились, то, несомненно, стали бы лучшими»<sup>59</sup>. В

---

<sup>56</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... I. P. 586.

<sup>57</sup> Du Tillet J. Libelli seu decreta a Clodoveo et Childeberto... P. 989. Дю Тийе-старший дословно цитирует брата, уже в который раз выражая с ним полное согласие: Du Tillet J. Recueil des roys de France... I. P. 250.

<sup>58</sup> Выражение Гарольда Эллиса. См.: Ellis H.A. Boulainvilliers and the French Monarchy: Aristocratic Politics in Early Eighteenth-Century France. Ithaca; New York, London, 1988. P. 43.

<sup>59</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... I. P.51.

подтверждение Дю Тийе приводит данные архивов<sup>60</sup>, согласно которым Капетинги в своей титулатуре используют титул «император», который следовал за другим, не менее почитаемым – *christianissimus* («наихристианнейший»), сохранившийся до современного ему времени. Встречной тому причиной, указывает «Собрание...», является помазание посвящаемых королей Святым Елеем – уникальная прерогатива, которой лишены все прочие монархи<sup>61</sup>.

Первым текстом, предложенным Дю Тийе в поддержку имперских аргументов стала каноническая формула из буллы Иннокентия III, по которой, «король в светских делах не признавал никакого верховенства», причем копия этой буллы, указывает автор «Собрания...», сохранилась в регистрах Парижского Парламента. Другими ценными свидетельствами выступают буллы Климента V, аннулировавшего акты Бонифация VIII против Филиппа IV<sup>62</sup>.

Основной упор в аргументации Дю Тийе, однако, был сделан не на сходство Римской империи с высшей политической властью во Франции, а, скорее, на превосходстве последней. Убежденность королевского архивиста в уникальности и самодостаточности французской монархии в наибольшей степени иллюстрируется формулой, почерпнутой им из «*Establishmentes*» Людовика Святого: «король владеет от Бога и от себя, а более ни от кого»<sup>63</sup>. Для подтверждения своей позиции о феодальном принципе правления королей Дю Тийе обращается и к знаменитому ордонансу Филиппа IV 1312 г., в котором обуславливалось, что «данное королевство управляется посредством обычаев, а не писанным законом». Хотя, как зло подмечает Дю Тийе-юрист, «в то время гражданское право и могло уже изучаться в университетах, за исключением Парижа,

---

<sup>60</sup> Наиболее полно ссылки на архивы с рукописями Дю Тийе приведены в монографии Э. Браун и приложениям к ней: Brown E.A.R. «Franks, burgundians, and aquitanians» and the royal coronation ceremony in France // Transactions of the American Philosophical Society. Vol. 82. Part 7. Berkeley, 1992.

<sup>61</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... I.

<sup>62</sup> Ibid. III. P. 274.

<sup>63</sup> Ibid.

но вряд ли оно применялось в самом королевстве»<sup>64</sup>. В этом вопросе Дю Тийе вновь сближается с Ф. Отманом и со всей легистской традицией. Несомненно, что дискуссия о королевском праве в XVI в. достигла своего апогея, заслужив у ряда исследователей термин «юридический национализм»<sup>65</sup>.

Еще одна тема, злободневная для Дю Тийе – это свободы галликанской Церкви. Автор полагал, что привилегии духовенства также имели свои корни, что прослеживается в титуле «всехристианнейшего короля», так же как и в многочисленных каролингских памятниках: созывах соборов, привнесении изменений в церковную доктрину и устав и т.д.

Как и многие правоведы его эпохи, в 1551 г. Жан Дю Тийе создает свою версию трактата, посвященного этой проблеме – «Воспоминание и дурное мнение 1551 года о свободах Галликанской Церкви»<sup>66</sup>. Его преимущество заключается в использовании новейших документов королевской канцелярии<sup>67</sup>, что выдает в Дю Тийе намерение придать своему сочинению характер документального расследования. Действительно, он ссылается только на *les layettes* королевской канцелярии, к которым имел неограниченный доступ и прямо высказывается об их пользе для короны в свете ее притязаний на руководство Церковью, например, право инвеституры: «Кроме того, преимущество выбора в названном королевстве (Французском – С.П.) заключается в том, что если короли всегда пользовались своим правом и сами делали свой выбор, то требование от других лиц... получить разрешение избрать кого-то другого равнялось нулю. Сокровищница хартий – это одна

---

<sup>64</sup> Ibid. I. P. 253.

<sup>65</sup> Kelly D.R. France... P.135 ; Ellis H.A. Op.cit. P. 44.

<sup>66</sup> Du Tillet J. Mémoire et advis laict en l'an 1551 sur les libertés de l'Église Gallicanae // Ecclesiae Gallicanae in schisme statys: État de l'Église gallicane durant de schime. Paris, 1594.

<sup>67</sup> В первую очередь, эдикта Генриха II от 27 июня 1551 г., посвященного контролю и ликвидации всякого рода источников распространения кальвинизма: книжных лавок, печатных дворов, королевских служащих, школ и университетов. – См. подробнее: Henry II. Édit. 27 juin 1551 // Recueil general des anciennes lois francaises, depuis l'an 420 jusqu'a la revolution de 1789 / Ed. F.G. Jourdan, Decrusy, F. A. Isambert: 29 vols. Vol. 13. Paris, 1828. P. 189-208, 195-196.

большая *layette*, датированная от 925 г., наполненная свидетельствами об избрании на должности от тогдашних королей до Людовика XI включительно. И указом Парламента было признано право короля Филиппа Красивого взимать налоги с аббатства Сен-Маглуар в Париже. При этом Италия (т.е. папа – *С.П.*) навязывалась всем, в частности, императору Греции (Византии – *С.П.*)<sup>68</sup>, ведь папа хочет, чтобы ничего не делалось без его одобрения»<sup>69</sup>.

Несколько нижеследующих страниц посвящены борьбе Филиппа IV и папы Бонифация VIII, названной Дю Тийе Великой Схизмой и датируемой 1378-1429 гг., т.е. временем вплоть до подписания Карлом VII Прагматической Санкции в 1438 г. При этом в качестве еще одного примера независимости монархии от Святого Престола приводится решение Филиппа Красивого, принятое им на заседании королевского совета: «...сказал им, что он (король *С.П.*) не обязан допускать ни папу, ни кого бы то ни было в свое королевство без своего на то разрешения... . И нашлось сказанное в канцелярии, как продиктованное королем на заседании совета Эду, герцогу Бургундскому»<sup>70</sup>.

Столь фундированное подтверждение независимости абсолютной монархии по отношению к папе заставляет Дю Тийе высоко оценить способность королевской власти к самостоятельным преобразованиям Церкви в своих землях: не случайно «Воспоминания...» завершаются ссылкой на соответствующее решение, принятое в Туре в 1510 г. на совете галликанской Церкви под руководством Людовика XII.

Кроме того, на его страницах папе отказано в материальных правах, поскольку они ведут к «жадности и честолюбию» понтифика, которому в отношении прочих церквей еще апостолом Петром завещаны только «попечение и

---

<sup>68</sup> Имеются в виду неоднократные попытки Святого Престола расценивать Константинопольскую и прочие восточные кафедры как подчиненные Риму и, следовательно, обязанные выплачивать папе все полагающиеся сборы.

<sup>69</sup> Du Tillet J. *Mémoire et advis...* P. 9.

<sup>70</sup> *Ibid.* P. 15.

заботы»<sup>71</sup>. В таком случае автономность галликанской церкви совершенно правомерна и является естественным правом короны. И вновь Дю Тийе приходит к заключению, что эти «древние свободы» по своему происхождению также были более германскими, чем римскими, поскольку «...французские короли являются основателями всех кафедральных церквей»<sup>72</sup>. Вне этой традиции, по его мнению, следует рассматривать акты Парижского Парламента и Парижского университета, а также достижения Прагматической санкции<sup>73</sup>. Более того, подчиненная королевской власти Церковь оказывается свободной от стяжательства и, следовательно, более близкой к «апостольским временам»<sup>74</sup>. Обосновывая таким образом право подчинения Церкви монархи, Дю Тийе прямо заявляет о прерогативе короля на инвеституру, а сами епископии рассматривает как вассальные от короны земли, полученные Церковью посредством оммажа<sup>75</sup>. В итоге «Воспоминание...» стало самым документальным исследованием о свободах галликанской Церкви, найдя впоследствии массу подражателей и ценителей.

В конечном счете, наиболее тщательно Дю Тийе проиллюстрировал самостоятельность и одновременно преемственность французской политической традиции

---

<sup>71</sup> Ibid. P. 12.

<sup>72</sup> Ibid. P. 9. Аналогичный тезис распространяется и на прочие светские государства, поэтому С.Л. Плешкова не без оснований полагала, что в этом Дю Тийе продвинулся «... даже до непризнания папы главой христианского мира»: Плешкова С.Л. Франция XVI – начала XVII века: королевский галликанизм (церковная политика монархии и формирование официальной идеологии). М., 2005. С. 356.

<sup>73</sup> Du Tillet J. Recueil des roys de France... III. P. 273-281. Эти «галликанские тезисы» будут проследиваться в трудах еще двух поколений легистов, и они также внесут свой вклад в историографию. Так, М. Фумароли и Э. Бюри прямо указывают на влияние Дю Тийе на «традиции и споры эрудитов с конца XVI в.»: Bury E. La tradition gallicane: les historiographies et l'érudition en France (fin XV<sup>e</sup> – milieu XVIII<sup>e</sup> siècle // Les historiographes en France... P. 313-325; Fumaroli M. Aux origines de la connaissance historique du Moyen Age: humanism réforme et gallicanisme au XVI<sup>e</sup> siècle // XVII siècle. 1977. Vol. 114-115. P. 5-29.

<sup>74</sup> Du Tillet J. Mémoire et advis... P. 5.

<sup>75</sup> Ibid. P. 8.

посредством исторических комментариев относительно основных институтов и учреждений монархии. Благодаря столь разнообразному подходу, историописание Дю Тийе успешно демонстрирует индивидуальность французской государственной структуры, уникальность исторического развития Франции, древность и превосходство института ее монархии.

## **Исторические сочинения в городах Далмации Нового времени**

Исходя из задачи заседания Круглого стола — определить содержание и границы историописания, обратимся к совокупности текстов, созданных в начале Нового времени в конкретном регионе. Речь пойдёт об исторических сочинениях, написанных в далматинских городах, расположенных на восточном побережье Адриатики. Все городские поселения здесь были образованы еще в римскую эпоху, поэтому прошлое для горожан не представлялось удаленным. Римские каменные постройки, колонны, каменные саркофаги не исчезли из городского пространства, в котором доминировали христианские храмы, возведенные в романском стиле. Нашествие славян и готов не прервало традиции жизни автохтонного населения Далмации, славяне селились в предместьях и медленно вписывались в чуждую им повседневность города.

Однако в XV в. произошли серьезные изменения в жизни городских коммун: они вошли в состав Венецианской республики<sup>1</sup>. Вскоре на её границах возникла угроза турецких набегов, и Далмация превратилась в постоянное поле военных действий. Возможно, именно беспокойные времена создавали условия для обращения к прошлому, и у горожан возникала необходимость самопознания. В регионе было написано немало сочинений с исторической фабулой. По жанру это — хроники, описания, речи, полемические трактаты. Тексты, называемые историями, создаются на исходе Средневековья. Значительный интерес к прошлому проявили городские нобили, получавшие образование в Падуанском университете и знакомые с итальянской литературой эпохи Ренессанса и Барокко.

В настоящей статье предлагается анализ исторических сочинений, созданных во второй половине XVII в. в небольшом городе Трогире, основанном ещё греческими колонистами в III –

---

<sup>1</sup> См. подробно: Воробьева И.Г. Венецианская республика и югославянские земли в XV – XVII веках. Калинин, 1987.

начале II в. до н.э. В средние века город насчитывал около двух тысяч человек, имел четкую коммунальную систему управления, учрежденную городским нобилитетом<sup>2</sup>. В нем каждый горожанин был на виду, родословная каждой семьи была известна, но только в XVII столетии история города была записана.

Здесь возникла интересная ситуация: почти одновременно два человека занялись историописанием собственного города. Автор трудов «О королевстве Хорватии и Далмации» и «Исторических свидетельств о Трогире» Иван Лучич (Lucius) (1604–1679) – признан «отцом хорватской историографии»<sup>3</sup>. Его земляк и современник – Павел Андрейс (1610? – 1686) – составил свою «Историю города Трогира», не опубликованную при жизни автора<sup>4</sup>.

«История Трогира» Павла Андреяса, написанная, вероятно между 1673 и 1676 гг., представляет собой рассказ о событиях в Трогире, начиная с момента его основания и кончая 1671 г. Сохранилось полностью девять книг, видимо автором было задумано и продолжение, так как девятая книга завершалась словами: «О службах, упомянутых в начале, расскажем в последней книге этого труда»<sup>5</sup>.

Мотив обращения к истории родного города Павел Андрейс ясно высказал в другом сочинении, названном «О перенесении мощей святого Ивана Трогирского, епископа,

---

<sup>2</sup> См.: Фрейденберг М.М., Чернышов А.В. Коммунальный строй далматинских городов XII – XIV вв. Калинин, 1983.

<sup>3</sup> См.: Izložba u povodu 300 godišnjice izdanja Ivana Lučića. De regno Dalmatiae et Croatiae 1666–1966. Trogir; Zagreb, 1966; Lucio G. Memorie storiche di Tragurioi ora detto Trau. Venecija, 1673: Lučić Ivan. Povijesna svjedočanstva o Trogiru. Splitski književni Krug. Split, 1978. Т. 2.

<sup>4</sup> О биографии П. Андреяса см.: Bacotich A. Delia vita e delle opere di Paolo Andreis // Archivio storico per la Dalmazia. Roma, 1927/28, anno II, fasc. III; Fisković C. Kuća povijesnika Pavla Andreisa // Historijski arhiv u Splitu. Split, 1969. Sv.7. S. 213–228; Воробьева И.Г. Славяно-россика. Тверь, 2008. С. 21.

<sup>5</sup> Andreis Pavao. Storia della città di Trau. Split, 1908; Andreis P. Povijest grada Trogira. Split, 1977. Т. I; 1978. Т. II. В настоящей работе использованы обе публикации, однако ссылки даны в скобках на последнее издание. Копии издания присланы хорватским историком Иваном Педерином, за что приношу ему искреннюю благодарность.

происшедшее 4 мая 1681 г.». Историк заявлял, что *«события вынудили взяться за моё перо и писать в современном и правильном стиле, ... прибегая разумом лишь к единственному утешению, что писание не нарушило правды»*. Далее Андрейс рассуждал, что *«Различные трагические события терзали этот город; хотя он и очень древний, всё же не посчастливилось ему иметь какого-нибудь писателя, который передал бы поколениям память о том; и если даже в какое-либо время были сделаны записи, то из-за опустошений они остались под собственным прахом умерших; поэтому нужно извинить историю, если через столько сменившихся веков не нашлось таких рассказов, которые полностью удовлетворили бы любознательного читателя»* (С. 321).

Сочинение «История Трогира» не имело предисловия, но в начале седьмой книги Андрейс заметил: *«Цель настоящей книги — продолжить историю города Трогира от первых государей до наших дней. Уставшее перо требовало отдыха; но меня окончательно убедили уверения приятелей в необходимости продолжения труда, и желание услужить им заставляет меня к шести книгам добавить ещё четыре... надеюсь, что получится не менее приятный результат для всех читателей, чем это было и для приятелей»* (с. 297).

Первая книга описывает события с основания Трогира и заканчивается концом XIII в., вторая повествует о том, что происходило в городе до Задарского мира 1358 г., третья охватывает период с 1369 по 1420 г. В четвёртой книге Андрейс излагает историю со времени установления венецианского господства, в ней описаны события в Далмации до турецко-венецианской войны 1499–1502 гг. Пятая завершается началом Кандийской войны (1645 г.), а шестая почти целиком посвящена этой войне. В седьмой книге дано развёрнутое описание монастырей, храмов, оборонительных сооружений. В восьмой — описание окрестностей Трогира и распределение земельных владений в коммуне, в девятой представлена структура коммунальной администрации: состав и функции Большого Совета, собрания горожан ("конгрегации"), роль епископа в управлении, показана деятельность магистрата. Каждая книга имеет приблизительно одинаковый объём страниц.

В первых книгах материал излагается по хронологическому принципу. Своё отношение к подобному приёму Андрейс объяснял в другом сочинении — «Перенесении мощей св. Ивана Трогирского»: *«Я хотел написать Историю в хронологическом порядке, чтобы удовлетворить (желания) не столько тех, кто хотел бы просмотреть эти листы, а сколько для того, кто способен изложить всё вкратце»* (с. 281).

Стремление к точности в обозначении даты событий было правилом Андрейса. Даже ранний период, II—III вв. до н.э., он пытался датировать, ссылаясь на Полибия, Страбона, Плиния и других историков. Даты приведены по Олимпиадам, от сотворения Рима и до Рождества Христа

С изложения событий средневековья начинают фигурировать не только годы, но и месяцы и даже числа, а с 1420 г. упоминание точной даты становится для историка необходимостью. Впрочем, указать точную дату события для Андрейса не составляло труда. Даты событий, изложенные в трёх книгах, он заимствовал из названных выше книг своего земляка Ивана Лучича, но историк ориентировался и на материалы коммунального архива: распоряжения венецианского сената, постановления городских советов, церковные документы.

Хотя труд П. Андрейса посвящен городу Трогиру, но событийный фон очень широк: названы важные события в Европе, на Балканах, в Константинополе. Жизнь Трогира в изложении Андрейса не изолирована, и в этом можно увидеть элемент всемирной истории. Особенно это заметно в краткой хронологии событий, составленной автором как самостоятельное произведение, и современными публикаторами представлено в приложении.

Всё же своё внимание Андрейс сосредоточивает на фактах, связанных с историей трогирской коммуны и поэтому не позволяет себе отвлекаться: *«Много было событий в этой войне, но не моё дело их описывать, так как это не относится к истории Трогира»*. Иногда историк замечает: *«Я пропускаю то, что относится к использованию этой (венецианской) армады, потому что не могу удалиться от дел Трогира»*; или: *«...хотя война жестока, она не должна отвлекать от мирных*

дел». Подобные словосочетания формировали текст, придавали ему стройность и логичность.

Труд историка включал сбор документов и их интерпретацию. Источниковая база «Истории Трогира» велика, но текст не содержит прямых ссылок и цитат. Этим историописание Андреяса отличает от книги Лучича, в которой приведены многочисленные цитаты из документов. Андрейс прекрасно знал труд Лучича, в его «Истории Трогира» фактические события до 1420 г. почти полностью пересказаны по «Историческим свидетельствам» Лучича, а порой дословно переписаны целые страницы. Исследователи предполагают, что Андрейс преднамеренно "облегчил" текст Лучича, сняв цитаты из источников. В то же время в тексте Андреяса встречаются указания на место нахождения пересказанного документа: «оригинал в Сплитском архиве» (с. 140).

Несомненно, в распоряжении Андреяса были материалы из архивов и копии, сделанные ещё его отцом. Из собрания отца Павел использовал почти 230 документов<sup>6</sup>. Андрейс был знаком с официальными документами: с распоряжениями дожа и высших органов власти Венецианской республики, с постановлениями и протоколами заседаний Большого совета Трогира, со статутом коммуны. Ему была известна переписка трогирских князей с турецкими санджакбегами. Некоторые документы, переписанные рукой историка, до сих пор хранятся в архиве отдельным делом, часть из них опубликована в приложении к последнему изданию «Истории». Несомненно, Андрейс работал в архиве коммунальной канцелярии, материалы которой, по его сообщению, аккуратно регистрировались и хранились в специальных шкафах, а ключи находились у старшего синдика. В тех случаях, когда архивного материала ему явно не хватало, Андрейс вынужден записывать, что «*о решении дожа нет данных*».

Будучи свидетелем важного события, Андрейс ссылается на собственный опыт, но, понимая ограниченность своих

---

<sup>6</sup> Morović Hr. Predgovor. Dominik Andreis. Rasprava o stječanju i čuvanju sjevernih granica Trogirskog područja // Andreis P. Povijest grada Trogira. T. II. S. 376.

возможностей, замечал: «...те, которые скажут, что я якобы упустил несколько подробностей, должны подумать, что один человек видит не всё и, возможно, менее важное или не относящееся к сути дела» (с. 283).

Если говорить о личных наблюдениях П. Андрейса, то они преобладают в тех случаях, когда речь идёт о событиях так называемой Кандийской войны Венеции с турками-османами, о военных приготовлениях, о депутациях к венецианским властям с просьбой о помощи, т.е. о современных историку событиях. Чем ближе Андрейс подходил в повествовании к своему времени, тем чаще он мог пользоваться свидетельствами очевидцев, хотя указаний «со слов» или «как мне рассказали» в тексте книги нет. Документ, точнее, письменный текст представлял для Андрейса больший интерес, чем предания или устные свидетельства.

Наконец, в поле зрения Андрейс всё время держит исторические сочинения, в том числе и древние. В первой книге, как уже упоминалось, он часто ссылается на авторитет Полибия, Страбона, Плиния Старшего.

Ссылки на сочинения древних для него не только необходимый элемент, присущий историческим произведениям средневековья. Свидетельства античных авторов — авторитетнейший для историков XVII в. источник по ранней истории Далмации. Заметим, что так к ним относились и в более раннее время, к примеру, учитель из Дубровника Филипп де Диверсис, прославляя городских правителей, цитировал многие античные сочинения<sup>7</sup>.

Сведения по истории средневекового Трогира историк черпал из сочинений византийского императора Константина Багрянородного и очень сложного текста, так называемой Летописи попа Дуклянина, или Хорватской хроники<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> См.: Воробьёва И.Г. «Похвальные речи» гуманиста Филиппа де Диверсиса // Вестник Тверского государственного университета. Сер. История. 2007. №20 (48). С. 165-168.

<sup>8</sup> О Летописи см., к примеру: Акимова О.А. Развитие общественной мысли в раннесредневековых государствах на западе Балкан // Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего средневековья / Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 2009. С. 151-220.

Современные историки отмечают, что Андрейсу известен не дошедший до наших дней вариант Летописи, к которой он не относился критически.

Знаком Андрейс и с трудами венецианских историков: Паоло Морозини, Джованни Баттиста Контарини, Франческо Сансовино, Паоло де Паоло, Франо Вердицотти, Сагрето, Сабелико, Дольони и других.

Касаясь представлений Андрейса о причинах исторических событий, можно заметить наличие в «Истории» двух причинно-следственных рядов: в одном всё зависит от Провидения, а в другом — от естественных причин. Оба ряда существуют в сочинении самостоятельно, пересекаясь лишь в случаях, когда историку трудно объяснить какое-либо явление. Вот характерный пример. Андрейс описывает последствия турецких набегов и грабежей 1466—1467 гг., а затем заключает: *«Беда не приходит одна: одна вызывает другую; они как кольца, образующие цепь, к которой прикована, как рабыня, наша несчастная судьба»* (с. 185). Далее он указывал, что турецкие набеги прервали торговый обмен Трогира с турецкими подданными, что привело к нехватке зерна, а затем и к голоду. *«Произошло третье несчастье, которое всегда неотделимо от двух первых»*. Вслед за голодом разразилась чума, от которой в городе *«не знали лекарства, способного залечить раны, которыми бичует нас Божий гнев»*.

Отмечая взаимообусловленность внутренней и внешней политики, Андрейс не прочь сослаться на Божью волю. У Андрейса, можно сказать, обострено внимание к причинной зависимости событий. Его интересуют мотивы и причины конфликтов между горожанами и нобилями, а поводом к ссоре, по его мнению, мог стать *«любой подходящий момент»* (с. 223). Андрейс полагал, что успехи Трогира — не просто проявление силы коммуны, а результат деятельности отдельных людей. Следовательно, о таких людях можно и нужно рассказывать, чтобы прославлять город. Это согласуется с традиционной исторической схемой, в которую, помимо прочего, входило восхваление заслуг и подвигов предков, причём под заслугами и подвигами Андрейс понимал деяния, совершённые на службе городу. Видя в истории, подобно древним, "учителя жизни",

Андрейс искал в ней уроки и рецепты политической деятельности, пригодные и для современной ему обстановки. Он отводит истории роль наставницы людей, отмечает её значение в формировании нравственных устоев. Пользу своего труда он видит в воспитании молодых людей на примере героических поступков предков. Так, восхваляя деяния Николы Паладина, Андрейс подчеркивает, что *«это пример славы и чести, оставленный для потомков»* (с. 192). Речь шла не просто о кратком посмертном восхвалении, историк рассказывал о выдающейся личности и её конкретных деяниях на фоне изложения событий того времени и в неразрывной связи с ними. Правда, подчас ход событий сводился к изложению поступков и желаний правителей. Так, причины бесконечных войн Андрейс видит в *«злой воле султана»*, а многие изменения во внутреннем устройстве родного города объясняет добрыми намерениями дожа (с. 163, 195).

Исследовательская концепция в историописании Павла Андрейса отчетливо заметна в интерпретации событий 22 июня 1420 г., т.е. к моменту введения венецианских галер в Трогирскую гавань, которую он излагает иначе, чем Иван Лучич.

Объясню, в чем суть дела. Лучич в главе, озаглавленной *«Как Шибеник, Трогир и Сплит перешли под власть Венеции»*<sup>9</sup>, так описывал события. К 1419 г. не вся Далмация находилась в руках венецианцев, необходимо было подчинить города Сплит, Трогир, Котор и острова Корчула, Брач, Хвар. Для этого венецианцами был отправлен флот под командованием адмирала П. Лоредана. Жители Трогира под руководством Микация Виттури начали военную подготовку для оказания сопротивления венецианцам, рассчитывая на помощь короля Сигизмунда. Однако помощи не последовало, венецианцы блокировали Трогир и подвергли его бомбардировке. Уступая силе противника, жители города 22 июня 1420 г. были вынуждены сдаться. Руководители сопротивления бежали. Чтобы подчеркнуть насильственный характер захвата Трогира, Лучич приводил свидетельства хроник о вступлении

---

<sup>9</sup> Lučić I. Povijesna svjedočanstva... Т. II. S. 899-916.

венецианцев в Сплит 28 июня того же года. Ворота Сплита были открыты по решению Совета и на определённых условиях. *«Таким образом, — заключает историк, — венецианцы получили Трогир без условий, а Сплит на некоторых условиях».*

П. Андрейс ссылаясь на эту трактовку и на мнения других историков, сторонников Лучича: Сансовино, Петра Джустиниано (с. 154). Однако он настаивал на безоговорочном признании законности самого вторжении венецианцев в пределы Далмации, считая, что жители Трогира добровольно открыли городские ворота венецианцам (с. 152—156). По его словам, *«разумные жители города»* не поддержали Микация и желали венецианского покровительства, потому что знали, что *«нрав венгров в эти времена был суровый, несдержанный, неразумный, коварный»*, и боялись их (с. 155). Историк подчёркивал, что *«потомки не могут не благословить здравый смысл своих предков, которые перешли под чрезмерно счастливое покровительство Республики»* (с. 156). Свою версию Андрейс подкреплял ссылками на итальянских историков П. Морозини, Д.В. Контарини, Н. Дольяни, Д.Ф. Вердизотти.

Таким образом, мы имеем дело не только с различным толкованием событий 22 июня, но и с двумя прямо противоположными взглядами на венецианское господства в Трогире.

Политическая ориентация историка отчётливо проявилась в описании организации венецианской власти. В начале четвёртой книги Андрейс писал, что коммуна послала делегацию к дожу Республики, которая привезла сообщение о полученных привилегиях. Историк упоминает о них очень кратко: *«...получили привилегии, хотя и не во всё»* (с. 159). Вероятно, речь идёт о договоре Трогира с дожем Мочениго от 31 июля 1420 г., несомненно, известном Андрейсу, так как его текст вошёл в реформации (дополнения) статута<sup>10</sup>. Однако Андрейс замалчивает полный текст статей договора, что

---

<sup>10</sup> Raukar T. Trogir za mletačke vlasti (Komentar IV, V i VI Knjige) // Andreis P. Povijest... T. II. S. 64; Statutum et reformationes civitatis Tragurii // MHJSM. Zagrabiae, 1915. Vol. X. P. 212-214.

наводит на мысль о преднамеренном сокрытии неудобных для него фактов. В то же время историк приводит решение дожа от 10 сентября 1420 г. о *«новых привилегиях городу»* (с. 162). Это решение, в отличие от предыдущего, Андрейс одобряет и принимает с благодарностью; по его мнению, это постановление *«купило всеобщую любовь к Республике»*, поскольку *«благодаяния есть надёжнейшие цепи, связывающие сердца»* (с. 163). Андрейс не пропускает случая похвалить мудрость решений Сената, князя, подчёркивает верность коммуны, которая *«напрягает все свои силы, чтобы угодить желаниям своего дожа»* (с. 219). Он отмечает, что во время венецианско-турецкой войны в 70-е гг. XV в. *«все города показали пример верности и доблести, а в первом ряду был Трогир»* (с. 192). Историк часто напоминает о военной и денежной помощи городу от Республики, которая *«утешила всеобщую боль»*, потому что оказана *«по-отечески»* (с. 212), и *«свидетельствует об особой любви дожа к своим подданным»* (с. 215).

Однако среди возвышенных и даже напыщенных фраз с признанием любви и благодарности внимательный читатель заметит и то негативное, что принесло с собой венецианское правление. Для этого важны оценки скрытые, содержащиеся в самом освещении событий. «История Трогира» полна свидетельств ограничения коммунальной автономии, рассеянных по всему тексту, но без комментариев автора. Так, в сочинении записано, что в 1420 г. было вынесено решение, по которому трогирского епископа следовало выбирать только из числа венецианцев (с. 106), а в 1420 г. при участии князя Якова Барбариго Большой Совет постановил, что на заседании можно говорить только по-итальянски и по-латыни *«по примеру римских консулов»* (с. 167), и даже существовала особая должность советника (синдика), в чьи обязанности входило следить, чтобы никто не говорил по-славянски (с. 373). Андрейс описывает строительство крепостной башни на территории города в первой половине XV в., но не отмечает, что велось оно вопреки договору и просьбе горожан не строить башни (с. 160). Мрачные башни, как отмечают современные исследователи, не только нарушали облик города, сложившийся на протяжении

веков, но и символизировали конец самостоятельного управления и установление венецианского господства<sup>11</sup>.

Изменения, происшедшие в политической жизни города, подтверждают упомянутое решение венецианских властей от 11 апреля 1456 г. о предпочтительном избрании венецианских граждан на должность нотариуса (с. 182). Это постановление «вызвало немалое возбуждение» среди горожан. В Венецию была направлена делегация, которая вернулась ни с чем: в Совете Десяти объяснили, что «назначение не нарушает обещаний, данных коммуне» (с. 182). Таким образом, постановление Республики лишало коммуну права выбора нотариуса и нарушало установленную традицию, и естественно, что Андрейс не высказывает особой радости по поводу постановления. Приводя эти факты ограничения коммунальной автономии, Андрейс не заостряет на них внимания читателей.

Исследователи «Истории Трогира» обвиняли Андрейса в его преклонении перед венецианцами, в угодничестве, лести, но не задавались целью объяснить такую политическую позицию. На мой взгляд, разгадку следует искать в сложной социально-политической ситуации, создавшейся в Трогире в XVII в.

Венецианско-турецкие войны XV—XVII вв. нанесли серьезный ущерб коммунальной экономике, так как уменьшились пригодные для земледелия площади, и без того ограниченные<sup>12</sup>. Война, голод, эпидемии привели к сокращению трогирского населения за сто лет в четыре раза<sup>13</sup>. Основной источник получения зерна — торговля с хорватским Загорьем и турецкими подданными — резко сократилась. В отдельные годы «турецкие набеги, можно сказать, каждый день наносили ущерб городу», как писал Андрейс (с. 290). Отношение к турецкой агрессии у Андрейса недвусмысленное. Историк пишет, что страх перед турецкой силой охватил всю Далмацию.

---

<sup>11</sup> Novak G. Povijest Splita. Split, 1961. Knj. II. S. 293; Kečkemet D. Splitski Kaštel // Anali historijskog instituta u Dubrovniku (AHID). Dubrovnik, 1955/56. IV-V. S. 267-303.

<sup>12</sup> О «турецком страхе» см.: Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. М., 1989. С. 84-96.

<sup>13</sup> Klaić N. Povijest grada Trogira. Javni život grada i njegovih ljudi. Trogir, 1985.

Чувство неуверенности в завтрашнем дне овладело людьми, и Андрейс не был исключением. К тому же он потерял часть своих земельных владений, недаром так подробно описаны его бывшие владения в седьмой книге. Единственным и реальным защитником от турок в глазах Андрейса стала Венеция.

Андрейс смотрел на Республику и как на защитницу своих сословных интересов. Нобили Трогира в это время теряли ключевые позиции в управлении, богатые горожане постепенно проникали в коммунальный аппарат, а аристократия, не желавшая делить с ними остатки этой власти, рассчитывала на помощь Венеции. Авторитет собрания горожан (Конгрегация) возрос по причине того, как считал Андрейс, что *«в 1420 г. не столько нобили, сколько горожане послали своих представителей для счастливой встречи венецианцев. В этих условиях Конгрегация начала присваивать себе власть»* (с. 380). Андрейс в этой фразе указывает на ошибки нобилей и как бы подсказывает, что они должны делать.

Следует обратить внимание на тот факт, что в шестой книге, описывая современные ему события, историк почти не говорит похвальных слов в адрес Республики. Чем это можно объяснить? Андрейс, как участник нескольких депутатий, обращался от имени коммуны к венецианским властям за финансовой и военной помощью, но в XVII в. Венецианская республика сама испытывала серьёзные затруднения. Возможно, поэтому историк выискивал в прошлом примеры содействия и всячески восхвалял и благодарил дожа в надежде, что Республика окажет поддержку и теперь.

Можно предположить ещё одну причину восхваления Андрейсом дожа и Венеции. Идеализация общественного и политического строя республики св. Марка проявилась в исторических сочинениях Италии ещё в 30-х гг. XVI в. Венеция рассматривалась в качестве образца государственного строя во многих трактатах, её независимость и жизнеспособность привлекала внимание крупнейших мыслителей Европы. К Венеции обращали свои взоры Г. Контарини, Уберто Фольетта, Франческо Сансовино, Донато Джаннотти, Франческо Патрици и др. Андрейс, как уже отмечалось, был знаком с итальянскими сочинениями, в частности, он ссылаясь на Сансовино,

воспевшего славу Венеции. Возможно на воззрения Андреяса могли повлиять труды итальянских историков.

Тем не менее, «История города Трогира» — оригинальное сочинение, имевшее главной целью восхваление истории родного города. Именно любовь к описываемому предмету и представляет суть историописания.

### **Значение фальсификаций в чешской историографии XIX века**

Как известно, мифологизация истории характерна для всех народов. Причин этого факта несколько. Одной из них является отсутствие подлинных исторических источников, зафиксировавших в более объективной форме, чем человеческая память, происходившие события, поэтому древний период истории наиболее часто подвергается мифологизации. Однако новая и новейшая история человечества также освещается нередко на основании вымышленных и искусственно сконструированных данных. Мотивация таких действий сложна и разнообразна: от субъективного восприятия и оценки тех или иных явлений и процессов, до корыстного расчета отдельных лиц, групп или классов. Расчеты могут быть политические, религиозные, идеологические и т.д. При этом всегда идет речь о борьбе за первенство, за власть, за престиж, за господство в различных сферах жизни.

Миф – особая форма исторического сознания, есть выражение индивидуального восприятия человека окружающей его действительности и событий прошлого. Поэтому мифологизация в исторической науке неистребима. Более того мифологическая интерпретация явлений воздействует на развитие цивилизации как в отрицательном так и в положительном плане. Так миф о Христе создал великую европейскую культуру. Другие мифы, ставшие убеждением масс, ведут к разрушению цивилизации.

Мифы рождаются всегда, независимо от времени и уровня развития человечества. Их творцом и потребителем является масса, причиной – нерациональное мышление. В связи с этим они подчас выступают как тормоз цивилизации.

Возникновению мифов способствуют разные факторы: необычные природные явления, катаклизмы, войны и другие потрясения. Творцом исторических мифов часто выступает народ, не имеющий национальной независимости и вынужденный отстаивать свою этническую или национальную

идентичность. Примером может служить освещение национальной истории некоторых народов Центральной и Восточной Европы, находившихся много столетий или под турецким игом, или в зависимости от Австрийской империи, т.е. под игом немецким (германским). Так, мечта об освобождении от иноземного ига превратила в сербском народном эпосе Марко Краевича в героя-защитника сербов и первого «юнака», тогда как в действительности этот персонаж был турецким вассалом и участвовал в карательных походах турок против сербов.

Мифы рано стали составной частью исторических трудов. Как известно, все средневековые хроники латинского (и не только латинского) культурного мира содержат в большей или меньшей мере мифологический материал. Не является исключением и средневековая чешская историография. Первое произведение этой историографии представляет собой «*Chronica boemorum*» Козьмы Пражского, написанная около 1119 г. Её автор принадлежал к высшему духовенству и был образованнейшим человеком своего времени. Хроника Козьмы Пражского является выдающимся памятником письменности чехов, но она мало чем отличается от других европейских хроник с точки зрения формы и методов обработки материала. Как и все произведения такого рода, хронику Козьмы нельзя оценивать как сочинение научное. Фактически это – литературное произведение, ибо в средние века история и литература не дифференцированы. История была составной частью т.н. «Грамматики», а «литература» – это латинский эквивалент греческого термина «грамматика». Козьма, по обычаю своего времени, сделал все, чтобы его сочинение было занимательным. К отдельным книгам хроники он написал предисловия по античному образцу, наполненные всякими рассуждениями, действующим лицам вложил в уста искусственные речи и высказывания, никогда не произносившиеся в том виде, как они написаны. Он также вставил в свое сочинение разные интересные истории и пикантные анекдоты – все это сделано для привлечения внимания читателей. Тем не менее Козьма писал все же прежде всего историю чехов и стремился держаться как можно ближе к

правде или убеждать читателя в правдивости изложения. Козьма использовал источники: многочисленные анналы, «Привилегии Моравской церкви», «Эпилог Моравии и Чехии», «Жизнь и мученичество св. Вацлава», «Житие св. Войтеха», некоторые грамоты, а так же «Привилегии костела св. Георгия», или «Привилегии Пражского костела», которые, вероятно, сочинил сам. Кроме отечественных источников Козьма знал и иностранные. Хроника Козьмы состоит из трех книг. Первая из них описывает древнейший период истории Чехии и заканчивается 1037 годом. В этой книге нет исторически достоверных сведений. Рассказ Козьмы о том, что чехов привел в страну «праотец Чех» – вымысел хрониста. Козьма не мог объяснить возникновения племенного названия «чех» и поэтому дал «праотцу» народа соответствующее имя. Рассказ Козьмы о «золотом веке» в Чехии также представляет собой фантазию хрониста. Козьма придумал князя Крока и его дочерей, в том числе и их имена. Повествование хрониста о Мудрой Либуше, о Пржемысле-пахаре, о «девичьей войне» и первых князьях суть байки, сочиненные самим Козьмой или взятые из преданий. Он сам признает, что получал сведения из воспоминаний «старцев». Таким образом, первая книга «Хроники» относится к области сказок и легенд и представляет собой литературное произведение – между прочим, большой поэтической ценности. Не случайно эта часть хроники Козьмы стала источником вдохновения для создания произведений поэзии, живописи, музыки, скульптуры в период романтизма и чешского национального возрождения. В хронике присутствует много и других фальсификаций, но их следует отнести к тенденциозности автора, т.е. к сознательной фальсификации<sup>1</sup>.

В средневековой Чехии Хроника Козьмы стала произведением, оказавшим влияние не только на прямых последователей. Из неё чешская историография исходила в течение многих столетий. Уже в XIII в. появились Хроники т.н. Продолжателей Козьмы. Анонимные авторы, полностью переписав её, сделали дополнения или продолжили

---

<sup>1</sup> Хроника Козьмы Пражского существует в русском переводе. См.: Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962.

повествование событий. Наряду с продолжателями существовали и подражатели, т.е. те, кто использовали метод изложения, характерный для хроники Козьмы, но применяли его к более позднему историческому времени. В XIV в. в Чехии возникло любопытное литературное и историческое произведение – рифмованная хроника на чешском языке. Её анонимный автор, известный в литературе под именем Псевдодалимил, использовал Хронику Козьмы в качестве главного источника в изложении чешской истории с самого начала до 1125 г., когда этот источник заканчивался. Однако, если в XII и XIII вв. хроника полностью переписывалась, то Псевдодалимил интерпретировал данные Козьмы, дополняя их или приспособлявая к своим взглядам на события.

Хроника Козьмы перерабатывалась и в других сочинениях XIV века. Так, «Чешская Хроника» Пришибика Пулкавы из Раденина излагает древний период чешской истории на основании хроники Козьмы. В XVI в. данными хроники Козьмы пользуются непосредственно или через сочинения предшествующих хронистов – продолжателей Козьмы, Пулкавы и др. Таким образом, в течение ряда столетий Хроника Козьмы была источником для освещения истории Чехии. Но с развитием исторических знаний восприятие ее менялось. Сразу после Козьмы его труд просто полностью переписывался его почитателями без существенных изменений. С XIV в. наблюдается форма интерпретации сведений Козьмы в зависимости от политических или национальных взглядов автора. На протяжении всего средневековья Козьма был главным источником при освещении древнего периода чешской истории, её данные использовались без какой бы то ни было критики, также как цитаты из Библии или античных авторов. Критика источников в средние века вообще отсутствовала в исторических работах.

XVIII век является временем зарождения критики источников в чешской исторической науке. Однако не только в XVIII в., но и вся романтическая историография XIX в. основывала свои исследования о древней чешской истории на данных Хроники Козьмы, считая их достоверными и точными. Это относится и к монументальному произведению «отца»

чешской историографии Ф. Палацкого – «История чешского народа в Чехии и Моравии» (Прага, 1848). Кульминацией же этого явления было создание в начале XIX века на основе данных Козьмы знаменитой фальсификации В. Ганки под названием «Суд Либуши», т.е. рукописи Зеленогорской<sup>2</sup>. Именно в XIX в. в Чехии был создан самый знаменитый миф, оказавший огромное влияние на развитие исторической науки. Им стали две подделки – рукописи Краледворская и Зеленогорская (далее РКЗ). Причины возникновения и благосклонного приема подделок общественностью связаны с внутренними условиями развития Чехии. Народ этой страны в течение 150 лет подвергался усиленной германизации, приведшей к упадку чешского языка, исчезновению национальной литературы и даже само признание существования чехов наталкивалось на многочисленные препятствия. Современная чешская письменность считалась несамостоятельной. Патриотическая интеллигенция переживала чувство «культурной неполноценности» по сравнению с другими народами. Поднять престиж чехов как внутри страны, так и вообще в Европе, было насущно необходимо. В то же время культурная атмосфера Европы характеризовалась распространением романтизма, подчеркивавшего высокую роль народного творчества, явно выраженной тенденцией возвеличивания старины и стремлением к разысканию памятников «славного прошлого» как свидетельства народного гения. К концу XVIII в. было найдено немало подлинных древних памятников, а также создано в разных странах большое число подделок. По сравнению с наследием великих народов чешская литература не имела ничего выдающегося, и некоторые чешские патриоты решили восполнить этот пробел. В 1817 и 1818 гг. эта задача была решена. Два чешских поэта и языковеда, знатоки древней чешской письменности – В. Ганка и

---

<sup>2</sup> О Хронике Козьмы Пражского существует множество литературы. Укажем минимум: Třeštík D. Kosmova Kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Praha, 1968; Лаптева Л.П. Хроника Козьмы Пражского и её использование в чешской историографии позднего средневековья // Средневековый город. Вып. 18. Саратов, 2007. С. 131-139.

Й. Линда сочинили Краледворскую и Зеленогорскую рукописи (название им было дано позднее). Первая (РК) представляла собой эпические, лирико-эпические и лирические произведения, общим числом 14. В них описывается и прославляется мужественная борьба чешских воинов против татар и поляков, а также других иноземцев, в том числе немцев. Некоторые поэмы рисуют картины угнетения отчизны чужеземцами и поражения, нанесенные им чехами. Второй фальсификат – Зеленогорская рукопись (РЗ) содержит всего четыре пергаментных листа. Меньший отрывок, состоящий из 9 строк, описывает окончание какого-то сейма, второй отрывок насчитывает 120 стихов, рисующих ссору двух братьев из-за наследства и суд княгини Либуши по разрешению этого спора. Указывается, что на этот суд были созваны «кметы, лехи и владыки» со всех концов Земли Чешской. Большинством голосов сейм постановляет, что отцовское наследство, из-за которого ссорились братья, должно оставаться их совместным владением «по старому чешскому обычаю», а на протест старшего брата, ссылающегося на право первородства, один из присутствующих восклицает: «не хвально нам в немцах правду искати», т.е. передавать права наследования на основе первородства, как это принято у немцев. Наряду с этим, вся поэма отражает демократические идеалы чешских патриотов. Уже сам факт созыва сейма из представителей всех земель Чехии, атмосфера «праведного суда», решение вопросов тайным голосованием выражали желание сочинителей нарисовать перед чехами картину демократии, к которой следует стремиться. Кроме того, наличие на суде так называемых «досок праводатных» должно было свидетельствовать о существовании у чехов писанных законов уже в VIII–IX вв., к которым якобы относится описываемое в РЗ действие. В то время сама рукопись выдавалась за возникшую в X веке. Позднейшие исследования показали, что в поэме все является вымыслом от начала до конца. Историческая критика решительно отвергла как всю картину сейма и суда Либуши, так и каждую деталь их описания. «Открытие» РКЗ было восторженно встречено чешской патриотической интеллигенцией. Рукописи «подтверждали» мнение романтической историографии о характере славян, их древней

высокой культуре и образованности. Такое мнение сложилось под влиянием высказываний немецкого философа И.Г. Гердера (1744–1803). В РКЗ его теория находила «документальное» подтверждение. Рукописи убеждали в преимуществах славянского характера и славянской культуры над германскими. Славяне, судя по РКЗ, обладали гармоничностью, благородством, честностью, тонкостью духа, демократичностью и т.д. Между тем, как «кровавые повести», типичные для литературы германцев, свидетельствовали о грубости и жестокости народа, о его склонности к изменам и лести. Не только чешские патриоты, но и интеллигенция других славян (и не славян!) ориентировавшаяся на «всеславянство» увидели в РКЗ доказательства идеи славянской взаимности. «Памятники» начали активно издаваться и переводиться на славянские языки, а также к 60-м годам появились переводы на немецкий, английский, французский, итальянский, венгерский и шведский.

РКЗ имели огромное влияние на развитие исторической науки. Они появились именно в тот момент, когда в Чехии выработывалась новая концепция национальной истории в противоположность господствующей контрреформационной теории, объявлявшей чешский народ неполноценным, а культуру его еретической, проникнутой духом бунтарства и антихристианства. Создателем новой концепции стал Ф. Палацкий (1798–1876), написавший «Историю народа чешского в Чехии и Моравии» (вышла на немецком языке в 1836–1876 гг. и на чешском в 1848–1876 гг.). Работа стала классическим произведением романтической славянской историографии. Она была теоретической и фактической основой для освещения истории Чехии и древних славян и другими славянскими учеными XIX в., в том числе русскими<sup>3</sup>. Взгляд Палацкого на сущность чешской истории разделялся многими его современниками и учениками. «Школа» Палацкого выдвинула из своих рядов большое число крупных историков, вместе с Палацким заложившими основу научного исследования

---

<sup>3</sup> См. об этом: Лаптева Л.П. Чешский ученый XIX в. Франтишек Палацкий и его связи с русской наукой // Славяноведение. 1999. № 2. С. 51-69.

чешской истории. Точку зрения Ф. Палацкого развивали на своем материале историки литературы и права, знаменитый филолог-славист П.И. Шафарик и, фактически, все представители чешской творческой интеллигенции XIX в. Сущность концепции чешской истории, созданной Палацким и его школой, заключалась в общих чертах в том, что славяне на территории Чехии являются автохтонным населением, они пришли на свободные земли и никогда не подчинялись другим народам. Славяне были миролюбивыми, никого не завоевывали, самостоятельно создали собственное государство, которое (в отличие от других народов) успешно защищалось от политических претензий Германской империи<sup>4</sup>. Немецкое влияние на чехов, по мнению Палацкого, наблюдается лишь с X века. Чехи достигли уровня цивилизации европейских народов еще до принятия христианства. Не только ранняя, но и дальнейшая, средневековая история чехов (её изложение доведено Палацким до 1526 г.) освещается с национальных позиций. В период складывания этой концепции чешской истории РКЗ как нельзя лучше подтверждали её «документально», и при описании древней истории чехов, как и других славян, Палацкий опирается на рукописи, использует приведенные в них факты и конструирует картину общественного устройства и правовой практики древних чехов.

Аналогичным был взгляд на древний период развития славян и у Павла Й. Шафарика (1795–1861). В 1837 г. стало выходить его главное сочинение «Славянские древности». В нем комплексно и компаративным методом освещалась жизнь древних славян от 456 г. до н.э. до 988 г. нашей эры. Взгляд Шафарика на проблему был даже более романтичным, чем у Палацкого. Его освещение древности славян было настоящей апологией. Методом сравнения языков и другого филологического материала Шафарик выработал свой взгляд на древних славян, содержащий два главных тезиса. Во-первых, славяне в мировой истории являются древним культурным

---

<sup>4</sup> Подробно об этом см.: Štaif J. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu. 1790–1900. Část I. Praha, 1997.

народом и, во-вторых, – их культура выше, чем у остальных европейских народов. В отличие от воинственных кочевых племен и народов Европы и Азии славяне принадлежат к народам, занявшим свою территорию мирным расселением. Это утверждение Шафарика было направлено против немецкой националистической исторической науки, которая доказывала, что исторической судьбой славян было вечное подчинение другим народам. Чешский ученый также старался опровергнуть мнение историков, переоценивавших цивилизационную функцию христианства у древних славян, которые якобы до принятия христианства и немецких нравов ничем не отличались от африканских и американских дикарей. По утверждению Шафарика, культурные способности славян начали исчезать, когда их подчинили воинственные народы. Его представления о демократическом устройстве древних славян были еще более романтическими, чем взгляд Палацкого. РКЗ были для Шафарика «первоклассными» источниками, подтверждающими его концепцию. Он, как и другие романтики, предполагал, что в дохристианское время у чехов существовала богатая народная традиция в форме героических эпосов, аналогичных гомеровской Илиаде и что эту традицию уничтожило христианство. Не только Палацкий и Шафарик были убеждены в сконструированной ими картине жизни древних чехов. РКЗ использовались в других трудах по истории, праву, этнографии, литературе, языкознанию. Рукописи стали источником вдохновения поэтов, художников, композиторов, создавших классические произведения чешской культуры. Из РК брались сведения об эпизодах чешской истории XI–XIII вв., в которых освещались победы чехов над врагами, героические поступки отдельных лиц. РЗ подтверждала славянский демократический правовой порядок в дохристианский период. Но подтвердить этот аргумент романтическая историография не могла, ибо ей недоставало доказательств из существующих исторических источников и приходилось прибегать к аналогиям из русской, польской и сербской истории, чтобы составить представление о славянской общине у чехов.

Одновременно с увлечением РКЗ в чешской историографии продолжалась работа над изучением других

источников о прошлом народа. Ф. Палацкий, изучая архивы, обнаруживал новые документы. Он организовал несколько фундаментальных изданий ценнейших исторических материалов. Аналогичную работу вели его современники-единомышленники, а затем и последователи.

В целом, романтическая историография, основанная на ложном источниковом фундаменте и искусственной теории, все же не прошла даром для науки и была шагом вперед по сравнению с обскурантским толкованием истории чешского народа в предшествующий период. Но историческим содержанием и языковой формой РКЗ вводили в заблуждение специалистов по истории филологии, языкознанию, истории права, мифологии и стали источником множественных ошибок и ложных выводов, что являлось тормозом для дальнейшего развития науки. Изменение методов исследования, специализация в отдельных областях и т.п. явления постепенно отодвинули на задний план концепцию Палацкого, что, однако, произошло не сразу, а лишь в результате ожесточенной борьбы. Сторонники подлинности РКЗ медленно сдавали свои позиции, кроме того, в обстановке политического противостояния чехов по отношению к государственному режиму Австрийской империи, научный спор о рукописях сразу же приобрел политический и националистический характер.

Сомнения в подлинности РКЗ стали высказываться со второй половины 50-х годов XIX в. В 1856 г. моравский немец Юлиус Фейфалик (1833–1862), сотрудник Венской университетской библиотеки, опубликовал работу, в которой доказывал подложность РК. Что касается РЗ, то её подлинность вызывала сомнение и раньше. Еще в 1824 г. Й. Добровский (1753–1829) выступил с решительным опровержением этой рукописи как исторического источника<sup>5</sup>. Но в 1829 г. Добровский умер, и его оценка была проигнорирована, а затем отвергнута. В защиту подлинности РКЗ выступили Шафарик, Палацкий. В 1840 г. они издали книгу «Древние источники чешского языка», где признали тексты подделок древнейшими.

---

<sup>5</sup> Dobrovský J. Literarischer Betrug // Archiv für Geschichte Statistik, Literatur und Kunst. Jg. XV. Wien, 1824. № 46.

Научный авторитет ученых был настолько высок, а желание иметь великолепные памятники древности настолько сильно, что сомневающихся не осталось.

Но с выступлением Фейфалика началась полемика, которая продолжалась около 120 лет! Дело в том, что именно к концу 50-х гг. XIX в. национальный вопрос в Чехии стоял очень остро, и РКЗ стали важным идеологическим оружием. Чешская интеллектуальная элита считала, что неверие в подлинность РКЗ возможна лишь в стане врагов чешского народа, прежде всего немцев, а отрицание «очевидных истин» может диктоваться только античешскими побуждениями и завистью. Выступление Фейфалика было поддержано другими учеными-немцами, а в 70-е с критикой выступили и славянские ученые: В. Ягич, А. Вашек, А. Шембера и некоторые специалисты в славянских странах. На защиту древности манускриптов бросились практически все представители чешского патриотического лагеря. Критика памятников разделила ученых по национальному признаку, она приняла также характер партийной борьбы в чешском обществе и привела к обострению национализма. Наука в этой обстановке отошла на задний план, политические группировки стремились лишь усилить свою популярность в народе. Критиков РКЗ травили в газетах, отказывались публиковать их работы, объявляли предателями национальных интересов. Масса читателей газет и другой продукции, созданной признанными авторитетами, верила в подлинность «национальных ценностей». Она не разбиралась в научных аргументах критиков, «памятники» подкрепляли её патриотизм, и вера в них стала составной частью национального самосознания чехов. Решительная борьба вокруг РКЗ развернулась в 1886–1918 гг. В начале этого периода критики сосредоточились вокруг журнала «Атенеум», который редактировался философом и политическим деятелем либерального толка проф. Т.Г. Масариком. Он объединил молодых профессоров чешского Пражского университета, стоявших по своим научным методам в оппозиции к национально-романтической историографии. На страницах этого журнала в 1886 г. появилась статья филолога-слависта Яна Гебауэра (1838–1907), который доказал несостоятельность РКЗ с

лингвистической точки зрения. Он также указал на источники новейшего происхождения, использованные для составления РКЗ. Всего Гебауэр опубликовал более 60 работ об этих рукописях. Ученый был лучшим знатоком древнечешского языка, автором «Исторической грамматики чешского языка» и «Древнечешского словаря» и пользовался особым авторитетом. Защитники рукописей не смогли опровергнуть ни одного довода Гебауэра в области лингвистики. Мнению о подлинности рукописей был нанесен сокрушительный удар. Журнал «Атенеум» определил целую программу изучения РКЗ. Эта программа выполнялась в течение ряда лет. На этом этапе критиками выступали уже чешские ученые, пришедшие в науку на смену представителям возрожденческого, романтического поколения. Они понимали, что патриотизм, выросший на ложной основе, больше вредит престижу народа, нежели признание фальсификатов. Сам Масарик опубликовал много статей по разным аспектам, касающимся доказательств поддельности РКЗ. В 1886 г. в «Атенеуме» против подлинности рукописей выступил Ярослав Голл (1846–1929). Это был крупнейший чешский историк, основатель нового направления в изучении истории Чехии – так называемого позитивизма. Он выступил с отрицанием идеи о специфическом характере развития славянских народов и тем самым стал в оппозицию к романтической историографии. Голл проанализировал эпические поэмы Краледворской рукописи и доказал, что их содержание заимствовано из хроники Вацлава Гайка (XVI в.) и Я. Бецковского, которая была издана в 1700 г. Также и другие поэмы содержат данные из поздних источников<sup>6</sup>. Я. Голл обнаружил массу анахронизмов, вымышленных битв, никогда не существовавших замков, укреплений. Голл также доказал неисторичность действующих лиц, выведенных в РК, которых Палацкий относил к далеким предкам некоторых его знатных современников.

С точки зрения социологии РКЗ были разобраны в работах Т.Г. Масарика, который пришел к выводу, что в рукописях

---

<sup>6</sup> Goll J. Historický robor básni RK: Oldřicha, Beneše H. a Jaroslava // Athenaeum. 3. 1883–1886. č. 10. S. 422–426.

изображается неправильная картина того времени. Сведения о них авторы заимствовали из литературы периода около 1817 г. Спор о рукописях разделил чешских историков на три группы: сторонников подлинности, единомышленников Я. Гола, число которых увеличивалось постепенно, и третья группа выступала в защиту рукописей непоследовательно и по второстепенным вопросам. В целом к концу XIX в. были подвергнуты ревизии многие необоснованные и неправильные теории и прежде всего ошибочное понимание древней чешской истории. В XX веке критика пошла по пути поисков источников фальсификаций. 31 декабря 1911 г. 45 представителей чешской науки обнародовали в чешских газетах декларацию, в которой заявили, что поддельность РКЗ доказана со стороны лингвистической, исторической, литературно-исторической, а также палеографической, так что дальнейшая защита этих подделок может быть только повторением попыток, имевших место ранее и основанных на ложных суждениях и недостаточной компетентности в обсуждаемом вопросе<sup>7</sup>. Однако попытки защиты РКЗ продолжались и дальше, но уже не носили научного характера и не влияли на исследования ученых.

РКЗ сыграли сложную и противоречивую роль. Своим содержанием они вводили в заблуждение представителей ряда гуманитарных дисциплин и таким образом тормозили развитие науки. Но с другой стороны, сам факт фальсификации оказался стимулом, ускорившим развитие ряда научных дисциплин. Так, стремление подтвердить или опровергнуть подлинность РКЗ повлекло за собой тщательное исследование всех древнечешских текстов, древней и средневековой чешской и немецкой истории, истории права и т.д. Сопоставление содержания и формы РКЗ с подлинными произведениями древности способствовало углублению сравнительно-исторического метода и приемов исследования как в лингвистическом, так и в других научных планах.

---

<sup>7</sup> Текст декларации, опубликованный в газете «Народни листы» 19.06.1927, помещен в издании *Almanach rukopisné obrany*. IV. 1997. S. 104-105. Здесь использован этот текст.

В процессе изучения и критики РКЗ возникли важнейшие труды по истории чешского языка, основанные на исследовании всех без исключения подлинных древнечешских текстов, дошедших до нового времени. В условиях чешской действительности XIX в. РКЗ стали фактором большого общественного звучания. Уже к середине XIX в. РКЗ превратились в орудие чешского национализма. Борьба за выяснение истинного происхождения РКЗ стала частью движения за свободу научного исследования, а в более широком смысле – за демократические свободы вообще. Однако мифы, особенно если они льстят национальному самолюбию, трудно поддаются истреблению. Как известно, некоторые из них бытуют в человечестве не одно тысячелетие и продолжают оставаться объектом веры, несмотря ни на какие рационалистические аргументы. Видимо, мышление человека сочетает рациональное и иррациональное, и разум не всегда в состоянии победить эмоции. Борьба вокруг РКЗ продолжалась и дальше. Чешские подделки оказали значительное влияние на труды ученых других народов, особенно славянских. Веру в их подлинность разделяли такие крупные немецкие корифеи как И.В. Гёте, Якоб Гримм. В русской литературе они использовались в работах о славянских древностях, о фольклоре, этнографии, о древнем славянском праве. Русские слависты в большинстве своем верили в их подлинность и негативно отзывались об их критиках. Такая позиция, на наш взгляд, объяснялась романтическим отношением к славянству и славянофильскими традициями в XIX веке, не полностью угасшими вплоть до революции 1917 г.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> История разоблачения РКЗ и отражение их в русской науке см. в кн.: Рукописи, которых не было. Подделки в области славянского фольклора. М., 2002. С. 11-119. Здесь же опубликован перевод РКЗ на русский язык.

**О времени зарождения на Руси концепции  
«Москва – Третий Рим» («Donatio Constantini Magni»  
и «Повесть о белом клобуке»)**

«Повесть о белом клобуке» принято классифицировать как публицистическое сочинение, сохранившееся в рукописной традиции 2-й пол. XVI в. и последующего времени. Вопрос о времени написания «Повести» до сих пор вызывает споры в науке. Подробно исследовавший этот выдающийся памятник древнерусской книжности Н.Н. Розов рассмотрел свыше 250 списков текста и разбил их на четыре редакции.<sup>1</sup> По мнению Н.Н. Розова и его предшественников (Ф.И. Буслаев, Ф.А. Терновский, митр. Макарий (Булгаков), Е.Е. Голубинский, В.Н. Малинин), Распространенная редакция «Повести» (т.н. «пространная») была составлена в 90-е годы XV в., во время деятельности в Новгороде архиепископа Геннадия (Гонзова). Иная точка зрения (Н.И. Субботин, А.И. Соболевский, А.С. Павлов, Я.С. Лурье, Х. Шедер, Н.В. Сеницына, Б.А. Успенский) связана с признанием в качестве первоначальной Краткой редакции «Повести», возникновение которой некоторые авторы (Д.Ф. Кобеко, А.Д. Седельников) датируют временем новгородского архиепископа Василия Калики (1330-1352), в то время как Распространенная редакция считается возникшей лишь после 1589 г. («предсказание» установления патриаршества на Руси). В своем полном и окончательном виде Распространенная редакция «Повести» представляет сочетание трех самостоятельных произведений: «Посыльной грамоты» Дмитрия Грека, собственно «Повести» и «Написания архиепископа Геннадия».

Палеографические исследования последних лет подтвердили мнение о первоначальности Краткой редакции

---

<sup>1</sup> Розов Н.Н. Повесть о новгородском белом клобуке как памятник общерусской публицистики // ТОДРЛ. Т. IX. М.; Л., 1953. С. 178-219; Розов Н.Н. «Повесть о новгородском белом клобуке» (идейное содержание, время и место составления) // Учен. зап. ЛГУ им. А. А. Жданова. № 173. Сер. филол. наук. Вып. 20. Л., 1954. С. 307-327.

«Повести», свидетельством чему является обнаруженный недавно в РГАДА Мазуринский список (РГАДА. Оп. 1. № 1281, РГАДА. Оп. 3. № 80) с филигранью 1507 г.,<sup>2</sup> а также три списка середины XVI века и пять списков конца XVI века.<sup>3</sup> Характерными текстологическими особенностями Краткой редакции «Повести» являются лапидарное изложение основной идейно-политической тематики (идея «Третьего Рима» практически не отражена), а также отсутствие антикатолической тенденции. Историю появления и редактирования «Повести» необходимо рассматривать в совокупности с летописными источниками (Софийская первая, Новгородские и Псковские летописи), дипломатической перепиской, документами митрополичьего скриптория и монастырских архивов, публицистическими произведениями («Инок Симеона иерея Суздальца повесть, како римский папа Евгений состави осмый собор с своими единомышленники», «Слово избрано от святых писаний еже на латыню», Повести о походе Ивана III на Новгород 1471 г., «Послание о Мономаховом венце» Спиридония-Саввы, Сказание о Тихвинской иконе Богоматери, Повесть о Лоретской Богоматери), а также агиографическими сочинениями («Житие Константина Великого», «Повесть о житии Михаила Клопского», «Житие Лазаря Муромского» и др.), в той или иной мере отразившимся в тексте редакций «Повести».

Сложности классификации редакций «Повести» обусловили значительный разброс мнений относительно замысла ее создания. Как полагал А.С. Орлов, «Повесть» выражала идею церковной независимости России от греческой

---

<sup>2</sup> Сходная филигрань у Брикe – № 15393, датированная 1507 г. По мнению И.Л. Жучковой, обнаружившей Мазуринский список, также прослеживается близость к филиграню, опубликованной в альбоме Н.П. Лихачева под №2730 как характеризующая бумагу рукописи из Румянцевского собрания №85, которую палеограф предположительно относил «к концу первой четверти XVI в.»

<sup>3</sup> РНБ, Сол. 854 (964), XVI в., сборн. Л. 261 об.–266 об.; ГИМ, Син. 645; ГИМ, Син. 756, XVI в., сборн. Л. 27–29; БАН, Д 177, к. XVI в., сборн. Л. 239–245; РНБ, О. XVII-60, к. XVI в., сборн. Л. 236–243; ГИМ, Увар. 482, к. XVI в., сборн. Л. 312–316; РНБ, собр. К-Б № 91/1168; РНБ, Вяз. LV-0, к. XVI в.

митрополии.<sup>4</sup> Согласно гипотезе немецкого слависта Ф. Кемпфера, в «Повести о новгородском белом клобуке» нашла свое отражение «устная версия» идеи «третьего Рима», возникшей до начала XVI в.<sup>5</sup> По мнению Л.В. Черепнина, идейная направленность «Повести» заключалась в обосновании мысли о том, что власть церковная выше гражданской, а также в стремлении поднять «новгородское православие» над московским (Москва – политический центр, Новгород – центр церковный, центр русского и мирового православия).<sup>6</sup> В силу последнего тезиса на «Повесть» давно и прочно установился взгляд как на произведение децентрализованной направленности, антимосковское, притом заимствованное, компилятивное и позднее, окончательно оформившееся лишь в старообрядческой литературе конца XVII века.<sup>7</sup>

Для определения основной концепции «Повести» необходим контент-анализ всех упоминаемых событий и названных в основном тексте исторических лиц. В науке до сих пор смешивают Дмитрия Грека Толмача с Дмитрием Герасимовым. Однако сравнительно-исторические исследования позволяют уточнить, что «Дмитрий Грек Толмач» – это Дмитрий Ралев, участник русских посольств в Италию в 1487/1488-1490 гг. (Венеция, Милан, Рим) и 1500-1504 гг. (Венеция, Рим).<sup>8</sup> Именно Дмитрий Ралев (Rhalli),

---

<sup>4</sup> Орлов А. С. Древняя русская литература XI-XVI вв. М.-Л., 1939. С. 172.

<sup>5</sup> Kämpfer F. Beobachtungen zu den Sendschreiben Filofejs // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1970. Bd 18. H. 1. S. 42, 45.

<sup>6</sup> Черепнин Л.В. К вопросу о русской публицистике конца XV в. // ТОДРЛ. Т. XXIV. Л., 1969. С. 153.

<sup>7</sup> Субботин Н.И. Рецензия на брошюру Кожанчикова // Русский вестник. 1862. № 5.

<sup>8</sup> О посольстве 1500–1504 гг. сохранились сведения в дипломатической переписке пап с русскими государями, хранящейся в Ватиканской библиотеке (Vat. Barb.), в частности, в булле папы Климента VII к государю Василию III 1524 г. с упоминанием приема русского посольства папой Александром VI (1492–1503): «*Nam et tempore fere Alexandri VI, Praedecessoris nostri, cum Tui Legati componendarum, ut tunc audiebamus, rerum causa, in Urbe Roma versarentur, magnum dolorem asserimus, nihil fuisse conclusum*» // Переписка пап с российскими государями в XVI веке. СПб., 1834. С. 10; Памятники

сопровождаящий в 1472 г. царевну Софию Палеолог в Москву как представитель Палеологов, назван «Дмитрием Греком» в современном событиям Московском летописном своде.<sup>9</sup> Поскольку в «Написании архиепископа Геннадия» сообщается, что «Димитрие же он Толмач в Риме и во Флоренцы граде бе два лета, неких ради нужных взысканиях», то «известие о белом клобуке», которое Дмитрий Ралев «тайком переписал все доподлинно» и выслал из Рима («с московским купцом с Фомою с Саревым»), правомерно связывать с первым посольством Дмитрия и Мануила Ралевых, когда они, посетив Венецию 3 сентября 1488 г., прибыли в Рим, где присутствовали 18 ноября на папской мессе и побывали на аудиенции у папы Иннокентия VIII.<sup>10</sup> В Риме Дмитрий Ралев смог добиться расположения «книгохранителя римской церкви Иакова», который сообщил ему, что греческий подлинник «Повести» уничтожен начальниками Рима, и хранится втайне лишь его римский перевод.

Отражением исторических реалий может являться и упоминание в «Повести», что белый клобук был сокрыт «в дальнем приделе и заложен в стене», на что указывала надпись «латинскою речью». В свое время А.И. Соболевский на основании данного отрывка предположил, что в основе «Повести» лежит рассказ «какого-то римлянина» о пропаже в 1485 г. папской тиары.<sup>11</sup> Со своей стороны должны привлечь внимание к ремонтным работам, которые проходили в

---

дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Ногайскою Ордами и с Турцией. Т. 1 (1474-1555 гг.) // Сб. РИО. Т. 41. СПб., 1884. С. 519. Док. 97 от 9 августа 1504 г.

<sup>9</sup> ПСРЛ. Т. XXVII. М.; Л., 1962. С. 294: «... послал князь велики своих послов к датцкому королю Ивану... **Дмитрея Грека** Ралева Палеолога»; см. также: ПСРЛ. Т. XXV. М.; Л., 1949. С. 296, 299, 300.

<sup>10</sup> ПСРЛ. Т. XII. С. 219; Т. XXVII. С. 288; верительную грамоту М. Ралеву от 19 августа 1487 г. см.: Шмурло Е. Ф. Россия и Италия. Т. III. Вып. I. СПб., 1911. С. 23-24; ПСРЛ. Т. VI. С. 37; Т. VIII. С. 219, 224, 226; Т. XII. С. 222, 223, 236; Т. XXIV. С. 211; Т. XXVII. С. 289, 293, 365; Т. XXVIII. С. 154, 158, 324. Дополнительные сведения приведены: Pierling P. La Russie et le Saint-Siège. Paris, 1906. P. 202-204.

<sup>11</sup> Соболевский А.И. Рецензия на книгу В.Н. Малинина «Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания» // ЖМНП. 1901. № 12. С. 487.

древнейших базиликах Рима во время понтификата Иннокентия VIII. Согласно дневниковым записям Стефано Интессура, при реставрации базилики Santa Croce in Gerusalemme 1 февраля 1492 года был обнаружен фрагмент титла с Креста Господня, о чем свидетельствовала запись с печатью папы Луция II (1144–1145). Данный фрагмент титла был замурован высоко над головой в одной из арочных дуг, а штукатурка с надписью, обозначавшей место, где титло было спрятано от чужих глаз, обвалилась.<sup>12</sup>

Согласно «Посыльной грамоте» Дмитрия Грека, одновременно с «известием о белом клобуке» Дмитрием Ралевым был выслан из Рима комплект переводных сочинений («Восьмичастная книга и Круг миротворный»), использованные, как удалось установить, в работах архиепископа Геннадия 1489–1492 гг. (Пасхалия, Окозрительный устав и послания разным духовным лицам). Так, в послании бывшему ростовскому владыке Иоасафу (в миру кн. Оболенский) в феврале 1489 г. архиепископ Геннадий писал: «Ино надобе о том подвиг велик дрѣжати, егда скончаются лета, а животом еще прибавит Бог мир. Ино то еретикомъ жидовьская мудрѣствующимъ будет дрѣзость, а христианству будет спона велика». В своем послании Геннадий ставит в вину Иоасафу и его единомышленникам антимосковский сепаратизм: «вы положили то дело ни за что, как бы вам мнится, **Новъгород с Москвою не едино православие**». Особого внимания в рамках нашей темы заслуживает упоминание в этом послании интересующих новгородского архиепископа сочинений, среди которых на первом месте названо «Деяние св. Сильвестра, епископа римскаго»: «Да есть ли у вас в Кирилове, или в Фарофонтове, или на Каменном, книги: Селивестр папа Римскы ... Занеже те книги у еретиков все есть».<sup>13</sup> Здесь важно документальное подтверждение, что основные европейские источники на латыни, впервые использованные в древнерусской литературе

---

<sup>12</sup> Die Basilika Santa Croce in Gerusalemme. Roma, 2005. P. 13.

<sup>13</sup> РГБ. Ф. 304 (Троицкое собрание). № 730. Л. 246; Горский А., прот., Невоструев К. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. 1: Священное Писание. М., 1855 С. 137.

именно в «Повести» («Donatio Constantini Magni», «Actus beati Silvestri»), находились исключительно в кругах еретиков, прибывших в Новгород в 1470 г. (Заккария Гизольфи и его грамота на латыни Ивану III). В том же 1489 г. ближайший помощник архиепископа Геннадия Герасим Поповка выслал Иосифу Волоцкому «книгу Селиверста папу Римского».<sup>14</sup>

Наряду с этим возникновение в феврале 1489 г. интереса архиепископа Геннадия к агиографическим памятникам, посвященным римскому папе Сильвестру, позволяет предположить, что к тому времени «известие о белом клобуке» уже было доставлено из Рима на Русь. В пользу данного мнения служит самое раннее упоминание «Константинова дара» («Donatio Constantini Magni») в наказе государя Ивана III своему послу Юрию Траханиоту ко двору Фридриха III (март 1489 г.).<sup>15</sup> В 1490 г. в Москву вернулось посольство Дмитрия и Мануила Ралевых, вместе с которым прибыл (повторно) старший брат Софии Палеолог Андрей, единственный законный наследник константинопольского престола, выдавший свою дочь Марию за сына удельного верейского князя Василия Михайловича Удалого, что в соответствии с кодексом феодального вассалитета наделяло государя Ивана III правами патрона, в т.ч. и на императорский герб. Как ранее было нами установлено, изображение венценосного двуглавого орла в качестве официального герба России впервые появляется ок. 1490 г. на золоченом портале Грановитой палаты.<sup>16</sup> Примечательно, что на южном фасаде Грановитой палаты, к которому примыкало Красное крыльцо, завершенное Алевизом Новым к 1508 г. в подобие «константинопольскому образцу» – священной лестнице при Большой тронной и приемной палате

---

<sup>14</sup> Последние труды Л.Н. Майкова. I. О Герасиме Поповке, русском книжнике XV-го века. СПб., 1900. С.5.

<sup>15</sup> Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т. I. СПб., 1851. Стб. 17.

<sup>16</sup> Ульянов О.Г. «ROMA QUADRATA III». К 500-летию строительства дворца великого князя Ивана III в Кремле // Вехи русской истории в памятниках культуры. Макариевские чтения. Вып. V. Можайск, 1998. С. 517.

византийских василевсов (Магнавре),<sup>17</sup> барельеф двойного окна изображал всадника с поднятым мечем, поражающим василиска.<sup>18</sup> Прототипом данной композиции следует признать византийскую фреску Большого императорского дворца в Константинополе с изображением императора, поражающего дракона. По замыслу св. равноап. Константина Великого данный образ, поставленный на внешней стороне дворца над дверьми императорских палат, должен был указывать на победу Константина над врагами христианства и свидетельствовать перед всеми, что владыка Римской империи ревностный христианин.<sup>19</sup> Памятование об этой константинопольской реалии посредством «царевны царьгородской» Софии Палеолог стало актуальным для Ивана III после взятия Казани русскими войсками 9 июля 1487 г., с известием о котором и было направлено в Италию первое посольство Дмитрия и Мануила Ралевых в 1488 г.<sup>20</sup>

В данном контексте вряд ли случайно, что именно архиепископ Геннадий был привлечен в 1492 г. митрополитом Зосимой (1490-1494) к составлению новой Пасхалии, о чем он сам свидетельствует: «Повелено бысть от господина отца нашего Зосима, митрополита всеа Русии, мне, Геннадию, архиепископу Великаго Новагорода и Пскова, учинити Пасхалию на осмую тысящу лет: понеже седмотясящное время прейде, да и Паскалия рядоваа с толком изошла, и неции мнеша, яко скончаваме седмой тысящи быти и скончание миру, яко же и преже, скончеваеме шестой тысящи, сичево же мнение обдръжаше люди».<sup>21</sup> С окончанием «седьмой тысящи» составители Пасхалии связывали не конец мира, а начало нового, «прославленного» Богом царства (сходство с популярным на Западе учением Иоахима Флорского о

---

<sup>17</sup> Беляев Д.Ф. *Byzantina*. Обзор главных частей Большого дворца византийских царей. Ч. 1. СПб, 1891. С. 120.

<sup>18</sup> Ульянов О.Г. «ROMA QUADRATA III». С. 526-527.

<sup>19</sup> Лебедев А.П. Константин Великий в частной жизни // *Душеполезное чтение*. Т. 1. М., 1886. С. 174-175.

<sup>20</sup> *Annali Veneti dall'anno 1457 al 1500 del senator Domenico Malipiero* // *Archivio storico italiano*. Firenze, 1843-1844. Т. VII. Parte 1-2. P. 310.

<sup>21</sup> РИБ. СПб., 1908. Т. VI. Ч. 1. №118. Стб. 806.

«тысячелетнем царстве мира»<sup>22</sup> Таков был ответ государственной власти и Церкви на распространение эсхатологических настроений, которые нашли отражение и в некоторых мотивах Краткой редакции «Повести» («дванадцать камней во образ дванадцати апостол», украшающие белый клобук, ср.: образ Церкви в Апокалипсисе с венцом из двенадцати звезд), ранее атрибутированных старцу Филофею.<sup>23</sup>

Косвенным признаком знакомства составителей Пасхалии 1492 г. с первоначальным текстом «Повести» может служить ссылка на «книгу алфу» новгородского архиепископа Василия Калики († 1352), при котором впервые в Новгороде появился белый клобук. В сохранившемся известии Третьей новгородской летописи упоминается под 1335 г., что «при сем архиепископе Василии принесен бысть белый клобук **от царя Константина и папы Силвестра** в Великий Новгород».<sup>24</sup> Примечательно, что «Повесть о Муромском острове» конца XIV – начала XV вв. относит появление в Новгороде «известия о белом клобуке», доставленного из Рима иноком Лазарем, «постриженником отца нашего игумена Афанасия Дискота» (по нашим исследованиям, Лазарь направился на Русь из греческого монастыря Santa Prassede в Риме), также ко времени архиепископа Василия Калики.<sup>25</sup> В 1336 г. этот выдающийся церковный деятель выстроил в Новгороде церковь Входа Господня в Иерусалим, о которой в «Написании архиепископа Геннадия» к «Повести о белом клобуке» говорится как о «церкви святого Иерусалима, юже созда боголюбивый Василие архиепископ», куда совершалось шествие на осляти из Софийского собора.<sup>26</sup> Древнейшее свидетельство об

---

<sup>22</sup> Wadstein E. Die eschatologische Ideengruppe // Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. 1895-1896. Jg. 38-39.

<sup>23</sup> Schaeder H. Moskau das Dritte Rom. Studien zur Geschichte der politischen Theorien in der slavischen Welt. Darmstadt, 1957.

<sup>24</sup> ПСРЛ. Т. III. СПб., 1841. С. 225.

<sup>25</sup> Житие преподобного Лазаря, Муромского чудотворца // ОПИ ГИМ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 681. Л. 165–173 об.

<sup>26</sup> ПСРЛ. Т. III. С. 226; Новгородские летописи (так названные Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). СПб., 1879. С. 218. Важно учесть, что указанные события церковной жизни Новгорода при архиепископе Василии прились на 1336 г., когда в

архиерейском чине шествия на осляти на Руси, возникшем под непосредственным влиянием *Donatio Constantini Magni*, связано с Новгородом и включено в «Чин церковный архиепископа Великого Новгорода и Пскова» времени архиепископа Геннадия с упоминанием государей Ивана III «самодержца» и Василия III.<sup>27</sup> В «Написании архиепископа Геннадия» упоминается также, что сам обряд шествия на осляти завершился чтением «Повести о белом клобуке».

Тот же московский Собор 1492 г., который утвердил Пасхалию, принял также решение о перенесении новолетия с 1 марта на 1 сентября. Этим подчеркивалось, что Русь считает себя полноправной преемницей Византии, что первой на международной арене признала венецианская синьория.<sup>28</sup> Как парафраз евангельского текста «И будут первии последнии и последнии первии» во введении к новой Пасхалии впервые была провозглашена мысль о Москве как единственном православном центре мира («новом граде Константина»), а **«государь и самодержец всея Руси»** (впервые такой титул!) Иван III уподоблен «новому царю Константину»: «И ныне же, в последния сиа лета, яко же и в перваа, прослави Бог... благовернаго и христоролюбиваго великого князя Ивана Васильевича, государя и самодержца всея Руси, нового царя Константина новому граду Константину – Москве и всей Русской земли и иным многим землям государя».<sup>29</sup> В этой связи стоит отметить, что уже Василий II был именован ок. 1461-1462 гг. как «новый Константин ... великий дръжавный боговенчанныи руский царь» в публицистическом сочинении «Слово избрано от святых писаний, еже на латыню, и сказание о составлении осмаго собора латыньскаго, и о извержении Сидора Прелестнаго, и о поставлении в Русской земли митрополитов, по сих же похвала благоверному великому князю Василию

---

Константинополе состоялся Собор против «жидовствующих» еретиков.

<sup>27</sup> Голубцов А. Чиновник Новгородского Софийского собора. М., 1899. С. 270, 278, 279, 283.

<sup>28</sup> Пирлинг П. Россия и Восток. СПб., 1892. С. 103, 166.

<sup>29</sup> РИБ. Т. VI. СПб., 1908. Стлб. 796-797; Ульянов О.Г. «ROMA QUADRATA III». С. 521.

Васильевичу всея Руси», посвященном обоснованию автокефалии Русской Церкви.<sup>30</sup> Прорекларированная в Пасхалии 1492 г. новая государственная идея о перенесении в 7000 г. значения древнего «града Константина» на Москву стала предшественницей теории «Москвы – Третьего Рима».

Полученные данные подвигают к более объективной оценке историчности «Посыльной грамоты», критике мнения о ее легендарном и анахронистическом характере и уточнению хронологических рамок редакций «Повести». В пользу историзма свидетельствует также идентификация имен «царя Карула» и «папы Формоса» во второй части «Повести», которыми были обозначены король восточных франков (с 887 г.) Арнульф Каринтийский (Arnulf von Kärnten), один из последних представителей немецкой линии династии Каролингов, и римский папа Формоз (891-896). В «Сказании о латынях, како отступиша от православия»<sup>31</sup> римский папа в борьбе со «сродницами» своего предшественника Адриана призывает к себе на помощь «от внутренней Фругии» (восточная марка Фриули в Каринтии, которую унаследовал как раз Арнульф) «князя (или царя) Карула», который привел с собой еретиков «учение Ариева и Аполлинариева», и эти ереси распространились при Формозе, который им тайно покровительствовал.<sup>32</sup> В истории папства известно, что в 894 г. к Арнульфу обратился за помощью папа Формоз, которому угрожала опасность со стороны Гвидо Сполетского, победившего своего противника Беренгара Фриульского и оспаривавшего у Арнульфа власть над Италией. Заслуживает особого внимания информированность составителей «Повести» на Руси о западноевропейских ересьях во время правления этих исторических лиц (адоптианство), совпадающая с информацией

---

<sup>30</sup> Попов А.Н. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI-XV в.). М., 1875. С. 344-395.

<sup>31</sup> ПСРЛ. Т. XXII, Ч. I. С. 326.

<sup>32</sup> Так изложены события в статье требника начала XV в. «Како и коего ради дела отлучишася от нас латыня». См.: Попов А.Н. Историко-литературный обзор древнерусских сочинений против латинян. М., 1885. С. 137-145.

ряда синхронных текстов (грамота митрополита Филиппа новгородцам 1471 года).<sup>33</sup> Для нашей темы существенно, что в «Послании о Мономаховом венце» митрополита Киевского Спиридона (в схиме – Савва) экстраполирован большой отрывок об отпадении от православия папы Формоса с указанием неверной даты – 6553 (1045) г. (перед схизмой?).

Скрупулезный текстологический анализ помог выявить в семнадцати списках основной группы текстов Краткой редакции Повести ключевую фразу («Разумеете же отцы и братия, яко по божию изволению отъята бысть честь, и православие искоренися в Риме, и предано великому Новуграду и во всю русскую землю распространися и утвердися христова православная вера»), которая служит надежным хронологическим критерием для датировки протографа «Повести». Ближайшая аналогия данной лексеме была обнаружена нами в послании константинопольского патриарха Дионисия I (февраль 1467 г.) «до всея Руское земли и до Великого Новгорода», в котором он призывал подчиниться митрополиту Григорию (1458-1472) как законному митрополиту Киевскому и всея Руси.<sup>34</sup> Изучение возникшей полемики (Послание Ивана III новгородскому архиепископу Ионе с запретом канонического общения с константинопольским патриархом)<sup>35</sup> приводит к выводу, что создание протографа «Повести» связано главным образом со спорами об автокефалии Русской Церкви.

Политический курс на укрепление церковной самостоятельности Новгорода проявляется уже в первой половине XV века при новгородском архиепископе Евфимии II (Вяжицком), который после поставления на кафедру в мае 1434 г. митрополитом Герасимом в Смоленске стал усиленно насаждать культ местных новгородских святых и святынь. Эта тенденция носила отчетливый антикатолический характер, и не случайно составление «Повести об осьмом Ферраро-

---

<sup>33</sup> АИ. Т. I. С. 516.

<sup>34</sup> Щапов Я.Н. Восточнославянские и южно славянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. Ч. II. М., 1976. Прил. № 52. С. 145-147.

<sup>35</sup> РИБ. VI. № 100. Стб. 707-712.

Флорентийском соборе» Симеона Суздальца было начато в 1440 г. при дворе архиепископа Евфимия II. Многие священные образцы попали в Новгород в результате целенаправленной собирательской политики новгородских посадников и владык, стремившихся поместить свой город в орбиту христианской мировой истории. По сообщению Ипатьевской летописи, «въ лѣто 6642 (1134) принесена бысть дѣска оконечная гроба Господня Дионисьемъ послалъ бо бѣ [посадник] Мирославъ».<sup>36</sup> В сообщении I Новгородской летописи о постриге и поставлении Добрыни Ядрейковича в 1212 г. на архиепископскую кафедру с именем Антония упоминается о привозе им из Константинополя «гроба Господня»: «Пришьл ... Добрыня Ядрѣйковичъ изъ Цесаряграда и привезъ съ собою гробъ Господень...».<sup>37</sup> В этом контексте следует рассматривать и принесение в Новгород белого клобука при архиепископе Василии Калике, и распространение почитания Тихвинской иконы Богоматери, чудесным образом пришедшей на новгородскую землю, и создание литературным кружком архиепископа Геннадия особого Сказания об этой иконе. Одна из ранних редакций Сказания (редакция Б) заканчивается известием о закладке в 1507 г. при новгородском архиепископе Серапионе († 1516) каменного храма на месте явления иконы.

Появление «Повести о белом клобуке» стало отражением сепаратистских и антимосковских тенденций, разгоревшихся в Новгороде после смерти в ноябре 1470 года архиепископа Ионы. Решение новгородского вече в 1470-1471 гг. о поставлении преемника архиепископа Ионы не в Москве (митрополитом Филиппом), а в Киеве, о чем сообщалось в документах новгородского посольства к польскому королю Казимиру IV («а где будет нам, Великому Новугороду, любо в своем православном хрестьянстве, ту мы владыку поставим по своей воле»),<sup>38</sup> вызывает резкую конфронтацию с центральной

---

<sup>36</sup> ПСРЛ. Т. II. 2-е изд. СПб, 1908. С. 295; Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 2. М., 1990. Прим. 289.

<sup>37</sup> Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 52.

<sup>38</sup> Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. № 77. С. 130-132.

властью. Выявление расстановки сил показывает, что в конце 1470 г. в Новгороде начала формироваться широкая антимосковская коалиция во главе с князем Михаилом Олельковичем, поддержанная извне (союз против Руси хана Ахмата и Казимира IV после бегства татарского князя Кирея от Ивана III). Главной причиной ее образования, как показывает наше исследование, явилось начало переговоров в Риме о браке Ивана III и Софии Палеолог весной 1470 г.

Почти одновременно с Москвой в переговоры с Римом вступила литовская «партия» после окончания русско-литовского спора из-за Новгорода и смерти в 1472 г. митрополита Григория. В послании папе Сиксту IV 1476 г., которое скрепили подписями нареченный митрополит Киевский Мисаил (Пеструч-Друцкий, † 1480), архимандриты Киево-Печерского монастыря в Киеве и Троицкого в Вильно, православные князья (всё тот же Михаил Олелькович, Федор Бельский, Дмитрий Константинович Вяземский) и видные представители служилой знати великого княжества Литовского, содержалась просьба посвятить смоленского епископа Мисаила как преемника Григория и оказать папскую милость и покровительство «живущим в северных странах, в светлом городе Российской чреды, под уставом восточной церкви, содержащим св. семь вселенских соборов, к ним же купно и осьмой, Флорентийский, ухваляющим...».<sup>39</sup> В послании папе Сиксту IV есть ссылка на предыдущее «послание некое благопотребное», которое недавно посылали по тому же адресу «епископы, князья, бояре и другие благочестивые мужи через легата Антония», который отвозил в Москву к Ивану III «дщерь

---

<sup>39</sup> Критическое издание: Monumenta Ucrainae Historica. Romae, 1971. Vol. IX–X: 1075–1632. №4. P.5–30. См. также: Русский феодальный архив XIV – первой трети XVI века. Ч. 5. М., 1992. С. 951, 1064, 1071–1074 (СОКМ 9907). Новейшие исследования источника: Русина О.В. Мисаїлове послання Сиксту IV за Синодальним списком // Український археографічний щорічник. Вип. 7. Київ; Нью-Йорк, 2002. С. 281–296; Русина О. Послання київського митрополита Мисаїла папі римському Сиксту IV з 1476 року: Нові аспекти дослідження // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / за ред. о. Бориса Гудзяка, Ігоря Скочиляса, Олега Турія. Т. 5. Львів, 2007. 50–73.

цареву».<sup>40</sup> Поскольку папский легат Антонио Бонумбре находился в Вильно в апреле 1473 г.,<sup>41</sup> то возможно довольно точно датировать начало самих переговоров и отсылку первого обращения к папе.<sup>42</sup>

В том же 1476 г. «прииде из Царяграда в Литовскую землю митрополит, именем же Спиридон, а родом тверитин, поставлен по мзде патриархом, а **повелением турскаго царя**».<sup>43</sup> В «Изложении о православной истинной нашей вере» Спиридония-Саввы (ОР РГБ. Соф. № 1451. Л. 243) указывается, что его поставил Киевским митрополитом 15 сентября Константинопольский патриарх (из сербов) Рафаил (1475/1476-1480), фактически отказав в признании нареченному митрополиту Киевскому Мисаилу, который поспешил за благословением к папе Сиксту IV. Из Жития Зосимы и Савватия, созданного при непосредственном участии Спиридония-Саввы известно, что в 1503 г. он проживал в Ферापонтовом монастыре, куда прибыл после 1483 г. Следовательно, адресуясь к бывшему ростовскому владыке Иоасафу в феврале 1489 г. (см. выше) архиепископ Геннадий знал, что «в Фарофонтове» пребывал в это время митрополит Киевский Спиридоний. Об этом, в частности, свидетельствует высокая оценка архиепископом Геннадием литературных трудов и таланта Спиридония-Саввы: «сии человек в нынешняя роды беяше **столп церковный**, понеже измлада извьтче священная писания» (РГБ. Волок. № 659. Л. 309 об.). Среди сочинений митрополита Киевского Спиридония особое место занимает «Послание о Мономаховом венце», где перед ним, по его собственному признанию, была поставлена «высоким заказчиком» задача изложить **происхождение династии русских государей на фоне важнейших событий мировой истории**, обосновав генеалогическую связь предков Василия III с римским императором Августом. Сама постановка подобной

---

<sup>40</sup> Архив Юго-Западной России. Киев, 1887. Ч. 1. Т. 7. С. 229.

<sup>41</sup> Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileckiej. Kraków, 1948. Т. 1: (1387–1507). № 280.

<sup>42</sup> Halecki O. From Florence to Brest (1439–1596). Hamden (Connecticut), 1968. P. 100.

<sup>43</sup> ПСРЛ. Т. XXIV. С. 195.

задачи обнаруживает прямую переключку с концепцией «Повести о белом клобуке», призванной построить широкую историческую панораму *translatio frigium*, проследив происхождение белого клобука из Рима.

Вместе с тем в проанализированном историческом контексте «Повесть о белом клобуке» должна была стать источником легитимности новгородского сепаратизма, прежде всего, в сфере церковного самоуправления. Если византийская концепция церковной иерархии зижделась на политическом принципе первенства кафедры (3-е правило I Константинопольского (II Вселенского) собора 381 г. и 28-е правило Халкидонского (IV Вселенского) собора 451 г.), то в Краткой редакции «Повести» доминирует апостольский принцип, декларировавшийся Римской Церковью (пролог «*Historiographus noster Eusebius*» к латинскому тексту «*Actus beati Silvestri*»)<sup>44</sup>. Этот принцип был полностью воспроизведен в «Повести» в том виде, как он сформулирован в «*Donatio Constantini Magni*»: «Идеже бо святительская власть и христианскаго благочестия глава небесным царем установлена бысть – недостойно есть тамо власть имети земному царю». Именно апостольское первенство обеспечивало Новгороду легитимную автономию от Москвы как политического центра, опорой чему служили новгородские предания о проповеди ап. Андрея в земле словен,<sup>45</sup> «Слово о проявлении Крещения Руския земля святаго апостола Андрея, како приходил на Русь» в ПВЛ<sup>46</sup> и поздний прецедент «ставропигии» с «жезлом» ап. Андрея из новгородского с. Грузино («Повесть о житии Михаила Клопского»)<sup>47</sup>. Не случайно в Краткой редакции «Повести» упоминается имя «патриарха Увеналия» – Ювеналия (422-458), при котором Иерусалимской Церкви был дарован статус патриархата в 451 г. как «апостольской церкви» (*ecclesia*

---

<sup>44</sup> Mombrtitius H. *Sanctuarium seu Vitae Sanctorum*. Paris, 1910. P. 508; Levison W. *Konstantinische Schenkung uns Silvester-Legende* // *Miscellanea Francesco Ehrle*. T. 2. Rome, 1924. P. 202-208.

<sup>45</sup> ПСРЛ. Т. XXI, Ч. I. С. 73.

<sup>46</sup> ПСРЛ. Т. I. Стб. 7-9.

<sup>47</sup> Повести о житии Михаила Клопского / Подготовка текста Л.А. Дмитриева. М.; Л., 1958. С. 148.

apostolica), признанный Римом. Отзвук данной традиции можно проследить в сообщении Новгородской II летописи кон. XVI в.: «Клобук белой дал патриарх иерусалимский владыки Василию, а патриарху дал папа Римский; и с тех мест клобук белой в Новгороде» (в связи со смертью игумена Троицкого «Клобского» монастыря Феодосия в 1424 г.). Существенно, что получение белого клобука ассоциируется в новгородских памятниках с легитимным повышением статуса церковной кафедры. Противопоставление апостольского (римского) и политического (константинопольского) принципов иерархии Церковью нашло наглядное выражение в апелляции «Повести», что святительский клобук «честнее» царского венца («понеже архангельского чина царский венец есть и духовного суть»).

Таким образом, когда в Москве актуализируется тема метонимии и центральная власть приступает к разработке концепции перехода политического первенства в мире (*Translatio Imperii*), в Новгороде создается произведение, призванное обосновать независимость первенства кафедры от политического значения города пребывания (древнейшая славянская схолия к 28 правилу Халкидонского собора). Налицо характерная коллизия, когда и Москва, и Новгород после падения Константинополя именно в Риме начали искать поддержки своих притязаний: в одном случае – на укрепление светской власти, в другом – на церковный суверенитет (в Краткой редакции «Повести» нет ни слова о Москве). Правовой основой новгородской «Повести» послужила латинская грамота «*Donatio Constantini Magni*», где были обоснованы государственные прерогативы папской власти. Вместе с тем вопрос церковного самоуправления в Новгороде оказался тесно связан с политическими приоритетами, что не могли не понимать в Москве («не восхотеша под православным царем быти хрестьянским государем великим князем Иваном Васильевичем, в державе быти, и у истиннаго пастыря и учителя Филипа митрополита всея Руси себе учителя приимати»<sup>48</sup>). Реакцией на новгородский кризис 1470-1471 гг. стало наступление Ивана III на Новгород, которому в московском

---

<sup>48</sup> ПСРЛ. Т. VI. СПб., 1853. С. 191.

летописании приданы черты крестового похода на «неверных» («Словеса избранные от святых писаний... о гордости величавых мужей новгородских» круга митрополита Филиппа в дополнительной части Бальзеровского списка Софийской первой летописи<sup>49</sup> и в Новгородской летописи по списку Дубровского<sup>50</sup>). В результате была подписана договорная грамота Ивана III с Новгородом от 11 августа 1471 г., которую можно считать «terminus ante quem» для протографа «Повести».

Появление столь уникального текста в кругах антимосковской коалиции Новгорода (Михаил Олелькович и его еврейские «книжники» из Киева, кандидат в архиепископы новгородские Пимен в 1470 г.) было санкционировано посланием константинопольского патриарха Дионисия I (1467 г.) и явилось беспрецедентным событием для русского «историописания». Впервые «Русская земля» была включена в орбиту мировой истории и поставлена в один ряд с такими мировыми центрами, как Рим и Иерусалим. Как в свое время заметил Я.С. Лурье, публицистические моменты в «Повести» носят не прямой, а косвенный характер.<sup>51</sup> Действительно, «Повесть» более тяготеет к жанру универсальных историй, распространенному в средневековой литературе, где переход мирового значения от одного царства или града к другому часто изображался как переход священных предметов и символических знаков власти (regnum, frigium, согопа, венец, скипетр). В этой связи «Повесть» правомерно рассматривать как своего рода «философию истории», хотя и теологического характера.

Резонанс появления «Повести» был столь велик, что центральная власть предпочла умолчанию распространение «промосковских» редакций. Происхождение и бытование «Повести» можно проследить благодаря растущему влиянию новгородских еретиков (перевод в Москву из Новгорода в 1480 г. священников Алексея и Дениса, связанных с Закаррием

---

<sup>49</sup> ПСРЛ. Т. VI. СПб., 1853.

<sup>50</sup> ПСРЛ. Т. IV. Ч. 1. Вып. 2. Л., 1925.

<sup>51</sup> Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV- начала XVI в. М.; Л., 1960. С. 229.

(«жидовиным Схарием») Гизольфи, и поставление в русские митрополиты Зосимы в 1490 г. по ходатайству протопопа Алексея). Именно в это время «Donatio Constantini Magni», на котором основана «Повесть», попадает в сферу главных интересов московского двора. В свою очередь, новгородский архиепископ Геннадий, став доверенным лицом Ивана III после его поддержки в конфликте с митрополитом Геронтием 1479-1481 гг., приступает при участии митрополита Киевского Спиридона к составлению «промосковской» редакции «Повести» (розыск «известия о белом клобуке» посольством Дмитрия Ралева в Риме в 1489 г. – «Посыльная грамота» Дмитрия Грека). Новая «геннадиевская» редакция «Повести», обильно насыщенная агиографическими элементами, уже выдержана в русле характерного для византийской историографии описания мировой истории как последовательности царств (империй), последовательности, которую христианская Византия (империя ромеев) замыкала.<sup>52</sup> Заметным отличием «геннадиевской» редакции «Повести» стали обильные интерполяции различных сведений западноевропейского происхождения, например, упоминание о семикратном помазании миром при крещении папой Сильвестром Константина Великого (срв. реймский чин, записанный в 30-е гг. XIII в.).<sup>53</sup> Так, сообщение о падении Константинополя («в новом же Риме, еже есть в Константинограде, насиением агарянским также христианская вера погибнет») обнаруживает явную переключку с известием 1491 г. о взятии Царьграда, записанным в кругах Геннадия со слов доминиканца Вениамина, но расходится с более поздними

---

<sup>52</sup> Obolensky D. Tradition et innovation dans les institutions et programmes politiques de l'Empire Byzantin // Idem. The Byzantine Inheritance of Eastern Europe. London, 1982. P. XVI, 3.

<sup>53</sup> Ordo de Reims. Sacramentaire et martirologie de l'abbaye de Saint Remi. Martirologie, calendriers, ordinaires et prosaire de la metropole de Reims (VIII-e – XIII siècles) / Ed. Y. Chevalier // Bibliothèque liturgique. 1900. №7. P. 222-226; Schramm. P.E. Der König von Frankreich: Das Wesen der Monarchie vom 9. Zum 16. Jahrhundert. Ein Kapitel aus der Geschichte des abendländischen Staates. Bd. I. Weimar, 1939. S. 157.

посланиями старца Филофея, указывавшего на Ферраро-Флорентийский собор как на причину падения «Новаго Рима».

В противовес духовной концепции протографа «Повести» на Соборе в Москве 1492 г. была утверждена новая политическая доктрина, основанная полностью на «Donatio Constantini Magni». Продекларированная в Пасхалии 1492 г. новая государственная идея о перенесении в 7000 г. значения древнего «града Константина» на Москву стала предшественницей теории «Москвы – Третьего Рима».

Возникнув как источник канонического права по сугубо внутрицерковной проблематике («Написание, чего ради великаго Новаграда архиепископы на главах своих носят белый клобук, а не яко же прочии митрополиты и архиепископы и епископы») «Повесть» посредством последующих редакций превратилась в источник исторического самосознания на Руси в эпоху становления централизованного государства.

**Надпись на памятной доске в Архангельском соборе  
Московского Кремля – опыт историописания Екатерины II:  
исторический контекст.**

В мире существует огромная историография, посвящённая Екатерине II<sup>1</sup>. На протяжении полутора столетий историки изучали и изучают вклад монархини – одной из ведущих представительниц политико-идеологического направления «просвещённого абсолютизма» в общественную мысль, право, культуру и искусство своего времени. В этой связи многократно отмечался и интерес Екатерины II к русской истории и источникам по ней, связывавшийся обычно с желанием императрицы найти аналогии своему «просвещённому» правлению в прошлом Руси-России<sup>2</sup>.

Гораздо меньше внимание учёных привлекали попытки Екатерины II осмыслить ход исторического развития Российского государства под её собственным правлением. Первые биографы Екатерины II усваивали ей подобные размышления применительно лишь к 1780-м гг. и к её же оценкам реформ, проведённых после Пугачёвщины<sup>3</sup>. При этом исследователи опирались в основном на источники личного происхождения, созданные в ближайшем окружении Екатерины II, и сводили все штудии по ним к тезису о монархине – «ученице Вольтера» и продолжательнице дела петровской

---

<sup>1</sup> Обзоры и характеристики научной литературы, в особенности за 1990-е гг. см.: Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в. (опыт целостного анализа). М., 2001. С. 315-330; Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine the Great. 2<sup>nd</sup> ed. London, 2002. P. 677-679 (рус. пер.: Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002).

<sup>2</sup> Wortman R.S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 1. From Peter the Great to the Death of Nicholas I. Princeton, [1995]. P. 133-145 (рус. пер.: Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. М., 2002).

<sup>3</sup> Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. М., 2005. С. 52, 609; Бильбасов В.А. Исторические монографии. СПб., 1901. Т. 3. С. 244-247.

европеизации, тезису, быстро устаревшему и с самого начала едва ли верному. Иные трактовки практически отсутствовали, иные источники привлекались слабо, и ситуация в основном сохраняется и до сей поры.

Однако благодаря находке в Российском государственном архиве древних актов (далее – РГАДА) новых памятников её можно отчасти изменить. Памятники представляют собой предварительные и окончательный варианты текста надписи на главной памятной доске, назначенной в своё время Екатериной II к установке на серебряной раке с мощами древнерусских великомучеников – князя Михаила Черниговского и боярина Фёдора в Архангельском соборе Московского Кремля<sup>4</sup>. Надпись была посвящена Екатерине II и включала в себя историческую характеристику её свершений на троне. Императрица лично принимала участие в составлении надписи и правила все предложенные варианты. Отсюда тексты выступают и опытом собственного екатерининского историописания. Его анализ в историческом контексте – задача настоящей статьи.

Всего имеется три варианта текста надписи. Первый приложен к письму московского архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского) от 5 ноября 1769 г. на имя кабинет-секретаря Екатерины II Г.Н. Теплова. Приложение содержит начальный вариант надписи, составленный преосвященным лично и, естественно, до указанной даты. Текст здесь отмечен более поздней правкой, сделанной Екатериной II<sup>5</sup>. Императрица получила материалы владыки Амвросия, скорее всего, в середине ноября 1769 г. Её дальнейшая работа над ними датируется также приблизительно. Г.Н. Теплов в письме главнокомандующему Москвы М.М. Измайлову от 1 марта 1770 г. сообщал о монаршем приказе ускорить отливку раки и

---

<sup>4</sup> О переносе мощей черниговских святых в Архангельский собор и сооружении раки см.: Малиновский А.Ф. Обзорение Москвы. М., 1992. С. 36; Зыбалов Ю.М. Почитание святого благоверного князя Михаила Черниговского в Московском Кремле // Православные святыни Московского Кремля в истории и культуре (К 200-летию музеев Московского Кремля). М., 2006. С. 68-75.

<sup>5</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 7.

установку досок<sup>6</sup>. Надо полагать, что к этому времени Высочайшие изменения в тексте преосвященного были налицо.

Во втором документе находится новый, более поздний вариант надписи. Он приложен к копии собственноручной записки Г.Н. Теплова от 4 октября 1774 г.<sup>7</sup> и датируется по ней. Документ выполнен не обычной скорописью XVIII-го века, как прочие источники, а церковным уставом, и всё, что принадлежит в нём перу Екатерины II, отмечено подчёркиванием одной чертой<sup>8</sup>. Оба документа, таким образом, отражают участие Екатерины II в составлении надписи и ввиду своей важности публикуются ниже корпуса в заключение.

Третий документ по времени появления стоит между первыми двумя и является первичным текстом варианта надписи 1774 г. Он был подготовлен епископом Крутицким Самуилом (Миславским) и оправлен М.М. Измайлову вместе с письмом от 8 сентября 1774 г. для передачи Екатерине II<sup>9</sup>. При цитировании всех трёх документов сохранена разбивка текстов на строки.

Помимо бумаг, содержащих варианты текста надписи, в качестве источников привлечены также материалы переписки упомянутых сановников, духовных и светских, с императрицей и друг с другом по поводу создания текстов, изготовления и установки ковчега для мощей и досок на нём. Всего имеется тринадцать таких писем и записок за период с 3 октября 1769 г. по 22 ноября 1774 г. Они отложились как в подлинниках (в одном случае наряду с беловым экземпляром имеется черновик, о чём ниже), так и в копиях, и достоверность копий сомнений не вызывает<sup>10</sup>.

В переписке сохранились и тексты надписей на двух других мемориальных досках, установленных на серебряной раке наряду с главной доской. Текст одной из них представлял собой житие обоих великомучеников, текст другой – особую

---

<sup>6</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 8.

<sup>7</sup> Там же. Л. 32 об.

<sup>8</sup> Там же. Л. 33.

<sup>9</sup> Там же. Л. 32.

<sup>10</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 1-2 об, 4-6, 8-13, 18, 25-28, 30 и об, 38-39 об, 42, 43 и об.

молитву князю Михаилу Черниговскому со здравицей в честь Екатерины II<sup>11</sup>. Оба приложены к названной записке Г.Н. Теплова и сопровождают церковнославянский экземпляр главной надписи.

Значение материалов переписки трудно переоценить, поскольку именно они обозначают участие Екатерины II в подготовке текстов и её роль в организации отливки серебряной раки и установления досок на ней.

В целом содержание изученных источников вращается вокруг трёх крупных сюжетов: изготовление ковчега-мошехранилища и досок с надписями для него по приказу Екатерины II, текстуальное оформление монаршего замысла о надписях московскими архиереями, наконец, формулировка властительницей замысла надписи на главной доске, редактирование вариантов текста и составление окончательной надписи. Именно в таком порядке сюжеты и фигурируют в дальнейшем изложении.

Сначала об изготовлении и установке серебряной раки и памятных досок. Точное время начала подготовки текста главной надписи неизвестно. Г.Н. Теплов в письме к епископу Крутицкому Самуилу (Миславскому) от 15 августа 1774 г. указывал, что раку стали делать до русско-турецкой войны 1768-1774 гг., и что Екатерина II просила архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского) составить для неё записку с текстом памятной доски тогда же<sup>12</sup>. Задание, по всей видимости, было вызвано ремонтом стен Московского Кремля. За работы, которыми по указу Екатерины II руководил архитектор В.И. Баженов, принялись в 1767 г. До этого мощи черниговских святых содержались в церкви над Тайницкими воротами Кремля. В ходе работ ветхую надвратную церковь разобрали, и мощи понадобилось перенести.

Новым местом хранения мощей назначили кремлёвский Архангельский собор. Перенос было решено провести торжественно, и Екатерина II задумала ознаменовать его установлением большой серебряной раки для мощей с

---

<sup>11</sup> Там же. Л.34-37 об.

<sup>12</sup> Там же. Л.27.

мемориальной доской – памятником своему времени и своему царствованию. Однако развязанная Турцией в 1768 г. война помешала замыслу. Перенос мощей задержался почти на год: о совершении обряда архиепископ Амвросий сообщил М.М. Измайлову лишь 3 октября 1769 г.<sup>13</sup>

Рака и памятная доска готовы ещё не были. Не было и текста надписи. Соответствующий заказ передали архиепископу, и тот справился с ним довольно быстро: через месяц с небольшим после переноса мощей, 5 ноября 1769 г. владыка уже послал текст Г.Н. Теплову<sup>14</sup>. В тексте было 27 строк. Кабинет-секретарь передал бумагу преосвященного вверх. Екатерина II сократила текст до 26 строк и внесла серьёзные смысловые коррективы. Работа шла небыстро. Поскольку всё это время мощи черниговских святых оставались без достойной оправы, их перенесли в другой кремлёвский собор – Сретенский<sup>15</sup>. По окончании редактирования монархиня приказала спешно готовить раку и ставить доску с выправленной ею надписью.

Модель раки было поручено делать В.И. Баженову. Однако тот медлил, и 1 марта 1770 г. Г.Н. Теплов письменно информировал М.М. Измайлова об имеющемся у него монаршем повелении повторить архитектору приказ о скорейшем производстве модели для отливки. В условиях войны правительница настаивала, чтобы серебра на раку расходовать как можно меньше<sup>16</sup>. Из затеи с экономией, впрочем, ничего не вышло. 16 апреля 1770 г. М.М. Измайлов отписал Г.Н. Теплову: для работ сыскан наилучший мастер, и он сказал, что на такую отливку пойдёт серебра пудов десять или одиннадцать, «но, может быть, и меньше». Делать было нечего, и Екатерина II согласилась<sup>17</sup>.

3 мая 1770 г. Г.Н. Теплов сообщил М.М. Измайлову: императрица утвердила эскизы раки с «особенностями» (детальями), поручив подтвердить В.И. Баженову приказ «не

---

<sup>13</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 1-2 об.

<sup>14</sup> Там же. Л. 7.

<sup>15</sup> Там же. Л. 18.

<sup>16</sup> РГАДА. Ф.18. Оп.1. Д.245. Л.8.

<sup>17</sup> Там же. Л. 9.

задавать мастерам сложной работы», дабы рака не выглядела излишне вычурной. Ради экономии решили не тратить серебра на ножки раки. При этом Екатерина II стремилась, чтобы ковчег всё же отвечал суровому, но торжественному убранству Архангельского собора. «Ножкам быть бронзовым, – излагал Высочайшее предписание Г.Н. Теплов, – и Е.И.В. повелеть соизволила, чтоб не изображать ни ангелов, ни сфинксов, ни дельфинов, но быть ножкам простым по вкусу сего здания». На все работы монархиня ассигновала 12 тыс. рублей.<sup>18</sup>

Однако в военное время изготовление и установка раки, и доски на ней неоднократно откладывались, и только в конце июля 1774 г., когда в Санкт-Петербурге стало известно о мирном договоре с Турцией в Кючук-Кайнарджи, ковчег было решено всё же воздвигать. Здесь возникло новое затруднение: текст, составленный некогда Амвросием (Зертис-Каменским), успел устареть и не отражал завоёванного Россией и её монархиней величия. Сам автор погиб во время Чумного бунта 1771 г. в Москве, и его обязанности на московской кафедре выполнял Самуил (Миславский), епископ Крутицкий, позже митрополит Киевский. Надпись было поручено подготовить заново именно ему.

Епископ Самуил отозвался 8 сентября 1774 г., препроводив результат своей работы в приложении к письму на имя М.М. Измайлова<sup>19</sup>. Свежий вариант текста насчитывал 42 строки. Он также поступил на Высочайшую доработку. Екатерина II внесла существенные изменения, расширив текст до 44-х строк. Окончательный вариант екатерининской надписи сохранился в источниках в одном экземпляре, переписанном, как уже говорилось, церковным уставом. Копия личной записки Г.Н. Теплова от 4 октября 1774 г., отложившаяся среди бумаг, гласит: «Е.И.В. указать соизволила по сему вырезать надпись на серебряной раке святых мощей благоверного князя Михаила Черниговского»<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Там же. Л. 10, 12 об, 13.

<sup>19</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 27 об – 28.

<sup>20</sup> Там же. Л. 32 об.

Помимо доски с главной надписью в замысел Екатерины II на тот момент вошло установить и две дополнительных надписи, содержавшие житие черниговских святых и молитву, посвящённую князю Михаилу Черниговскому. Тексты составил также епископ Самуил (Миславский). Екатерина II их не правила, удовлетворившись тем, что было предложено. В материалах переписки имеются копии текстов надписей с припиской Г.Н. Теплова: монархиня читала «житие и страдание Михаила Черниговского и боярина Феодора», и молитву князю Михаилу, одобрила их и повелела изготовить нужные доски<sup>21</sup>. Об окончательном утверждении императрицей всех текстов и пересылке их в Москву для вырезки досок в натуре Г.Н.Теплов сообщал главнокомандующему Москвы М.М. Измайлову и епископу Самуилу 6 октября 1774 г.<sup>22</sup> В итоге время от появления у Екатерины II замысла главной надписи и до её овеществления заняло более пяти лет.

Серебряная рака и доски находились в Архангельском соборе Кремля до 1812 г., но были утрачены при французском разорении Москвы<sup>23</sup>. Такова история монументального начинания Екатерины II.

Перейдём к воплощению монаршего замысла московскими преосвященными. Выше говорилось о том, что первый вариант доски по поручению Екатерины II готовил архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский). Выражая волю императрицы, М.М. Измайлов инструктировал преосвященного на предмет того, что текст следует составлять, «соображаясь по большей части к нынешним военным обстоятельствам»<sup>24</sup>. Амвросий, учёный грек, примыкавший к «просвещённым» екатерининским иерархам и разделявший идеи Екатерины II о

---

<sup>21</sup> Там же. Л. 34 и об.

<sup>22</sup> Там же. Л. 38, 39.

<sup>23</sup> Позже их восстановили: знаток московской старины А.Ф. Малиновский отмечал их наличие в 1820 г. Участие Екатерины II и Самуила (Миславского) в составлении главной надписи тогда, по всей видимости, оставалось неизвестным: историком в качестве её автора назван лишь «убиенный чернью в 1771 году» Амвросий (Малиновский А.Ф. Указ. соч. С. 37).

<sup>24</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 6.

взаимоотношениях государства и Церкви, подчёркнуто светским характером задания задет отнюдь не был, и за работу взялся рьяно. 5 ноября 1769 г. преосвященный послал текст для доклада Екатерине II. Это был первый документ с предварительным вариантом главной надписи.

В нём значилось следующее: «Во славу Триипостасного Бога,/ в честь Приснопамятному Святому Михаилу, князю Черниговскому,/ от кореня равноапостольна Владимира Великого в седмой степени/ происшедшему,/ за Веру и Отечество с другом своим Феодором боярином/ во Орде от Батыя в 1244 лето 20-го семптемврия/ пострадавшему,/ из Чернигова в столичный град Москву пренесенному,/ здесь же с державными сродниками своими почивающему,/ Благочестивая, Великая,/ Премудрая, Непобедимая,/ Императрица Екатерина II,/ Матерь Всероссийская Отечества и всех повсюду единовѣрных грековосточных христиан/ надежда, покров и избавление,/ Кубанскую, Крымскую и Бугацкую Орды/ устрашившая,/ Турецкого во сту семидесяти тысящах состоявшаго везира,/ под Днестром разбившая и за Дунай прогнавшая,/ Хотин, Ясы и всю Молдавию для далших над Портою Оттоманскою поисков/ покорившая,/ Ивер, Спарту и Черногорцов морскими и сухопутными силами,/ Вселенну же преславными собывшимися в России и в Полше делами/ наполнившая,/ возобновляя/ древнее града Кремля здание новым великолепием,/ сию Раку/ в осмое лето благословенного своего царства,/ от Рождества же Христова 1769 года,/ создати благоволила»<sup>25</sup>.

Из текста понятно, что «просвещённый» архиерей не мудрствовал лукаво и сказал обо всём, что было наиболее дорого Екатерине II. Сначала он польстил её гордости: воспоминания о «преславных делах... в России и в Полше» и о титуле «Матери Отечества» отсылали к созыву Уложенной комиссии и борьбе в защиту прав религиозных «диссидентов»

---

<sup>25</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 7. Повторим, что князя Михаила Черниговского и боярина Фёдора убили в 1246 г., а не в 1244-м (См.: Кривошеев Ю.В. Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV вв. СПб., 2003. С. 322).

Речи Посполитой – православных и протестантов, поднятой Екатериной II с 1763 г. Это были свершения, которыми монархиня особенно гордилась. Ко времени создания владыкой текста у Екатерины II стало больше поводов для гордости по сравнению с началом 1760-х гг.: русско-польский договор 1768 г. со статьями о «диссидентских» правах под общими гарантиями России и Пруссии формально снимал «диссидентский вопрос»<sup>26</sup>. Преосвященный о договоре, разумеется, знал, и потому славословил вовсю.

Архипастырь обозначил и важный церковный акцент надписи, сделав подношение образу государыни – опоры вселенского православия. Таким манером в тексте появились слова об избавлении православных от турецкой неволи во «всей Молдавии», Грузии («Иверии»), Греции («Спарте») и Черногории. И наконец, Амвросий выполнял указание свыше: он прославлял Екатерину-воительницу, приводящую в трепет турецко-крымские орды и победно влекущую свои армию и флот на юг. Отсюда и радость по поводу побед под началом А.М. Голицына на Днестре, прославленных Церковью по приказу Екатерины II (другие крупные сражения ещё не произошли), и торжество по поводу бегства (мнимого, о чем ниже) турок аж за Дунай.

Амвросиев вариант после правки его Екатериной II в течение пяти лет считался завершённым. Однако в связи с Кючук-Кайнарджийским миром его признали устаревшим. Выше было сказано, что новый вариант надписи создал Самуил (Миславский). Это был малороссийский уроженец, выпускник Киевской духовной академии. Подобно своему предшественнику на московской кафедре, он был представителем «просвещённого» духовенства и также ориентировался на круги в Церкви, близкие Екатерине II<sup>27</sup>.

8 сентября 1774 г. владыка направил готовый текст М.М. Измайлову. В тексте стояло: «Во славу Триипостасного Бога,/ в

---

<sup>26</sup> Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 118-120.

<sup>27</sup> См. о нём: Рождественский Ф. Самуил Миславский, митрополит Киевский. Киев, 1877.

честь Приснопамятному Святому Михаилу, князю Черниговскому,/ от кореня равноапостольна Владимира Великого в седмой степени/ произшедшему,/ за Веру и Отечество с другом своим Феодором боярином/ во Орде от Батыя в 1244 лето 20-го семптемврия/ пострадавшему,/ из Чернигова в столичный град Москву пренесенному,/ здесь же с державными сродниками своими почивающему,/ Благочестивая, Великая, Победами и Миром/ превознесенная,/ Императрица Екатерина II,/ всех единоверных грековосточных христиан/ надежда, покров и избавление,/ Кичение Оттоманской Порты/ низложившая,/ неприступную Бендерскую крепость в прах и пепел/ обратившая,/ победоносное своё оружие за Дунай/ распространившая,/ сожжением и совершенным турецкого флота в архипелаге при Чесме истреблением прославившаяся,/ Молдавии, Валахии и архипелагским островам вожделенные выгоды/ утвердившая,/ народам, обитающим в Крыму, Кубане и Тамане свободу/ даровавшая,/ Одержанием пристаней Керчи, Ениколи и Кинбурна/ к новым промыслам и кораблеплаванию в Чёрное и Белое море путь/ отверзшая,/ возобновляя/ древнее града Кремля здание новым великолепием,/ сию Раку/ в торжественное изъявление преславно заключенного с Портою Оттоманскою июля 10 дня 1774 года/ Мира/ и в знак истинного своего благочестия и пламенеющей к Богу благодарности/ в тринадцатое лето/ благословенного своего царствования,/ при наследнике своём, благоверном государе цесаревиче и великом князе/ Павле Петровиче/ и супруге его, благоверной государыне княгине/ Наталье Алексеевне,/ от создания мира 7282, от Рождества же Христова 1774,/ воздвигнути/ благоволила»<sup>28</sup>.

При сравнении вариантов Амвросия и Самуила имеет смысл разделить тексты на параллельные фрагменты (здесь и далее нумерация фрагментов наша):

<i>Текст архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского), 5 ноября 1769 г.</i>	<i>Текст епископа Самуила (Миславского), 8 сентября 1774 г.</i>
<b>1.</b> Во славу Триипостасного Бога,/ в честь	<b>1.</b> Во славу Триипостасного Бога,/ в честь

<sup>28</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 27 об -28.

<p>Приснопамятному Святому          Михаилу, князю          Черниговскому,/ от кореня          равноапостольна Владимира          Великого в седмой степени/          происшедшему,/ за Веру и          Отечество с другом своим          Феодором боярином/ во Орде          от Батыя в 1244 лето 20-го          семптеврия/ пострадавшему,/          из Чернигова в столичный          град Москву пренесенному,/          здесь же с державными          сродниками своими          почивающему,</p>	<p>Приснопамятному Святому          Михаилу, князю          Черниговскому,/ от кореня          равноапостольна Владимира          Великого в седмой степени/          происшедшему,/ за Веру и          Отечество с другом своим          Феодором боярином/ во Орде          от Батыя в 1244 лето 20-го          семптеврия/          пострадавшему,/ из          Чернигова в столичный град          Москву пренесенному,/ здесь          же с державными сродниками          своими почивающему,/</p>
<p>2. Благочестивая, Великая,/          Премудрая, Непобедимая,/          Императрица Екатерина II,/          Мать Всероссийская          Отечества</p>	<p>2. Благочестивая, Великая,          Победами и Миром/          превознесенная,/          Императрица Екатерина II,/</p>
<p>3. и всех повсюду          единоверных грековосточных          христиан/ надежда, покров и          избавление,</p>	<p>3. всех единоверных          грековосточных христиан/          надежда, покров и          избавление,</p>
<p>4. Кубанскую, Крымскую и          Бугацкую Орды/          устрашившая,/ Турецкого во          сту семидесяти тысящах          состоявшего везира,/ под          Днестром разбившая и за          Дунай прогнавшая,/ Хотин,          Ясы и всю Молдавию для          далших над Портою          Оттоманскою поисков/          покорившая,/ Ивер, Спарту и          Черногорцов морскими и          сухопутными силами,/</p>	<p>4. Кичение Оттоманской          Порты/ низложившая,/          неприступную Бендерскую          крепость в прах и пепел/          обратившая,/ победоносное          своё оружие за Дунай/          распространившая,/          сожжением и совершенным          турецкого флота в архипелаге          при Чесме истреблением          прославившаяся,/ Молдавии,          Валахии и архипелагским          островам вожделенные</p>

<p>Вселенну же преславными сбывшимися в России и в Полше делами/ наполнившая,/</p>	<p>выгоды/ утвердившая,/ народам, обитающим в Крыму, Кубане и Тамане свободу/ даровавшая,/ Одержанием пристаней Керчи, Ениколи и Кинбурна/ к новым промыслам и кораблеплаванию в Чёрное и Белое море путь/ отверзшая,/</p>
<p><b>5.</b> возобновляя/ древнее града Кремля здание новым великолепием,/ сию Раку/</p>	<p><b>5.</b> возобновляя/ древнее града Кремля здание новым великолепием,/ сию Раку/</p>
<p><b>6.</b> в осмое лето благословенного своего царства,/ от Рождества же Христова 1769 года,/ создати благоволила</p>	<p><b>6.</b> в торжественное изъявление преславно заключенного с Портою Оттоманскою июля 10 дня 1774 года/ Мира/ и в знак истинного своего благочестия и пламенеющей к Богу благодарности/ в тринадцатое лето/ благословенного своего царствования,/ при наследнике своём, благочестивом государе цесаревиче и великом князе/ Павле Петровиче/ и супруге его, благочестивой государыне княгине/ Наталье Алексеевне,/ от создания мира 1722, от Рождества же Христова 1774,/ воздвигнути/ благоволила.</p>

Из сравнения становится понятным, что епископ Самуил использовал для своего варианта старый, амвросиев текст. В частности, налицо совпадение первых и пятых фрагментов

текстов. Во второй и третий фрагменты своего текста Самуил внёс изменения, но небольшие, четвёртый же и шестой фрагменты с прославлением побед и правления Екатерины II написал сам полностью. Идеиная направленность прежнего текста Самуилом сохранялась. При этом епископ Крутицкий был знаком с его правкой, сделанной императрицей: монарший титул «Матери Отечества» он в сочинение не вставил.

Определим теперь намерения Екатерины II в отношении очерка своего правления, назначенного к воплощению на пластине-доске из металла, и её собственную работу над замыслом. Идея отметить перенос мощей черниговских святых сооружением серебряной раки возникла у императрицы практически сразу и была продиктована значением события.

Князь Михаил Черниговский и боярин Фёдор почитались русской Церковью повсеместно, а их мощи признавались чудотворными. Екатерина II считала культ подобных мощей важным государственным делом, и в 1763 г., когда в Ростове Великом переносили мощи столь же почитаемого чудотворца – святого Дмитрия Ростовского, присутствовала на церемонии лично. По данной причине архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский) определил черниговские мощи в один из главных кремлёвских соборов – Архангельский, отличавшийся строгим, но богатым убранством, и Екатерина II с готовностью поддержала решение. Следующим шагом становилось составление исторической надписи. Она должна была быть очень короткой, но и очень содержательной.

О чём же в конце 1760-х гг. была готова поведать современникам и потомкам Екатерина II? Из многих источников известно, и известно хорошо, что в ту пору её сердце особой гордостью наполняли два подвига: создание Уложенной комиссии и выступление на стороне «диссидентов» Польши и Литвы. Польский автор Г. Шмит некогда отмечал, что созыв Уложенной комиссии и активизацию «диссидентского вопроса» Екатерина II проводила синхронно, и видел причину этого в желании монархини показать Европе единство своей политики вовне и внутри, и упрочить тем самым свою европейскую

репутацию<sup>29</sup>. У историка имело место явное и злое преувеличение: для Екатерины II всегда было главным не выглядеть в духе времени, а воплощать дух времени в делах, хотя её дела, конечно же, строились на вполне определённых прагматических расчётах, включая и расчёты на мнение Европы.

Стержнем екатерининской политики служило просветительское понятие «всеобщего блага». Вооружённая им монархия стремилась предстать перед обществом главным воспитателем и носителем добрых нравов, причём даже более авторитетным, нежели Церковь. Подобная тенденция впервые твёрдо проявилась у Екатерины II в период московских торжеств 1763 г. по случаю её коронации. Праздник предусматривал проведение в Москве грандиозного масленичного маскарада, в маскарадное же действо было включено костюмированное шествие пороков, сменявшееся затем парадом добродетелей. Соответственно, представление воплощало идею наступления новой эпохи – эпохи гражданской доблести, толерантности, добронравия. Режиссёр постановки, известный русский актёр Ф.Г. Волков использовал здесь с разрешения Екатерины II и традиции народной культуры, обозначив обращение властительницы с «воспитательной программой» не только к верхам, но и к низам общества. Всем сословиям вместо привычной церковной «бинарной оппозиции» – грех и спасение предлагалась новая, светская – общественный порок и гражданская добродетель, к которой они впредь и обязаны были приблжаться<sup>30</sup>.

В орбиту новых ценностей императрица старалась втянуть всю страну, и в этом плане её поездки в Троице-Сергиеву Лавру и Ростов Великий в 1763 г. были не только поклонением святыням, но и общением с подопечным народом. Соответствующее значение имело и путешествие по Волге в

---

<sup>29</sup> Schmitt H. *Dzieje panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego*. T. 1. Lwów, 1868. S.145-147, 154-156, 166-175, 223. Подробнее об этом см.: Ряжев А.С. Вероисповедная политика русского «просвещённого абсолютизма»: история изучения // *История и историки: историографический вестник*. 2005. М., 2006. С. 96-97.

<sup>30</sup> Wortman R.S. *Op. cit.* P.119-120.

1767 г.<sup>31</sup> Принципиальным этапом в пропаганде ценностей «просвещённой» монархии стала церемония открытия Уложенной комиссии, утверждённая Екатериной II лично. Вице-канцлер А.Н. Голицын в завершение обряда открытия говорил собравшимся депутатам «о общем добре, о блаженстве рода человеческого, о вселении в сердце людское добронравия и человеколюбия, о тишине, спокойствии, безопасности каждого и блаженстве любезных сограждан...»<sup>32</sup>.

Понятно, что в краткую летопись деяний Екатерины II, определённую на памятную доску в назидание обществу, надлежало включить лишь то, что ложилось в данную канву. И Екатерину II не смущала ситуация, когда памятник, посвящённый осмыслению светской истории и светских успехов правления, встанет в одном из главных храмов страны и даже украсит собою ковчег со святыми мощами. Полагаясь на мнение просветителей, властительница считала Церковь более орудием светского, рационального воспитания общества и была здесь намерена использовать её, так сказать, по назначению<sup>33</sup>.

Свой смысл имело для Екатерины II и размещение памятной доски именно в Москве – городе, который она откровенно не любила. С юности у Екатерины II сформировался трезвый подход к Церкви, религии, религиозному чувству, далёкий от мистики, иррационализма, экзальтации – всего того, что в век Просвещения именовалось «фанатизмом». Между тем в Москве, полагала Екатерина II, почва для «фанатизма», религиозной иррациональности, лучше всего унавожена. Там «никогда народ не имел перед глазами больше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу, церкви, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги

---

<sup>31</sup> См.: Бессарабова Н.В. Путешествия Екатерины II по России. М., 2005; Ибнеева Г.В. Формирование имперской политики России во второй половине XVIII в.: опыт политического взаимодействия Екатерины II и имперского пространства. Автореф. дис... д.и.н. Казань, 2006.

<sup>32</sup> Соловьёв С.М. История России с древнейших времён // Он же. Собр. соч. Кн. XIV. М., 1994. С. 68.

<sup>33</sup> См.: Ряжев А.С. Просвещённое духовенство при Екатерине II // Вопросы истории. 2004. № 9. С.55-57.

в домах, площади которых огромны, а дворы – грязные болота», – записывала императрица позже, в 1780-е гг., возвращаясь к мыслям двадцатилетней давности<sup>34</sup>. Отсюда Екатерина II сочла полезным привнести в московские нравы толику рациональности, осознанности, придать обычаю почитания мощей в одной из главнейших русских святынь – Кремле – в известной мере светский, гражданский характер. В конечном же счёте речь шла об идейном послании не одной лишь Москве, но и всему тогдашнему российскому обществу.

Акт переноса мощей был отмечен для Екатерины II и конъюнктурным налётом. Придя к власти при помощи придворной группировки братьев А.Г. и Г.Г. Орловых – «орловской партии» и опираясь на неё в течение нескольких лет, Екатерина II в связи с «диссидентским вопросом» и польской политикой попала в зависимость от другой группировки, возглавлявшейся Н.И. Паниным – «панинской партии». Н.И. Панину принадлежала важная роль в определении основ курса России в отношении Польши и Литвы, «диссидентского вопроса» и сотрудничества России и Пруссии в польско-литовских делах. Большой вклад в принятие польским сеймом в феврале 1768 г. продиктованных Россией решений по «диссидентскому вопросу» внёс Н.В. Репнин, тогдашний русский посол в Варшаве, родной племянник Н.И. Панина, представитель «панинской партии» и потомок князя Михаила Черниговского<sup>35</sup>. Перенос мощей князя Михаила в знак успеха екатерининской политики в Речи Посполитой означал, таким образом, и реверанс Екатерины II в сторону «панинской партии».

Русская политика в Польше вызвала вмешательство Турции, начавшей в 1768 г. войну против России. Война заставила Екатерину II переосмыслить задуманный текст:

---

<sup>34</sup> Екатерина II. *Réflexions sur Petersbourg et sur Moscou* // Екатерина II. Сочинения. Т. XII. СПб., 1907. С. 642. Фрагмент опубликован в переводе на русский: Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век. Время Екатерины II. Вып. 2. Сборник отрывков из записок, воспоминаний и писем, составленный П.Е. Мельгуновым, К.В. Сивковым и Н.Т. Сидоровым. М., 1922. С.22.

<sup>35</sup> Стегний П.В. Ук. соч.

историю царствования следовало дополнить историей военных побед, придавая тем самым формуле «просвещённого абсолютизма» более синтетический, военно-гражданский характер.

И это было не личной прихотью Екатерины II, а отражением логики режима правления, в которой абсолютный монарх всегда выступал не только «просвещённым», но и победоносным лидером. В России XVIII-го столетия огромная роль принадлежала здесь образу Петра I. Во время переворота 1762 г. Екатерина II удачно использовала его, появляясь на публике в петровской гвардейской форме и апеллируя к памяти императора-воина. Теперь, когда настала война, Екатерине II вновь пришлось надеть старый петровский мундир.

Надпись также должна была нести исторические установки православной монархии. Вступив в войну, Россия вела её с двумя противниками сразу – Османской империей в Причерноморье и шляхетской Барской конфедерацией на Польской Украине. Турки считались главным неприятелем. Черниговские святые князь Михаил Всеволодович и его боярин Фёдор были убиты в Золотой Орде в 1246 г. Русское общественное сознание раннего Нового времени воспринимало турок в качестве носителей извечной антихристианской угрозы, нацеленной на Россию с ордынских времён. Отсюда перенос мощей и установление нового, более приподнятого порядка их почитания были призваны поддержать боевой дух народа и войска против турок – «врагов Христова имени».

С начала войны Екатерина II сама всемерно поддерживала подобный настрой в при дворе и в столице. Вести об успехах на юге были для неё вестями о торжестве православия, и она немедленно проявляла своё чувство вовне. В предписании архиепископу Новгородскому и первенствующему члену Святейшего Синода Гавриилу (Петрову) от 12 мая 1769 г., отданном Екатериной II вскоре после сообщений о первых успехах весенней кампании, значилось: «Как ныне получено от командующего армией генерала князя Голицына известие о вторичной победе... над неприятелем... в 21-е число прошедшего месяца (апреля.– А.Р.), то есть на третий день после первой баталии..., то, Ваше Преосвященство, прикажите в будущее

воскресенье во всём городе по церквам отправить благодарный молебен за дарованные от Всевышнего... сии обе победы»<sup>36</sup>. В ближайшее воскресенье, 17 мая 1769 г. всё петербургское духовенство, выполняя приказ, действительно служило молебны: члены Синода – в Петропавловском соборе, прочие клирики, военные и невоенные – в патрональных храмах (гвардейских, армейских, флотских) и приходах.

Добавим, что Екатерина II полагала русские успехи на поле брани успехами православия не только в силу монаршего положения, но и по душевной склонности. Отсюда понятным становится нетерпение и злость Екатерины II, когда победная полоса кампании 1769 г. сменилась затишьем, а главнокомандующий А.М. Голицын стал обнаруживать нехватку воли «для далших над Портою Оттоманскою поисков». В итоге текст памятной доски, по мнению Екатерины II, должен был выразить и её собственную решимость вести войну и закончить её триумфом православия.

Из-за занятости императрицы военными делами перенос мощей всё откладывался. Между тем к осени 1769 г. сложились условия, когда быстрой победы над турками ждать уже не приходилось, а тяготы войны давали себя знать более и более. В данной ситуации задержка с переносом, по мысли Екатерины II, оказывалась на руку, ибо ныне он мог возыметь более сильное мобилизующее воздействие на общество, нежели год назад. Отсюда вышел приказ «учинить» перенос с максимально возможной пышностью и по принятому в Церкви чину присутствия императрицы. Этим Екатерина II хотела сказать, что она отдаёт дань важности действия и, несмотря на физическое отсутствие, всё же принимает в нём личное участие.

3 октября 1769 г. последовал рапорт архиепископа Амвросия М.М. Измайлову о совершении обряда, а тот 8 октября доложил императрице: перенос «состоялся с обыкновенным духовным церемониалом» и по чину присутствия императрицы, составленному в 1763 г. для

---

<sup>36</sup> Цит. по: Августин (Никитин), архимандрит. Православный Петербург в записках иностранцев. СПб., 1995. С.61.

переноса мощей в Ростове<sup>37</sup>. 5 ноября 1769 г. преосвященный представил начальству ожидавшийся Екатериной II текст памятной надписи, и она приступила к его редактированию.

Военно-историческая часть надписи вызвала у правительницы нарекания. Война шла трудно, и расхождение текста Амвросия с реальностью оказывалось кричащим. Крымский хан в конце 1768 – начале 1769 г. совершил опустошительные набеги на Украину, и русским частям лишь спустя полгода, восстановив Азов и Таганрог, удалось создать прочные преграды для крымской конницы. Тогда же у русских войск получилось отбить натиск турок на Днестре, нанося им тяжёлый урон и удерживая за собой левый берег реки. К осени 1769 г. русская армия, впрочем, перешла Днестр и заняла брошенную неприятелем крепость Хотин, но ни о каком бегстве турок за Дунай говорить не приходилось.

Более успешно русские войска оперировали на Северном Кавказе и в Восточной Грузии, однако этот фронт не считался основным. Не было решающих побед и в Польше: русские эскадроны гонялись за конфедератами по Волыни и Подолии, однако пресечь преследования православного населения не могли. В итоге русско-польский договор 1768 г., немало стоивший России, утрачивал значение, а вся конструкция русской политики в Речи Посполитой грозила рухнуть. В июне 1769 г. в Черногорию проникла небольшая русская экспедиция посланца Ю.В. Долгорукого для подготовки выступления против турок. Однако дипломат не смог овладеть ситуацией, с задачей не справился и вскоре покинул край. О высадке русских войск в Греции пока тоже оставалось только мечтать<sup>38</sup>. Но хуже всего было то, что война всё шла, а планов на перспективу ни у генералитета, ни у Военной коллегии не обнаруживалось.

Хранить для потомства столь неприятную память Екатерина II не хотела. Но ещё менее хотелось ей вместо истории оставить грубую подделку, наспех скроенную «просвещённым» архиепископом по шаблонам гомилетики. Поэтому редактирование амвросиевых словес следовало

---

<sup>37</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 1-2 об.

<sup>38</sup> История Балкан. Век восемнадцатый. М., 2004. С.126-127.

провести с всевозможным тщанием (см. первый публикуемый текст).

Прежде всего текст был несколько сокращён. Монархиня вычеркнула из него строку «Премудрая, Непобедимая» перед строкой «Императрица Екатерина II». Сразу после строки шёл фрагмент: «Мать Всероссийская Отечества и всех повсюду единоверных грековосточных христиан/ надежда, покров и избавление,/ Кубанскую, Крымскую и Бугацкую Орды...». Он также был опущен<sup>39</sup>. Екатерина II сделала это по понятной причине: война по большому счёту только начиналась, и провозглашать свою непобедимость и освобождение от турецкого гнёта «всех повсюду» православных «грековосточных христиан» оказывалось преждевременно.

Многие в окружении Екатерины II держались аналогичной позиции. Сохранился черновик письма Г.Н. Теплова епископу Крутицкому Самуилу (Миславскому) от 15 августа 1774 г., где тот дважды под разными предлогами упоминал о том, что в своё время именно он предлагал Екатерине II обождать с установкой парадной доски на ковчеге до окончания войны, дабы затем удобнее было «явить полный перечень успехов» монархини «предбудущим векам»<sup>40</sup>.

В беловой вариант послания данный пассаж включён не был: Г.Н. Теплов, опытный царедворец, после заключения Кючук-Кайнаржийского мира уже не хотел откровенничать с корреспондентом по поводу опасений, которые некогда проявил. Не оставил Г.Н. Теплов упоминаний и о времени своих советов Екатерине II. Они, впрочем, могли быть высказаны в любой год и месяц войны: ведь и после феерических русских побед 1770-1771 гг. на суше и на море мир откладывался не один раз, и даже за месяц до Кючук-Кайнарджийского договора никто бы не поручился, что соглашение вообще состоится.

Нежелание Екатерины II упоминать в надписи Крым и подвластные ему орды находит объяснение: слишком тяжёлой оказывалась память об их недавних кровавых набегах. В итоге текст после Высочайшей правки обретал иной смысл:

---

<sup>39</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 6, 7.

<sup>40</sup> Там же. Л.25 об, 26.

получалось, что на Днестре уstraшили, разбили и отогнали армию турецкого везира, а не крымского хана.

Гораздо более странным выглядит то, что после правки из текста выпали слова о монаршей мудрости и титул «Матери Отечества». Титул, поднесённый Екатерине II Уложенной комиссией, в известной степени отражал оценку законосоставительной работы императрицы в 1766-1767 гг., и монархия им дорожила. К тому же и работу свою, в особенности «Наказ» в Уложенную комиссию, она очень ценила и считала полезной для блага страны.

Гордилась Екатерина II и репутацией мудрой правительницы, и тщательно выстраивала соответствующую сторону своего царственного образа. В частности, на медали, выбитой в честь коронации Екатерины II, монархия изображалась в виде римской богини мудрости Минервы, облачённой в доспехи<sup>41</sup>. Книга-проспект с описанием коронационных торжеств и увеселений, специально изданная к их началу, также вышла под характерным названием «Минерва торжествующая». В нужном духе была выдержана и вся стилистика коронационных празднеств, эскизы к которым императрица утверждала лично<sup>42</sup>. И, конечно же, главнейшим доказательством мудрости Екатерины II в рамках её идейной системы служил «Наказ» в Уложенную комиссию.

К концу 1760-х гг. от своей позиции Екатерина II не отходила. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть издание «Наказа» 1770 г. на европейских языках. Помещённые здесь гравюры-аллегории в наглядной форме доносили до публики мысль о том, что Екатерина II занимает место в одном ряду с великими и легендарными античными мудрецами и законодателями, такими, как Ликург, Нума Помпилий,

---

<sup>41</sup> Гаврилова Л.М. Русская историческая мысль и медальерное искусство во второй половине XVIII в. Автореф. дис... д.и.н. М., 2001. С. 22; Гаврилова Л.М. Екатерина II – автор проектов медалей на события русской истории // Нумизматический сборник ГИМ. Ч. 15. М., 2001. С. 343-357.

<sup>42</sup> Вдовина Л.Н. Риторика праздника: Москва в дни маскарада «Торжествующая Минерва» // Екатерина Великая и Москва. Тезисы докладов научной конференции. М., 1997. С. 8-9.

Тарквиний, Марк Аврелий. И стоит подчеркнуть, что и общая эстетика гравюр, и композиция каждой из них прошли вкусовую и политическую цензуру неутомимой императрицы<sup>43</sup>.

Но как же тогда объяснить расставание Екатерины II в 1769 г. с мотивом монаршей мудрости, принципиально важным для неё в отношении собственной деловой репутации, порядка и исторического образа правления? Ответ прост. Екатерина II полагала, что результаты её благих начинаний, предпринятых в 1760-е гг., должны пройти проверку. Вскоре после прихода Екатерины II к власти один из царедворцев предлагал Сенату присвоить ей титул «Матери Отечества», но тогда она отвергла предложение. «Видится мне, что сей проект ещё рано предложить, потому что растолкуют в свете за тщеславие», – обосновала государыня отказ<sup>44</sup>. В случае с надписью ситуация, когда «ещё рано», повторялась. Лучшую же проверку, нежели война, мыслила Екатерина II, трудно и придумать: только после победы и претензии на мудрость, и монарший титул «Матери Отечества» не будут оценены окружением, высшим светом, оппозицией как бахвальство.

На время Екатерина II отложила дело о ковчеге и памятной доске. Причиной тому, были, разумеется, не одни лишь благоразумные советы Г.Н. Теплова, а заботы, связанные с войной. Но оставлять начатое было не в правилах монархини. К тому же, назначив осенью 1769 г. П.А. Румянцева на место А.М. Голицына, она ощутила прилив уверенности и чаяла перелома в войне уже ближайшей весной. Парадная серебряная рака становилась символом этого перелома, и приказ Екатерины II к весне 1770 г. ускорить отливку изделия не заставил себя ждать<sup>45</sup>.

Победы, однако, удалось достигнуть лишь спустя четыре года. Екатерина II встретила её как православная самодержица. Главный храм Санкт-Петербурга – Казанский собор был сделан ею центром военных и церковных празднеств по случаю триумфального мира, а сама монархиня сразу после придворных

---

<sup>43</sup> Wortman R.S. *Op. cit.* P. 124-127.

<sup>44</sup> Брикнер А.Г. *Ук. соч.*. С. 130-131.

<sup>45</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 8.

торжеств с готовностью выступала во главе всех православных северной столицы. 2 августа 1774 г. архиепископ Гавриил (Петров) получил сообщение Екатерины II: «Я намерена завтрашний день... принести благодарственные Всевышнему молитвы за дарованный мир в церкви Казанской Богородицы»<sup>46</sup>. Назавтра преосвященный Гавриил и прочие члены Синода служили торжественный молебен, и правительница отстояла его вместе с придворными.

Наконец-то для Екатерины II настало время закончить дело с памятными досками в Москве. 15 августа 1774 г. Г.Н.Теплов послал епископу Крутицкому Самуилу (Миславскому) письмо с монаршим поручением распорядиться об установке надписей. «В одной из них, – сообщал преосвященному кабинет-секретарь, – быть должна обыкновенная молитва для проходящих к поклонению мощам. В другой житие святых и страдание, вкратце описанное, а третья надпись главнейшая заключать должна на память будущих веков записку, кем, когда, и по каким обстоятельствам сие [и]зделие сооружено. По чему и войдёт тут изображение благочестия Её Величества, благодарности Богу за увенчанную войну торжественным миром, показав именно, в каких приобретениях он от врага имени Христова получен победоносным оружием, и время, в которое сей монумент поставлен и пренесение мощей для воспоминания церковного учинилось...». В заключение Г.Н.Теплов просил Самуила «сочинить надпись уставным письмом» для представления Екатерине II, дабы она могла оценить не только содержание текста, но и его внешний вид, и удобство его восприятия публикой<sup>47</sup>.

Очевидно, что речь шла об изменениях в замысле Екатерины II: теперь она хотела установить на серебряном ковчеге с мощами уже не одну, а целых три доски. Подобное волеизъявление «просвещённой» монархини смыкалось с её усилиями поднять нравственное красноречие, проповедническое искусство и учительные функции Церкви, нацеленными на

---

<sup>46</sup> Цит. по: Августин (Никитин). Ук. соч. С. 117.

<sup>47</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 27.

улучшение общества. Так, в 1772 г. обер-прокурор П.Л. Чебышев передал Синоду распоряжение монархини о составлении сборника поучений на воскресные, праздничные, «викториальные» дни. Соответствующий сборник для использования в церквях был составлен и затем трижды, в 1775, 1781 и 1795 гг. переиздавался<sup>48</sup>. Теперь регламентации по воле Екатерины II подлежало и почитание мощей.

Владыка Самуил оказался восприимчив к Высочайшим настроениям и чувствам после Кючук-Кайнарджийского мира. Приподнятый настрой, торжественный дух грядущих событий, готовность Церкви к празднику – вот соль самуилова труда над главной надписью. Однако оставить новый вариант без серьёзных смысловых поправок Екатерина II не могла.

В переписке по поводу установки раки сохранился текст, выполненный церковным уставом. Но это не приложение к письму Самуила (Миславского), о котором преосвященного просил Г.Н. Теплов, а финальный вариант надписи, несущий редактуру Екатерины II и подготовленный по итогам монаршей работы над текстом (см. второй публикуемый текст).

Из документа понятно, что иной, нежели у преосвященного Самуила, вид приобрело окончание последнего, шестого фрагмента текста:

<i>Текст епископа Самуил (Миславский), 8 сентября 1774 г.</i>	<i>Текст епископа Самуила (Миславского) в редакции императрицы Екатерины II, 8 сентября – 4 октября 1774 г.</i>
<b>6.</b> ... в тринадцатое лето/ благословенного своего царствования./ при наследнике своём, благоверном государе цесаревиче и великом князе/ Павле Петровиче/ и супруге его, благоверной государыне	<b>6.</b> ... в тринадцатое лето/ благословенного своего царствования./ во второе лето/ благополучного бракосочетания любезного сына своего./ всероссийского престола наследника,

<sup>48</sup> Потоцкий П. Заботы русских пастырей Церкви о развитии просвещения и проповедничества среди белого духовенства в эпоху императрицы Екатерины II. Казань, 1909. С.25-49.

<p>княгине/ Наталье Алексеевне,/ от создания мира 7282, от Рождества же Христова 1774,/ воздвигнути/ благоволила.</p>	<p>государя цесаревича и великого князя/ Павла Петровича с благоверною и великою княгинею Наталиєю Алексеевною,/ от создания мира 7282, от Рождества же Христова 1774,/ воздвигнути/ благоволила»</p>
---	---

Эта вставка отнюдь не носит случайного характера. Вводя упоминание о благополучном бракосочетании цесаревича Павла, Екатерина II намекала на появление в будущем внуков, продление венценосного рода, и, таким образом, выступала главой семьи и династии. Внимание же Екатерины II к принципу династизма вполне понятно: в раннее Новое время он выступал устойчивым качеством идеологии и политики «просвещённого абсолютизма».

За внесённым исправлением скрывались и переживания Екатерины II по поводу внутривластного кризиса 1773-1774 гг., вызванного попытками «панинской партии» добиться от Екатерины II уступки власти в пользу наследника<sup>49</sup>. К августу 1774 г. кризис был преодолен, хотя и не до конца, о чём ниже, и взаимоотношения Екатерины II и цесаревича Павла, было испорченные, вновь приобрели стабильный, устойчивый характер (с тем, чтобы оставаться такими до середины 1780-х гг.). Данью этим взаимоотношениям со стороны Екатерины II становилось символическое введение в текст счёта по годам не только её царствования, но и бракосочетания Павла Петровича. Приличия требовали упомянуть и супругу наследника, великую княгиню Наталью Алексеевну, и Екатерина II сделала это, хотя невестка вплоть до своей смерти в 1776 г. прилагала немало стараний, чтобы поссорить мать и сына, и для Екатерины II здесь не было секрета.

Концовка шестого фрагмента, о которой идёт речь, была у Екатерины II новеллой. В целом же императрица работала, сравнивая прежний и вновь полученный варианты надписи, и

<sup>49</sup> Madariaga I. de. Op. cit. P. 260-262.

возвращаясь в важнейших случаях именно к прежнему. В частности, четвёртый фрагмент, законченный у Самуила строкой «отверзшая», она завершила двумя строками, выброшенными ею в своё время из текста Амвросия, но с небольшим изменением:

<p><i>Текст архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского), 5 ноября 1769 г.</i></p>	<p><i>Текст епископа Самуила (Миславского), 8 сентября 1774 г.</i></p>	<p><i>Текст епископа Самуила (Миславского) в редакции императрицы Екатерины II, 8 сентября – 4 октября 1774 г.</i></p>
<p>4. Кубанскую, Крымскую и Бугацкую Орды/ устрашившая,/ Турецкого во сту семидесяти тысячах состоявшего везира,/ под Днестром разбившая и за Дунай прогнавшая,/ Хотин, Ясы и всю Молдавию для далших над Портою Оттоманскою поисков/ покорившая,/ Ивер, Спарту и Черногорцов морскими и сухопутными</p>	<p>4. Кичение Оттоманской Порты/ низложившая,/ неприступную Бендерскую крепость в прах и пепел/ обратившая,/ победоносное своё оружие за Дунай/ распространившая /, сожжением и совершенным турецкого флота в архипелаге при Чесме истреблением прославившаяся,/ Молдавии, Валахии и архипелагским островам</p>	<p>4. Кичение Оттоманской Порты/ низложившая,/ неприступную Бендерскую крепость в прах и пепел/ обратившая,/ победоносное своё оружие за Дунай/ распространившая,/ сожжением и совершенным турецкого флота в архипелаге при Чесме истреблением прославившаяся,/ Молдавии, Валахии и архипелагским островам вожделенные выгоды,/ утвердившая,/</p>

силами./ Вселенну же преславными собившимися в России и в Полше делами/ наполнившая.../	вожделенные выгоды/ утвердившая./ народам, обитающим в Крыму, Кубане и Тамане свободу/ даровавшая./ Одержанием пристаней Керчи, Ениколи и Кинбурна/ к новым промыслам и кораблеплаванию в Чёрное и Белое море путь/ отверзшая.../	народам, обитающим в Крыму, Кубане и Тамане свободу/ даровавшая./ Одержанием пристаней Керчи, Ениколи и Кинбурна/ к новым промыслам и кораблеплаванию в Чёрное и Белое море путь/ отверзшая./ всю вселенную великими своими делами, в России и Полше собившимися./ удивившая...
--	--	--

Данная вставка также отнюдь не проходная: добившись победы в турецкой войне, начавшейся из-за польских дел, Екатерина II теперь могла вспоминать о них с превосходством. В ходе войны с Турцией, в 1772 г. состоялся первый польский раздел, и в договор России с урезанной Польшей вновь были внесены положения о правах «диссидентов» и подтверждении международных гарантий в их отношении. Это был очередной русский взнос в разрешение «диссидентского вопроса», весьма крупный, хотя, как вскоре покажет самодержице история, и не окончательный: для обеспечения «диссидентам» подлинной защиты потребуется ещё свыше двадцати лет борьбы и решимость на участие в последующих разделах Речи Посполитой.

В четвёртом фрагменте у Екатерины II проявилась и известная конъюнктурность. Ход войны, когда туркам постоянно наносился урон в живой силе, а русские войска взяли

целую систему крепостей в Бессарабии и низовьях Дуная – Хотин, Фокшаны, Измаил, Килия, Аккерман, Бендеры, Браилов, превзошёл самые смелые ожидания. Мощь и престиж России были подтверждены на суше и на море: победы у Рябой могилы, на Ларге и Кагуле, под Туртукаем и Козлуджей, в Чесменской бухте навеки составили славу русского оружия. Однако в надписи Екатериной II были сохранены лишь Чесма и Бендеры, иных же дополнений после Самуила она не внесла.

Выбор Чесмы обоими авторами, на первый взгляд, объясним: успех флота, невиданный со времён Петра Великого. Но почему из сухопутных сражений названы именно Бендеры? Для Самуила всё было просто: штурм Бендер оказался самым кровопролитным для русских войск за войну 1768-1774 гг., по стране после него шли соборные панихиды по павшим воинам, и епископ памятовал о них. Что же касается Екатерины II, то её позиция станет понятной, если вспомнить о том, кто именно командовал с русской стороны в баталиях, внесённых в надпись. Среди главных вождей эскадры у Чесмы был А.Г. Орлов. Под Бендерами армией руководил П.И. Панин, брат Н.И. Панина. Екатерина II, таким образом, отметила обе «партии», соперничавшие у трона, и «орловскую», и «панинскую», стремясь тем самым поддерживать равновесие между ними.

Главный итог правки состоял, однако, в том, что во втором фрагменте самуилова текста после Высочайшего редактирования восстанавливались эпитет «Премудрая» и титул «Матерь Отечества», фигурировавшие у Амвросия на тех же местах:

<i>Текст архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского), 5 ноября 1769 г.</i>	<i>Текст епископа Самуила (Миславского), 8 сентября 1774 г.</i>	<i>Текст епископа Самуила (Миславского) в редакции императрицы Екатерины II, 8 сентября – 4 октября 1774 г.</i>
2. Благочестивая, Великая, /	2. Благочестивая, Великая, Победрами	2. Благочестивая, Великая,

Премудрая, Непобедимая./ Императрица Екатерина II./ Мать Всероссийская Отечества	и Миром/ превознесенная./ Императрица Екатерина II/	Премудрая, Победами и Миром/ превознесенная./ Императрица Екатерина II./ Мать Отечества/
--	--	---

Подобное возвращение имело вполне определённую политическую и идейную нагрузку. К концу лета 1774 г. Екатерина II торжествовала: была достигнута вожделенная победа над Турцией, и можно было с чистым сердцем сказать о небывалом российском триумфе. Туркам было нанесено полное поражение. Возрос престиж России среди православных народов: под русским нажимом все православные – участники движений против Оттоманской Порты были амнистированы, автономия княжеств Молдавия и Валахия сохранялась, хотя они и оставались под турецкой властью. Впервые в Новое время Россия открывала себе путь в Чёрное море: Крымское ханство объявлялось независимым от Турции, а гавани Керчь, Еникале, Кинбурн становились русскими<sup>50</sup>. В итоге в огромной мере укрепились геополитические позиции России.

Более твёрдым стало и положение Екатерины II на троне. Она отбила, как было сказано, первую и главную атаку «панинской партии», и удержала равновесие вокруг трона. К тому же теперь монархиня могла опереться на надёжного человека, всецело преданного ей – Г.А. Потёмкина. На юго-востоке страны, в Поволжье и на Урале полыхало восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. В июле 1774 г. оно достигло пика. «Панинская партия» стремилась использовать момент для усиления: П.И. Панин, главнокомандующий войсками, направленными против повстанцев, жаждал диктаторских полномочий. Екатерина II пошла навстречу требованиям

---

<sup>50</sup> История внешней политики России. XVIII век (от Северной войны до войн России против Наполеона). М., 2000. С. 116-127; История Балкан. С. 130-133.

сановника, но мир с Турцией теперь развязывал ей руки и позволял нейтрализовывать оппозицию.

«Только с 1774 года почувствовала я, что мои приказания исполняются», – говорила потом Екатерина II статс-секретарю А.В. Храповицкому<sup>51</sup>. В это время властительница обрела уверенность, и слова о её мудрости звучали сейчас уместно. Проверку испытаниями, полагала Екатерина II, она сама и её режим выдержали. И потому ей было приятно слышать восторженное эхо, которым в её честь отдавалась здравица в заключение молитвы князю Михаилу Черниговскому: «...подаждь убо твоими мольбами да Господь сил и христолюбивую Императрицу нашу Екатерину Алексеевну, самодержицу Всероссийскую, твоей веры усердную и ревностную подражательницу, венчает её оружием истины, оружием благоволения, да укрепит ея мышцу, да возвысит её десницу, да дарует ей всегда глубокий и неотъемлемый мир»<sup>52</sup>.

Оценивая правку Екатериной II самуилова варианта, можно заключить, что монархиня поддержала выделение Самуилом в тексте двух крупных тем. Первой темой было прославление государыни. Памятник знаменовал благочестие православной императрицы и её деяния во благо вселенского православия. Отмечалось правление мудрой монархини – матери своего Отечества, заботящейся о нём и способствующей его процветанию. Наконец, Екатерина II выступала в надписи лидером правящей династии.

Вторая тема имела патриотическое наполнение: слова об усилении позиций России на Чёрном море и в православном мире, прославление русского оружия должны были вызывать гордость не только за монархиню, но и за отчизну.

Все тексты Екатерина II утвердила к 6 октября 1774 г.<sup>53</sup> Тогда же Г.Н. Теплов предупредил Самуила (Миславского) о том, что Екатерина II предписала совершить обряд перенесения мощей в раку в один из ближайших воскресных или праздничных дней, «и неотменно бы сие пренесение зделано

---

<sup>51</sup> Храповицкий А.В. Памятные записки. М., 1862. С. 67.

<sup>52</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 34 и об.

<sup>53</sup> Там же. Л. 38, 39.

было прежде, нежели Е.И.В. сама пребыть соизволит в Москву, дабы по пришествии Ея сии святыя мощи в новой серебряной раке в Архангельском соборе уже почивали»<sup>54</sup>. Московский главнокомандующий, посоветовавшись с архиереем, назначил обряд на 21 ноября 1774 г., о чём уже 10 октября и доложил наверх<sup>55</sup>.

Между тем для Екатерины II ситуация осенью 1774 г., несмотря на мир с Турцией, разгром сил Е.И. Пугачёва и пленение самого предводителя, оставалась непростой. Данные первичного следствия над Е.И. Пугачёвым в Яицком городке в сентябре 1774 г. не устроили императрицу: она опасалась, что мятеж был инспирирован оппозицией или внешними силами, и следственные материалы пока не снимали этих опасений. Отсюда Екатерина II, поручив проверку пугачёвских показаний П.С. Потёмкину, двоюродному брату Г.А. Потёмкина, распорядилась об организации нового следствия в Москве. Но в дело вмешался П.И. Панин: в октябре он провёл в Симбирске своё следствие, и П.С. Потёмкин не сумел ему противостоять<sup>56</sup>. Затея П.И. Панина была ясна: получить подтверждение тезису о слабости екатерининского правления, на котором стояла «панинская партия», чтобы затем организовать новый натиск на монархиню.

Излишне говорить, что замыслам Екатерины II всё это не отвечало. В середине октября она подтвердила приказ привезти Е.И. Пугачёва в Москву, чтобы, проведя над ним следствие и суд под началом верных людей, выбить карты из рук «панинской партии». Кроме того, Пугачёвщина помешала торжеству по поводу победы над Турцией, и Екатерина II полагала провести их по завершении суда над вождём восставших и его «сообщниками». Монархиня была уверена: широкие празднества в связи с обеими победами сразу – и над врагом внешним, и над врагом внутренним, укрепят её

---

<sup>54</sup> Там же. Л. 39 об.

<sup>55</sup> Там же. Л. 42.

<sup>56</sup> Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачёвым и его сподвижниками (Источниковедческое исследование). М., 1995. С. 55-84; Рязев А.С. «Просвещённый абсолютизм» и старообрядцы: вторая половина XVIII – начало XIX в. Ч. II. Тольятти, 2006. С. 233-254.

репутацию в обществе, и покажут её силу и придворной оппозиции, и московскому дворянству, в среде которого многие разделяли недовольство Екатериной II.

Императрица собиралась приехать в Москву сразу после суда и казней повстанцев. Перенос мошей был призван предварить прибытие императрицы и послужить увертюрой готовившимся празднествам. Екатерина II считала победы над турками и пугачёвцами больше, чем просто победами. Война и мятеж были для неё – носительницы традиции рационалистического Просвещения взрывами бешенства и иррационализма, восстанием против разумного порядка вещей, против закона «всеобщего блага», на страже которого она считала своим долгом стоять. В этой связи приезд Екатерины II в Москву означал, что наступает вселенский мир, исполненный добродетелей и оплодотворённый материнской любовью монархини к подданным и ко всему человечеству. Обряд переноса мошей задавал нужный тон.

Это настроение Екатерины II вновь ухватил смыслёный и услужливый Самуил (Миславский). 22 ноября 1774 г., проведя церемонию, он повествовал ей о свершившемся: «Не нахожу довольных выражений ко изъяснению всеобщего удовольствия и радости, коими при сём случае объяты были мои сограждане. Во всём Кремле не осталось ни одного места, которое бы жадными и Благоверную свою монархиню благословляющими не наполнено было зрителями». Не только люди, по словам епископа, но и сама природа переживала умиротворение: «После бывшей престокой и несносной стужи в самую ночь, предварившую оное торжество, открылась приятная и умеренная погода...»<sup>57</sup>.

Подведём итоги исследования. Источники по истории создания и установки надписи на памятной доске в кремлёвском Архангельском соборе имеют большое значение. Оно состоит прежде всего в том, что на основе этих источников удаётся расширить хронологию екатерининской исторической рефлексии, отнеся её нижнюю грань к 60-м гг. XVIII в., а отнюдь не к 80-м, как считалось ранее.

---

<sup>57</sup> РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 43 и об.

Собственно тексты надписи убеждают также, что краеугольным камнем осмысления Екатериной II истории государства после прихода к власти стала модель «просвещённого абсолютизма». Основные её черты – поддержка монархией господствующей Церкви и ключевое положение особы монарха в ней, династизм, забота правителя о государстве и прямая служба ему, попечение о благе верноподданных и «всеобщем благе» впервые были обозначены правительницей в законодательстве 1762-1764 гг. о религии и Церкви<sup>58</sup>. Данные принципы нашли воплощение и в «архангельской» надписи.

Из текстов надписи следует ещё и то, что формула «просвещённого абсолютизма» предвзяла у Екатерины II собственно исторический поиск и во многом задавала его результаты. В целом это был антиисторизм, обычный для Просвещения.

Известно, что ценили в Екатерине II энциклопедисты, во многом противопоставляя её, могущественную «северную Семирамиду», слабому наследнику Людовика XIV: гуманизм, политику в сфере юстиции, утверждение веротерпимости в Российском государстве и за его рубежами, наконец, борьбу с «варварами»-турками<sup>59</sup>. Именно такую историю собственного царствования хотела оставить на металле памятной доски и сама «Семирамида». Однако в конкретно-исторических условиях идеи «просвещённого абсолютизма» о реформах и смягчении нравов надлежало дополнить идеями, более привычными для России той поры. Манифест «просвещённого абсолютизма», обращённый к русскому обществу, должен был быть и манифестом православного самодержавия, и отличаться нужным настроем. Наши источники объясняют, что Екатерине II удавалось добиваться этого, связывая позиции

---

<sup>58</sup> Омельченко О.А. Церковь в правовой политике «просвещённого абсолютизма» в России // Историко-правовые вопросы взаимоотношений государства и церкви в истории России. М., 1988. С. 34-42.

<sup>59</sup> Scharf C. Tradition – Usurpation – Legitimation. Das herscherliche Selbstverständnis Katarinas II. // Russland zur Zeit Katharinas II. Köln; Weimar; Wien, 1998. S. 98.

«просвещённого абсолютизма» с церковной санкцией и пропагандой их через усилия Церкви.

Исторический контекст историописания Екатерины II, направленный на создание памятника, свидетельствует об устойчивом влиянии на императрицу «диссидентского вопроса»<sup>60</sup>. Он не отпускал Екатерину II в течение всех лет правления. В 1795 г., за год до смерти монархиня поручила Н.Д. Бантыш-Каменскому создать книгу с обоснованием позиции России в «диссидентском вопросе»<sup>61</sup>. Тем самым Екатерина II открыла переход от своих личных историописательских рефлексий к широкому историческому изучению аспектов реальной политики «просвещённого абсолютизма»<sup>62</sup>.

Тексты памятной надписи и сопровождающая их переписка являются важными источниками, расширяющими научную трактовку опытов Екатерины II по части историописания и создания ею обобщающей исторической формулы своего царствования. Екатерина II была одним из ведущих теоретиков «просвещённого абсолютизма», изученные же документы помогают понять специфику мышления в рамках екатерининской политико-идеологической и исторической доктрины.

Надпись на памятной доске  
в Архангельском соборе Московского Кремля.

*1. Текст архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского)*

---

<sup>60</sup> См.: Рязев А.С. «Просвещённый абсолютизм» и старообрядцы... С. 254-272.

<sup>61</sup> Бантыш-Каменский Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии с показанием начала и важнейших, в продолжение оной чрез два века, приключений, паче же о бывшем от Римлян и Униатов на благочестивых тамошних жителей гонении, по Высочайшему блажения памяти Императрицы Екатерины II повелению, из хранящихся Государственной Коллегии Иностранных дел в Московском архиве актов и разных исторических книг, Действительным Статским Советником Николаем Бантышем-Каменским 1795 года собранное. М, 1805.

<sup>62</sup> Рязев А.С. Вероисповедная политика «просвещённого абсолютизма»: история изучения... С. 84-85.

*в редакции Екатерины II, 5 ноября 1769 г. – 1 марта 1770 г.*

Во славу Триипостасного Бога,/ в честь Приснопамятному Святому Михаилу, князю Черниговскому,/ от кореня равноапостольна Владимира Великого в седмой степени/ произшедшему,/ за Веру и Отечество с другом своим Феодором боярином/ во Орде от Батые в 1244 лето 20-го семптемврия/ пострадавшему,/ из Чернигова в столичный град Москву пренесенному,/ здесь же с державными сродниками своими почивающему,/ Благочестивая, Великая,/ Императрица Екатерина II,/ устрашившая/ Турецкого во сту семидесяти тысящах состоявшаго везира,/ под Днестром разбившая и за Дунай прогнавшая,/ Хотин, Яссы и всю Молдавию для далших над Портою Оттоманскою поисков/ покорившая,/ Ивер, Спарту и Черногорцов морскими и сухопутными силами,/ Вселенну же преславными собывшимися в России и в Полше делами/ наполнившая,/ возобновляя/ древнее града Кремля здание новым великолепием,/ сию Раку/ в осмое лето благословенного своего царства,/ от Рождества же Христова 1769 года,/ создати благоволила.

(РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 7).

## *2. Текст епископа Самуила (Миславского)*

*в редакции Екатерины II, 8 сентября – 4 октября 1774 г.*

Во славу Триипостасного Бога,/ в честь Приснопамятному Святому Михаилу, князю Черниговскому,/ от кореня равноапостольна Владимира Великого в седмой степени/ произшедшему,/ за Веру и Отечество с другом своим Феодором боярином/ во Орде от Батые в 1244 лето 20-го семптемврия/ пострадавшему,/ из Чернигова в столичный град Москву пренесенному,/ здесь же с державными сродниками своими почивающему,/ Благочестивая, Великая, Премудрая, Победями и Миром/ превознесенная,/ Императрица Екатерина II,/ Матерь Отечества,/ всех единоверных грековосточных христиан/ надежда, покров и избавление,/ Кичение Оттоманской Порты/ низложившая,/ неприступную Бендерскую крепость в прах и пепел/ обратившая,/ победоносное своё оружие за Дунай/ распространившая,/ сожжением и совершенным турецкого флота в архипелаге при Чесме истреблением прославившаяся,/

Молдавии, Валахии и архипелагским островам вожделенные  
выгоды/ утвердившая,/ народам, обитающим в Крыму, Кубане и  
Тамане свободу/ даровавшая,/ Одержанием пристаней Керчи,  
Ениколи и Кинбурна/ к новым промыслам и кораблеплаванию в  
Чёрное и Белое море путь/ отверзшая,/ всю вселенную великими  
своими делами, в России и Полше собывшимися,/ удивившая,/  
возобновляя/ древнее града Кремля здание новым  
великолепием,/ сию Раку/ в торжественное изъявление  
преславно заключенного с Портою Оттоманскою июля 10 дня  
1774 года/ Мира/ и в знак истинного своего благочестия и  
пламенеющей к Богу благодарности/ в тринадцатое лето/  
благословенного своего царствования,/ во второе лето/  
благополучного бракосочетания любезного сына своего,/  
всероссийского престола наследника, государя цесаревича и  
великого князя/ Павла Петровича с благоверною и великою  
княгинею Наталиею Алексеевною,/ от создания мира 7282, от  
Рождества же Христова 1774,/ воздвигнути/ благоволила.

(РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 245. Л. 33).

## **Историописание и проблема превращения исторических знаний в науку**

Рассматривая исторические произведения периода средневековья и раннего нового времени с точки зрения современного терминологического инструментария, следует, вероятно, особое внимание обратить на особенности исторических текстов эпохи формирования принципов и методов научного изучения прошлого. Жанровая принадлежность древнерусских исторических сочинений (летописи, хронографы, жития, воинские повести), также как и последующих исторических исследований определяется значительно более успешно, чем произведений так называемого "переходного периода". В настоящем сообщении предполагается показать взаимодействие традиционных средневековых мотивов и новых тенденций в сибирской историографии последней четверти XVII – начала XVIII в., что, возможно, будет полезно для обсуждения проблемы использования понятия "историописание" в его пространственно-временном модусе.

Изучая развитие исторических знаний, исследователи обычно выделяют две принципиально различающиеся историографические системы – донаучные (вненаучные) исторические представления и собственно научную историческую мысль<sup>1</sup>. Опираясь на классификацию исторического познания Гегеля, вычленившего первоначальную, рефлексивную и философскую историю, и положение Ф. Энгельса о том, что в XVIII в. «знание становится наукой»,

---

<sup>1</sup> Историография истории СССР / Под ред. В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева. М., 1971. С. 7; Сахаров А.М. Историография истории России. (Досоветский период). М., 1978. С. 8-9; Шикло А.Е. Методическая разработка к курсу «Историография российской истории». М., 1993. С. 30; Володихин Д.М. Замечательные российские историки XVIII – XIX веков. М., 1995. С. 5-7; Бычков С.П., Корзун В.П. Введение в историографию отечественной истории XX века. Омск, 2001. С. 40.

ранняя советская марксистская историография отождествляла процесс превращения исторических знаний в науку с преобразованиями Петра I, деятельностью В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова и других ученых XVIII в. Содержание этого явления Н.Л. Рубинштейн рассматривал в контексте зарождения в России буржуазных отношений и связывал, во-первых, с выяснением в исторических исследованиях внутренней закономерности и обусловленности исторических событий и, во-вторых, с началом критики источников<sup>2</sup>. Качественные изменения в историографии хорошо согласовывались с тем культурным сдвигом, который происходил в русском обществе в результате петровских реформ. При этом распространение научных исторических знаний в России, по заключению Н.Л. Рубинштейна, зависело от результатов освоения достижений западноевропейской научной мысли, а Академии наук отводилась роль связующего звена между иностранной и русской наукой<sup>3</sup>.

Несмотря на то, что данная концепция была хорошо обоснована конкретно-историческими и историографическими материалами, апеллировала к авторитету классиков марксизма и не противоречила взглядам крупнейших дореволюционных российских историков, она вскоре подверглась резкой критике. Оппоненты опирались на оценку В. И. Ленина XVII в. как «нового периода русской истории», настаивали на более раннем возникновении в России капиталистических отношений и, соответственно, начало кардинальных изменений в историческом познании стали связывать с XVII в. Именно в это время, по их мнению, происходит отход от старой летописной традиции, расширяются круг авторов и проблематика исторических исследований, увеличивается источниковая база и начинается критическая обработка источников<sup>4</sup>. По заключению М.Н. Тихомирова, «новый период русской истории, отмеченный В.И. Лениным, является и новым периодом в русской

---

<sup>2</sup> Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 10-11, 15.

<sup>3</sup> Там же. С. 51-61, 95-96.

<sup>4</sup> Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 1. М., 1955. С. 89-105.

историографии, качественно отличным от более раннего времени...»<sup>5</sup>. Вероятно, определенную роль в пересмотре прежней концепции превращения исторических знаний в науку сыграла острейшая, разгромная критика Н.Л. Рубинштейна и его «Русской историографии» в ходе развернувшейся в конце 40-х гг. прошлого века кампании против «космополитизма».

Новый взгляд на рассматриваемую проблему, однако, слабо согласовывался с имевшимися в то время разработками по отечественной историографии. И, вероятно, реакцией на эту ситуацию стало введение в научный оборот понятия «переходный период от исторических знаний к науке». Позднее этот «невразумительный» термин, происхождение которого «теряется в миазмах смутных советских времен», был подвергнут уничижительной критике А.П. Богдановым<sup>6</sup>. Однако в 50-60-е гг. использование этого понятия позволяло исследователям анализировать историографические явления XVII – XVIII вв., не входя в противоречие с существующими идеологическими канонами. Так, С.Л. Пештич, соглашаясь с определением XVII в. как «перехода от донаучного метода летописных сводов к научному» и выявляя целый ряд новых элементов в «Синописе», «Скифской истории» А.И. Лызлова, работах С.А. Медведева, С.У. Ремезова и др., в конечном итоге рассматривал их лишь в качестве «историографической предпосылки» для развития научного исторического знания в XVIII в.<sup>7</sup> А.М. Пономарев также определял XVII в. и даже вторую половину XVI в. как новый или переходный период в развитии русской историографии, когда, по его мнению, происходит глубокий кризис летописания и разрабатываются внелетописные формы исторических произведений, используются прагматизм и психологизм при объяснении исторических явлений, устанавливаются причинно-следственные связи между событиями, наблюдаются черты гуманизма и интерес к античности. При этом становление

---

<sup>5</sup> Там же. С. 90.

<sup>6</sup> Богданов А.П. Летописец и историк конца XVII века. Очерки исторической мысли «переходного времени». М., 1994. С. 9.

<sup>7</sup> Пештич С.Л. Русская историография XVIII века. Ч. 1. Л., 1961. С. 67.

собственно исторической науки в России он связывал со вторым этапом этого процесса, который датировался концом XVII – второй четвертью XVIII в<sup>8</sup>.

Большинство исследователей 60-90-х гг. прошлого столетия, затрагивавших проблему превращения исторических знаний в науку, фактически возвращаются ко многим положениям, разработанным еще Рубинштейном, а временные рамки данного явления ограничивают, с некоторыми вариантами, первой половиной XVIII в. Характерными чертами этого процесса считают освобождение исторической мысли из-под господства богословия, разработку критического отношения к источникам и теоретических основ исторических исследований, расширение культурных и научных связей с западноевропейскими странами и пр.

Резкой критике эта концепция была подвергнута в работах А.П. Богданова. По его заключению, не «убогие потуги петровского времени», а «всплеск творческой активности» в последней четверти XVII в. положил начало научному историческому знанию в России, опирающемуся на традиции отечественной исторической мысли и обогащенному изучением античного наследия и Ренессанса<sup>9</sup>. Некоторые современные авторы признают выводы Богданова о становлении научного знания в России в допетровскую эпоху достаточно убедительными, другие, наоборот считают их «голословными», отвергающими общепринятое положение о том, что только в петровское время в нашей стране наблюдался «культурный перелом, обеспечивающий постепенный переход к новому типу сознания, в том числе к осознанию своего прошлого и себя во времени»<sup>10</sup>. В современном учебнике по историографии истории России под редакцией М.Ю. Лачаевой в одном разделе утверждается, что начало нового периода в развитии русской историографии, когда происходит переход от накопления к

---

<sup>8</sup> Пономарев А.М. Превращение русских исторических знаний в науку. Ярославль, 1987. С. 14-15, 33.

<sup>9</sup> Богданов А.П. Указ. соч. С. 3-11.

<sup>10</sup> Вовина В.Г. Рец. на кн.: Богданов А.П. Летописец и историк конца XVII века. Очерки исторической мысли «переходного времени». М., 1994 // Отечественная история. 1996. № 3. С. 173.

ученому осмыслению исторических знаний, приходится на конец XVII в., а не на вторую четверть XVIII в., "во времена В.Н. Татищева". В другой главе этого же учебника Татищев назван родоначальником научной историографии в России, и с его деятельностью связан "качественно новый этап превращения исторических знаний в науку"<sup>11</sup>.

Отмеченные теоретические подходы к осмыслению отечественной исторической мысли на одном из этапов ее развития не могли не отразиться на понимании процессов, происходивших в историографии Сибири. С.В. Бахрушин отмечал, что С.У. Ремезов в XVII в. приступил к исполнению того же плана «научного изучения» Сибири, который позже осуществил Г.Ф. Миллер, и вместе с тем проводил четкую грань между деятельностью академических экспедиций и изысканиями предшествующего периода, подчеркивая, что собственно научное исследование Сибири началось с 30-х гг. XVIII в.<sup>12</sup> Согласно В.Г. Мирзоеву, произведения сибирских писателей второй половины XVII в. являются рубежными, составляя переходную ступень от летописного периода к научному. По его заключению, работы Н. Спафария предшествовали академическим экспедициям XVIII в., «История Сибирская» С.У. Ремезова предвляла научному труду Г.Ф. Миллера по истории Сибири, а Ю. Крижанич «одной ногой ...перешагнул...за черту своего времени, но зато другой он остался в пределах XVII столетия»<sup>13</sup>. Л.М. Горюшкин и Н.А. Миненко начало научного изучения Сибири связывали с XVIII в., а рубеж XVII – XVIII вв. оценивали как кризис русской средневековой культуры. «История Сибирская» Ремезова

---

<sup>11</sup> Историография истории России до 1917 года. Т. 1. М., 2003. С. 84, 102, 115.

<sup>12</sup> Бахрушин С.В. Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова // Исторические известия. № 3-4. М., 1916. С. 3-28; Он же. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. // Научные труды. Т. III, ч. 1. М., 1955. С. 32; Он же. Г.Ф. Миллер как историк Сибири // Г.Ф. Миллер. История Сибири. Т. 1. М.; Л., 1937. С. 7.

<sup>13</sup> Мирзоев В.Г. Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе XVII века. М., 1960. С. 136, 164, 184; Он же. Историография Сибири. (Домарксистский период). М., 1970. С. 31, 36, 44-45.

отнесена ими к числу тех немногих произведений, которые подготовили «качественный скачок в развитии русской историографии, связанный с превращением исторических знаний в науку»<sup>14</sup>.

С учетом имеющихся в исследовательской литературе оценок «переходного периода» рассмотрим на материале коренных народов Западной Сибири проявление традиционных средневековых мотивов и новых тенденций в сибирской историографии последней четверти XVII – начала XVIII в. Обратимся прежде всего к целевым установкам и задачам, которые ставили перед собой авторы ряда этногеографических описаний рассматриваемого времени.

Н.Г. Спафарий-Милеску в 1675-1678 гг. возглавлял русское посольство в Китай и по возвращении представил в Посольский приказ путевые записки с подробными сведениями этногеографического характера. Рассматривая причины, побудившие его к сбору материалов о Сибири и ее народах, трудно согласиться с мнением В.Г. Мирзоева о том, что посольство задумывалось как «первая научная экспедиция», и перед путешественником российским правительством были поставлены преимущественно «ученые цели»<sup>15</sup>. В наказе кроме поручений дипломатического характера послу в духе инструкций землепроходцам вменялось в обязанности «провесть всякими мерами накрепко многими ведущими людьми до пряма» о наиболее удобных и безопасных путях сообщения и доступных способах передвижения, о перспективах торговых сношений с Китаем, а также «написать в статейный список» обычные в таком случае данные о подчиненности порубежных обитателей, их «князьках» и промыслах: «И какие люди по дороге меж Сибири и Китайского государства живут и которые князьки особные живут, и

---

<sup>14</sup> Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец XVI – начало XXв.). Новосибирск, 1984. С. 12-13, 18.

<sup>15</sup> Мирзоев В.Г. Присоединение и освоение Сибири... С. 139, 141, 151.

Великому Государю они послушны ли...»<sup>16</sup>. Это требование дипломат выполнил, указав отношение к ясачной повинности жителей Барабинской степи, Горного Алтая и ряда территорий юга Восточной Сибири.

Собрав и обобщив различные сведения о хозяйственно-бытовом укладе, а также религиозных верованиях и происхождении сибирских аборигенов, Спафарий вышел далеко за рамки служебных поручений посла и царского наказа о фиксации народов «меж» Сибирью и Китаем. Б.П. Полевой заметил, что выделенные в книге путешественника разделы о важнейших речных системах и озере Байкал составлены в форме расширенных чертежных росписей к новым картографическим материалам<sup>17</sup>. Однако чертежные описания также не предполагали столь подробной информации о местных жителях.

Вероятно, в данном случае мы вправе говорить об исследовательском интересе к теме сибирских народов одного из образованнейших людей своего времени, который по собственной инициативе собрал и систематизировал не требовавшиеся инструкциями подробные сведения этногеографического характера. Не случайно раздел «Описание славные реки Иртыша» он предваряет критическим взглядом на предшествующие западные сочинения о Сибири, констатируя, что древние и современные ему авторы об этой местности и ее жителях «до сего дня... не ведают. А кто и писал, что об их толко басни писали»<sup>18</sup>. В соответствии со своей книжной «ученостью» Н. Спафарий стремился обогатить европейское «земнописание» достоверными данными о сибирских аборигенах и целенаправленно собирал информацию о том, что другие «толко слухом слышали».

В записках руководителя другого российского посольства в Китай 1692-1695 гг. И. Идеса и его спутника А. Бранда также

---

<sup>16</sup> Спафарий Н. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая в 1675 году // Записки Русского географического общества по отделению этнографии. Т. X. Вып. 1. СПб., 1882. С. 152.

<sup>17</sup> Полевой Б.П. Сибирская картография XVII в. и проблема Большого чертежа // Страны и народы Востока. Вып. XVIII. М., 1976. С. 217.

<sup>18</sup> Спафарий Н. Указ. соч. С. 40-41.

содержатся разнообразные сведения о народах Урала и Сибири, излишние в дипломатических отчетах и более характерные для академических исследований XVIII в. Посол не в силу служебных поручений, а из «любопытности» расспрашивал коми-зырян и строил догадки об их происхождении, побывал в мечети тобольских татар и, преодолевая брезгливость, неоднократно посещал жилища обских угров. С целью получения более полных данных о местных жителях он прибегал даже к варварским методам скупщиков пушнины. Так, для определения длины волос у одного из аборигенов путешественник велел напоить его пьяным и «этой любезностью добился того, что он дал разрезать чехол и распустить волосы»<sup>19</sup>.

«Описание новые земли Сибирского государства», более известного в литературе как «Описание Сибири», принадлежит перу русского автора. В нем представлены весьма обстоятельные и точные данные о жизнедеятельности отдельных групп западносибирских автохтонов, касавшиеся преимущественно расселения, ясачных повинностей, хозяйства и материальной культуры коренного населения.

На вопрос о целях создания произведения однозначно ответить сложно, прежде всего ввиду отсутствия общепринятых заключений о его авторстве и датировке. Следует внимательно отнестись к замечанию А.И. Андреева о связи памятника с посольскими росписями российских дипломатических миссий<sup>20</sup>. Тесное общение с европейски образованным Спафарием и вероятное участие в сборе информации для его путевых записок могло вызвать к жизни аналогичное по замыслу, но самостоятельное по содержанию описание сибирских народов русским автором.

«Переходный» характер рассматриваемой эпохи, когда практические задачи явно преобладали над исследовательскими мотивами, хорошо прослеживается на примере изучения

---

<sup>19</sup> Идес Избрант и Бранд Адам. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695). М., 1967. С. 55-56, 71, 102-103, 121-122, 147.

<sup>20</sup> Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 2. XVIII век (первая половина). М.; Л., 1965. С. 70-72.

сибирских древностей тобольским служилым человеком, известным картографом и писателем С.У. Ремезовым.

Во время картографических работ в Кунгурском уезде в 1703 г. Ремезов вместе с сыном Леонтием скопировали наскальные рисунки Писаного камня на р. Ирбит. Вместе с кратким пояснительным текстом они были помещены на четырех листах в Служебной чертежной книге<sup>21</sup>.

В исследовательских работах уже поднимался вопрос о причинах обращения С.Ремезова к ирбитским петроглифам. Л.А. Гольденберг объяснял его действия собирательской «жадностью», творческими исканиями и даже научной любознательностью<sup>22</sup>. В.Н. Чернецов предполагал, что Ремезовы выполняли распоряжение московских властей, вызванное, в свою очередь, просьбой Н. Витсена. В 1699 г. с аналогичным заданием к Писаному камню по царскому указу посылали верхотурского подьячего Якова Лосева<sup>23</sup>.

Учитывая служебный характер кунгурской экспедиции, практическую направленность других чертежных материалов, «парадное» оформление рисунков с барочными украшениями и деловой «отчетный» стиль экспликации с точным указанием исполнителей, места и времени работы, с большим основанием можно говорить о выполнении служебного поручения, чем о частной инициативе. В то же время ирбитский эпизод в деятельности тобольских «снискателей» сродни той тяге к «раритетам» и «достопамятностям», которой отмечена петровская эпоха.

Для оценки отношения С.У. Ремезова к сибирским древностям показательна одна из вкладок Хорографической книги, содержащая специальный план «Кучумова городища Старой Сибири» на реке Иртыш. Казалось бы, налицо исследовательский интерес к известному археологическому памятнику эпохи Сибирского ханства. Однако на чертеже

---

<sup>21</sup> Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Эрмитажное собрание. Д. 237. Л. 69-70 об.

<sup>22</sup> Гольденберг Л.А. Изограф земли Сибирской. Магадан, 1990. С. 257, 261.

<sup>23</sup> Чернецов В.Н. Наскальные изображения Урала // Археология СССР: Свод археолог. источников. Вып. В4-12(2). М., 1971. С. 12-14.

поселения указаны не старинные объекты, а места добычи селитры. Экспликация не оставляет сомнения в производственных, а не научных целях осмотра городища, состоявших, как и прежде, в налаживании «селитренного дела» и определении, «где быть пристойно селитренному майдану»<sup>24</sup>.

Качественные изменения, происходившие в сибирской историографии в рассматриваемый период, ярко проявились в «Кратком описании о народе остяцком» Г.И. Новицкого. Автор произведения, казачий украинский полковник, за поддержку гетмана Мазепы был сослан в 1712 г. в Тобольск. Здесь он поступает на службу к сибирскому митрополиту Филофею Лещинскому (архиерею Феодору) и участвует в миссионерских экспедициях к хантам в 1712-1715 гг.

На титульном листе сочинения указано, что оно подготовлено «за повелением его княжеской светлости губернатора Себеры» М.П. Гагарина. Несмотря на эту ремарку, можно согласиться с мнением В.Г. Мирзоева, что «Краткое описание...» если и было инициировано администрацией Сибири, то тем не менее во многом порождено интересом представителя «киевской учености», не чуждого европейской образованности, к малоизвестным народам Сибири<sup>25</sup>. Сам автор не ограничивал значение своей работы рамками служебного донесения, а рассматривал в контексте расширения этногеографических познаний европейцев: «...Мне... повелением вышшей власти преодоленно Остяцкую сию страну известну явити миру»<sup>26</sup>. В то же время представляется недостаточно обоснованным заключение С.А. Токарева, отвергавшего, вопреки заявлениям самого Новицкого, служебно-практические мотивы его писательской деятельности и выдвигавшего в

---

<sup>24</sup> The Atlas of Siberia by Semyon U. Remezov. Facsimile edition with an introduction by Leo Bagrow: Imago Mundi. Suppl. 1. S-Gravenhage, 1958. P. 79.

<sup>25</sup> Мирзоев В.Г. Историография Сибири (XVIII век). Кемерово, 1963. С. 94-95.

<sup>26</sup> Новицкий Гр. Краткое описание о народе остяцком. 1715. Новосибирск, 1941. С. 35.

качестве единственного побудительного фактора «научную любознательность» миссионера<sup>27</sup>.

Вряд ли правомерно преувеличивать, как это имеет место в литературе, научный монографический характер сочинения Г. Новицкого и отождествлять его с позднейшими изысканиями академических экспедиций. Более точным представляется замечание И.Н. Гемуева о не вполне осознанной и не в полной мере осуществленной попытке Новицкого реализовать себя в качестве исследователя<sup>28</sup>. При всей фактологической основательности и глубине осмысления его труд еще стоит за рамками планомерных научных изысканий последующей эпохи. Наряду с использованием теории естественного права и признанием роли природно-климатических факторов в жизнедеятельности сибирских аборигенов «Краткое описание...» не свободно от религиозно-этических мотивов и провиденциалистских толкований событий. Более того, стержневой темой произведения является показ торжества православия над «злочестивым кумирслужением» и воспевание благочестивого подвига сибирского митрополита. Некоторые страницы сочинения, прославляющие миссионерские деяния Филофея Лещинского, больше напоминают средневековые жития святых, чем исследовательские работы последующего времени. На сочетание в труде Новицкого разнородных по уровню компонентов обратил внимание еще его первый отечественный публикатор Л.Н. Майков, который отметил необычное для той эпохи богатство фактического содержания «самого живого интереса» и в то же время указал на явную приверженность автора «схоластическому направлению»<sup>29</sup>.

Определенных достижений по сравнению со своими предшественниками Новицкий достиг в отборе и использовании источников. По его представлениям, наибольшая ценность для исторических изысканий заключается в «писменах», которые

---

<sup>27</sup> Токарев С.А. История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966. С. 77.

<sup>28</sup> Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. Новосибирск, 1990. С. 4.

<sup>29</sup> Майков Л.Н. [Введение] // Краткое описание о народе остяцком, сочиненное Григорием Новицким в 1715 году. СПб., 1884. С. IV.

«аки светилы миру древняя изъясняют»). Однако в «Кратком описании...» он смог использовать эти материалы очень ограниченно, поскольку сами ханты и манси были неграмотны, а «иностранным же историографом аки укрит и утаен бе в пустынных сих селениях народ сей»<sup>30</sup>.

Сочинение Г. Новицкого основывается преимущественно на его личных впечатлениях, полученных в ходе миссионерских поездок 1712 – 1715 годов. Достоверность описания он связывал прежде всего с тем, что «самовидец бых», особо оговаривая случаи, когда «самым видити не случыся»<sup>31</sup>.

Для решения вопроса о происхождении хантов и манси автор «Краткого описания...» обратился к языку этих народов. Впоследствии анализ лингвистических данных будет широко использоваться в научных исследованиях. Новицкий демонстрирует ясное понимание важности этих материалов и стремится опереться на них при решении важнейших исторических вопросов. Однако само сопоставление различных языков проведено им на основе весьма поверхностных и случайных признаков. В результате оказалось, что нижнеобские угры «глаголют наречием пермским» и даже употребляют в речи латинские слова.<sup>32</sup>

Новицкий упоминает и об археологических памятниках, приписываемых им загадочной чуди: «ямищах», «ровищах» и курганах, в которых находили золотые сосуды, «множество» серебра и другие вещи. Однако он еще не пытался поставить, а тем более реализовать задачу использования их в качестве исторического источника, как полагал В.Г. Мирзоев<sup>33</sup>, хотя, несомненно, приблизился к осознанию этой идеи.

Таким образом, автор «Краткого описания...» стремился к расширению круга использованных источников, отвергал «баснословие», заботился о подлинности приводимых данных. Он фиксировал неоднозначность трактовки некоторых вопросов прошлого и настоящего Сибири и порой высказывал по

---

<sup>30</sup> Новицкий Гр. Указ. соч. С. 38.

<sup>31</sup> Там же. С. 25, 82.

<sup>32</sup> Там же С. 39.

<sup>33</sup> Мирзоев В.Г. Историография Сибири (XVIII век). С. 97.

спорным моментам свои собственные суждения. Выдвинутый им принцип достоверности этногеографических описаний являлся важной вехой на пути освоения научных приемов изучения народов Сибири. Можно поддержать мнение В.Г. Мирзоева о том, что Новицкий уже вырабатывал критический подход к источникам, уточнив, что он делал только первые шаги по овладению этим методом.

Одним из важнейших показателей превращения исторических знаний в науку является распространение рационалистического объяснения прошлого, освобождение исторической мысли от библейских догм и провиденциалистского видения исторических событий<sup>34</sup>. В сибирской историографии рассматриваемого времени также происходит постепенное ослабление средневековой нетерпимости к иноверию и противопоставления народов по религиозному принципу. Даже повествуя о случаях обращения в православие представителей коренного населения, некоторые писатели и путешественники избегают миссионерской риторики и остаются на позициях нейтральных наблюдателей, хотя, несомненно, испытывают определенные предубеждения к чуждым им вероисповеданиям.

В летописной части «Описания Сибири» в отличие от большинства повествований XVII в. о походах Ермака религиозная тематика практически отсутствует. Здесь нет ни типичных для Есиповской, Строгановской и Ремезовской летописей обличительных характеристик мусульманской религии и других чуждых верований, ни широко представленных в Кунгурской повести сведений о языческих обрядах. Фактически мы имеем дело со светским рассказом о покорении Сибири, хотя и не лишенным отдельных

---

<sup>34</sup> Чистякова Е.В. Формирование новых принципов исторического повествования (Этюды по русской историографии конца XVII века) // Русская литература на рубеже двух эпох (XVII – начало XVIII в.). М., 1971. С. 179; Вдовина Л.Н. Национальное самосознание как системообразующий фактор русской культуры XVIII века // Русская культура в переходный период от средневековья к новому времени. М., 1992. С. 30-31.

провиденциалистских высказываний о «божьей милости» и «вере христианской».

Значительное внимание религиозным воззрениям коренных жителей Западной Сибири уделено во «Втором описании Ремезова». В каждой из статей, посвященных аборигенам, религиозные сюжеты занимают важнейшее место. При этом сведения о язычестве и буддизме практически лишены богословско-обличительных оценок, а в сдержанной повествовательной манере характеризуют эту важнейшую сферу духовной культуры народов.

В более критических тонах Ремезов рисует верования мусульман. По его словам, обрядовая сторона последователей «мерзсаго» пророка Магомета отличается многими «бреднями». С насмешкой повествует он о том, что в пост они «днем не едят и мрут, а в ночь во всю без умолку едят»<sup>35</sup>. В то же время именно раздел о религии сибирских татар наглядно показывает зрелость работы тобольского «снискателя», сделавшего шаг навстречу научным принципам отбора и изложения исторических материалов. Впервые среди местных писателей и вопреки концепции «Истории Сибирской» Ремезов религиозные обряды мусульман характеризует не с позиций богословского противостояния, а как сдержанный в оценках наблюдатель, у которого отдельные антиисламские выпады не заслонили общей этнографической картины молитвенных действий и атрибутики магометан.

Большое внимание в «Кратком описании о народе остяцком» уделено религиозным культам хантов и манси, которые Новицкий мог непосредственно наблюдать во время миссионерских поездок. Писатель задумывался над причинами так глубоко укоренившегося в сознании аборигенов «зловерия». Традиционные богословские догматы о происках дьявола и божественном наказании за грехи им не отвергались, однако полностью они его, видимо, уже не устраивали, и он пытался найти объяснения в особенностях земного жизнеустройства обских угров.

---

<sup>35</sup> Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 178-М. Д. 2214. Л. 157.

По мнению миссионера, распространению многобожия способствовало желание «прибытчества» среди самих аборигенов. Некоторые «злехитрецы», стремившиеся «чуждым обогатиться трудом», создавали все новые и новые «твары», а «слепотствующий народ» вынужден был приносить им обильные жертвы. В результате массового поклонения идолам «самоделцы мнимых богов» вместе со жрецами–шаманчиками оказывались «довольно сытыми» и обеспеченными. Таким образом, согласно рассуждениям автора «Краткого описания...», не только вечное зло в лице дьявола соблазняло человечество, но и отдельные «злехитрецы» ради наживы продавали душу сатане и способствовали «ослепленению» своих соплеменников. Сильная приверженность простого народа «нечестивому многобожию», по мнению Новицкого, была связана также с тяжелым материальным положением большинства аборигенов. Стремление к достатку в условиях нищеты и «скудости в препитании» толкало таежных жителей в объятия «мнимых» богов. Большую роль при этом, по данным миссионера, играла сила традиции, обычаи «древних праотцов»<sup>36</sup>.

В последнюю четверть XVII — начале XVIII в. сибирская историография еще не порвала со средневековыми провиденциалистскими объяснениями происхождения коренных народов Сибири и традиционными стереотипами их восприятия. Аборигены по-прежнему характеризовались как дикие, варварские, отсталые люди с безобразной внешностью, которые ведут исключительно кочевой образ жизни и не имеют «человеческих порядков».

По описанию И. Идеса, остяки обладали «неприятно плоскими» лицами и были не способны к работе и военным занятиям, прозябая в крайней бедности в своих жалких жилищах. Благодаря обилию пушного зверя и рыбы они могли жить значительно лучше, но «так ленивы, что нисколько не стараются добыть больше того, что им нужно, чтобы прожить зиму». Сходные оценки содержатся в сочинении А. Бранда: нет на свете более ленивого и медлительного народа, чем

---

<sup>36</sup> Новицкий Гр. Указ. соч. С. 53-54, 59-60, 80-81, 92-94.

малорослые, невидные и жалкие остяки. Они бегут от работы, как от чумы, даже если полностью остались без средств существования<sup>37</sup>.

Еще более уничижительную характеристику И. Идес дает самоедам. Сам он в местах их обитания не был и рисует это население, вероятно, не столько по рассказам очевидцев, сколько отдавая дань традиционному взгляду европейцев на чуждую культуру жителей Севера. Внешний облик самоедов, согласно запискам путешественника, «чрезвычайно неприятный и скверный»: ростом они малы и приземисты, лица у них широкие, носы приплюснуты, рты большие, губы обвислые, глаза неприятные, словом, «более некрасивого народа нет на свете». Несмотря на обилие рыбы и дичи, они едят всякую падаль, ибо «слишком ленивы», чтобы воспользоваться дарами природы. Ко всему прочему, самоеды женятся на кровных родственниках и верят «дьявольским фокусам» колдунов. И если внешне, по заключению посла, они хоть в чем-то походят на людей, то разумом и повадками больше напоминают животных<sup>38</sup>.

Богатство фактического материала и пересмотр ряда устаревших воззрений прежних «земнописателей» в записках путешествия Н. Спафария сочетаются с традиционными богословскими взглядами на происхождение народов. Так, прародителем остяков, по его трактовке, является сын Ноя – Иафет, а генеалогию монголов он вслед за средневековыми западноевропейскими авторами также возводит к библейским персонажам Гоге и Магоге<sup>39</sup>.

Обширные исторические экскурсы о происхождении калмыков и татар вошли в «Описание о сибирских народах» С.У. Ремезова. Интерес автора к вопросам первородства, полное доверие преданиям и легендам ближе к традиционным летописным сюжетам о полумифических родоначальниках, чем к последующим научным разработкам проблем этногенеза. Излагая две различные версии происхождения калмыков (от

---

<sup>37</sup> Идес И. и Бранд А. Указ. соч. С. 100, 113-114.

<sup>38</sup> Там же. С. 269-272.

<sup>39</sup> Спафарий Н. Указ. соч. С. 83, 128.

индийских зайсанов времени А. Македонского и от амурского хана эпохи Чингисхана), он не предпринимает попытки сопоставить или совместить эти суждения и определить их достоверность, а лишь стремится установить преемственность между легендарной и современной этнической номенклатурой<sup>40</sup>.

Не обнаруживает элементов критического анализа и раздел «Второго описания...» «о начале происшествия» татар, в котором тобольский писатель опирается на библейские догматы о разделении народов: «По Ремезову описанию о начале в Сибирской стране и начальство их ханов производится от персов и Вавилона... от различия языков и от столпотворения...»<sup>41</sup>. В данный раздел автор вводит также фольклорные генеалогические легенды о «великих ханах» Татаре и Сибири, что соответствует канонам средневековых исторических сочинений с их вниманием к полумифическим родоначальникам и внешним этимологическим совпадениям имени прародителя и названия народа (местности).

В сибирской историографии последней четверти XVII – начала XVIII в. сквозь толщу традиционных книжных стереотипов и мифологических сюжетов явственно пробиваются новые светские, реалистические характеристики сибирских аборигенов.

Так, непосредственное знакомство с жизнедеятельностью остяков заставило И. Идеса и А. Бранда дополнить образ «очень ленивого народа» не столь одномерными оценками. Страдая под бременем жестоких морозов, однообразного питания и притеснений со стороны пришлого населения, коренные жители, по описанию путешественников, подвержены болезням, порой гибнут в сильные холода и часто меняют местожительство в поисках более удобных и безопасных земель, но отличаются при этом бережным отношением к природе,

---

<sup>40</sup> Гольденберг Л.А. Статья С.У. Ремезова «О калмыках как весьма известном в Сибири народе» // Страны и народы Востока. Вып. XVIII. М., 1976. С. 228-233.

<sup>41</sup> Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. F – IV. Ф. 550. Д. 324. Л. 15 об.

выносливостью, умением быстро передвигаться на лыжах и никогда не нарушают своих клятв.<sup>42</sup>

«Второе описание Ремезова» также не сводит характеристику народов к какому-то одному параметру, например ясачному обложению, «зверообразности» культуры или религиозным воззрениям, а дает представление о различных сторонах жизнедеятельности коренных сибиряков. Общая оценка автохтонного населения тобольским автором, как правило, свободна от богословских штампов, обличительных эпитетов и обычных для литературных произведений XVII в. сравнений аборигенов с животными.

Таким образом, «Описание о сибирских народах» Ремезова заметно отличается как от документальных материалов с ярко выраженной практической направленностью или путевых росписей с их фиксацией преимущественно внешней стороны наблюдаемых явлений, так и тем более от богословско-обличительных сентенций ряда сибирских летописей. Перед нами итог целенаправленной работы по сбору и обобщению разнородного материала о коренном населении, что сродни исследовательским приемам изыскателей последующего времени. Не без основания, хотя и несколько категорично, М.О. Косвен назвал С.У. Ремезова «первым этнографом Сибири»<sup>43</sup>.

Вяения нового времени отчетливо проявляются в «Кратком описании о народе остячком» Г. Новицкого. По его представлениям, коренные сообщества Северо-Западной Сибири подчинялись исконным законам естественного права, под которыми он понимал «природное познание зла и добра». Именно следование естественным началам приносило в «простоту и беззаконие» жизненного устройства аборигенов «междоусобное друголюбие» и прочие «многия добродетели».

Миссионер сумел подметить рациональный характер обустройства обских угров, ведущих постоянную борьбу за

---

<sup>42</sup> Идес И. и Бранд. А. Указ. соч. С. 71, 73, 96, 101-116.

<sup>43</sup> Косвен М.О. Материалы к истории ранней русской этнографии (XII – XVII вв.) // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 1. М., 1956. С. 58.

выживание в суровых природно-климатических условиях Севера. Так, употребление сырой пищи было вызвано, на его взгляд, тем, что в ней лучше, чем в вареных или печеных продуктах, сохранялись полезные свойства. Даже пристрастие аборигенов к табаку он нашел целесообразное объяснение: с помощью курева из организма будто бы выводились накопившиеся в результате питания рыбой мокроты<sup>44</sup>.

Завершая рассмотрение русской историографии коренного населения Сибири последней четверти XVII — начала XVIII в., отметим, что в данный период, вероятно, зарождается исследовательский интерес и формируются элементы научного подхода к прошлому и настоящему коренного населения края. Вместе с тем, представляется недостаточно обоснованным тезис о «научном начале», к тому же достижим «высокого выражения» в русском народоведении конца XVII в., и тем более о планомерном научном изучении Сибири в это время<sup>45</sup>. Возможно, что дальнейшая разработка терминологического аппарата современной отечественной исторической науки и, в частности, выявление возможных предметных и временных рамок понятия "историописание" поможет более адекватному отражению историографических явлений. Важно, на наш взгляд, чтобы терминология учитывала такую особенность исторических текстов, как взаимосвязь представлений о прошлом и настоящем, когда ситуация "здесь-и-сейчас" порождает проблему "там-и-тогда"<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Новицкий Гр. Указ. соч. С. 51.

<sup>45</sup> Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер как историк Сибири. С. 7; Косвен М.О. Указ. соч. С. 67.

<sup>46</sup> Зубова И.Л. Современное состояние исторической науки: о некоторых результатах поиска новых парадигмально-методологических ориентаций // Фигуры истории, или "общие места" историографии. Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. СПб., 2005. С. 58.

## **Практики историописания и зарождение исторической науки в культуре Дона первой половины XIX века**

Понятие «историописание», характерное для исторической науки разных стран Европы и известное под названиями «historical writing», «Geschichtsschreibung» и под другими понятиями, стало за последнее время распространяться в отечественной исторической мысли. Это не случайно. Культурно-историческая ситуация постмодернизма открыла путь к историческим штудиям разного рода любителям истории, генеалогии и иных общих и специальных исторических дисциплин значительно шире, чем это было ранее.

Подобный вызов представляет собой весьма серьезное и широкомасштабное явление современной мировой культуры. В специфической же культурно-исторической ситуации постсоветского пространства он приобрел некоторые дополнительные характерные черты. Так, причины его возникновения определяются далеко не только исключительной толерантностью культуры постмодернизма, в которой за всякими историческими изысканиями, даже весьма сомнительного научного уровня, признается право на признание если не в качестве научного феномена, то полноценного и интересного явления духовной культуры общества. Системный кризис в стране в конце предыдущего века имел в качестве одной из его сторон многосторонний кризис отечественной исторической науки. Одним из его выражений стало распространение в обществе недоверия к научным трудам отечественных историков. В значительной мере оно обусловлено тем, что в общественном сознании историю наряду с другими науками социально-гуманитарного цикла сближали с идеологией вплоть до полного отождествления и считали своего рода выражением официоза, обращенного в прошлое. Едва ли есть сомнения в том, что определенные и даже весьма веские основания для подобных суждений отечественная историческая наука советского времени подавала. В самом деле, положения и выводы историков строились нередко не на основании анализа

источников и исторических фактов, но априорно, исходя из положений формационной метатеории. Несомненны также самые тяжелые последствия влияния «Краткого курса истории ВКП(б)» для формирования и исследования самой разнообразной исторической проблематики. Вместе с тем историческая наука советского времени имела существенные достижения и достигла значительных успехов в исследовании ряда проблем российской и зарубежной истории. О ее профессиональном уровне свидетельствовало умение понять и оценить достижения европейской историографии XX в., ее особый интерес к проблемам источниковедения и методологии исторических исследований, к исследованию проблем истории с позиций метатеорий, альтернативных по отношению к формационной метатеории. Наконец, об этом свидетельствовало наличие таких исследований, которые пользовались интересом не только в профессиональной среде, но и среди широкой читательской аудитории.

Вследствие претензий любительской истории в разных обликах на принципиальный пересмотр историографического наследия с критикой современной научной историографии возникла и непрерывно развивалась обстановка конфликта между этой историей и исторической наукой, в рамках которой признается не только необходимость теоретико-методологического обновления, но и ценность историографического наследия. В таких условиях более остро, чем прежде, встал перед научной историографией вопрос о смысловом наполнении терминологии, выражающей разные формы исторического познания и репрезентации исторических знаний. Прежде всего, связано это с необходимостью четкого отделения исторической науки в собственном смысле слова от псевдонаучных дискурсов, претендующих, тем не менее, на научность и распространяющих о себе мнение как о настоящей науке, выступающих под знаменем коренной ревизии положений и выводов всей прежней историографии. Это необходимо также для того, чтобы дать представление о существовании множества форм выражения исторической мысли и репрезентации исторических знаний, сложившихся в культуре человечества.

В связи с этим, как представляется, следует исходить из того обстоятельства, что есть основание для признания факта существования некой интегрирующей категории, которая способна объединить разные формы такого выражения и такой репрезентации. Ей может быть, как представляется, признана *история* как таковая. Однако в данном случае смысловое ее наполнение составляет *не историческая наука*, как это принято считать в обыденном сознании нашего научного исторического сообщества, но *история как одна из важных отраслей духовной культуры человечества*. Что касается исторической науки, то она занимает в этом дискурсе свое место, выделяясь целым рядом характерных признаков. Вместе с тем также следует иметь в виду, что история как форма духовной культуры человечества значительно старше, чем историческая наука, которая стала возникать лишь на определенной стадии развития культуры человечества и исторических знаний, но не раньше нового времени, когда возникает культурно-исторический феномен европейской науки вообще.

В рамках истории как формы духовной культуры человечества свое место занимает *историописание*. Оно составляет лишь одно из проявлений истории как формы духовной культуры, поскольку историческая мысль и историческое сознание вообще может быть выражено и репрезентировано в иных проявлениях культуры. К подобным проявлениям относятся *все неписьменные проявления*, такие, как устная история, выражение истории средствами искусства – через живопись, скульптуру и монументальное искусство и, наконец, через музыкальные жанры. Все неписьменные выражения исторической мысли и исторического сознания обладают весьма большой выразительностью. Они способны оказывать очень даже большое воздействие на эмоциональную сторону личности, к которой они обращены. Они могут воздействовать на конструирование и деконструкцию исторического сознания тех слоев населения, которые не способны воспринимать письменную культуру вообще или воспринимают ее лишь в самой слабой степени, которым не под силу понять смысл даже самого простого письменного исторического дискурса. Они способны втянуть в орбиту

исторической культуры эти слои населения, и в этой связи несомненна их огромная социокультурная роль в смысле приобщения к культурно-исторической идентичности определенного сообщества. Вместе с тем, совершенно очевидно, что важнейшую роль в выражении исторического сознания и исторической мысли играют *письменные формы истории, или историописание, выраженное средствами языка письменной речи.*

В свою очередь, историописание как понятие, интегрирующее все проявления исторического сознания и исторической мысли в его письменном виде, весьма многозначно. С этим обстоятельством столкнулась современная историография, мировая культура нашего времени вообще. Формами его проявления были, прежде всего, труды историков, а также произведения литературы и публицистики. К историописанию также относились произведения на исторические темы, создававшиеся для разных целей лицами, интересовавшимися историей. Наконец, начиная с нового времени в понятие историописания включились труды историков, представлявшие собой зарождавшееся научное исследование определенных проблем прошлого человечества и его культуры. В этой связи, помимо проблемы научной характеристики историописания как понятия и как феномена культуры, возникла по существу родственная ей проблема научной характеристики *историка* как особой личности и как феномена культуры разных эпох. Это предполагает определение его специфики по отношению как к любителю истории, так и к представителю иного научного знания, уверенного в своих способностях вести научное историческое исследование, но не владеющего ни достаточными основами знания, ни основами методологии истории. Вместе с тем это предполагает установление соотношения между такими понятиями, как «историк» и «историописание». Это необходимо постольку, поскольку на пути понимания адекватного такого соотношения имеются определенные сложности, связанные с учетом особенностей общей и историографической культуры, в которых реализовывалось историописание в виде определенного произведения. Так, для современной культуры невозможна

характеристика в качестве историка такого представителя историописания, который незнаком с теорией и методологией истории, с научной характеристикой источника и исторического факта, который лишь относительно знаком с историографией и лишь понаслышке знает историю исторической науки и профессиональные традиции цеха историков. По существу, право именованья историком осталось в современной культуре за профессионалом, создателем научного исторического текста, или за таким пришельцем в профессиональную среду историков со стороны, который овладел основами исследовательской деятельности, охарактеризованной М.Блоком как «Ремесло историка».

Очевидно вместе с тем, что такое положение существовало не всегда. В каждой конкретной культуре оно находилось в зависимости от общего уровня ее развития и уровня развития в ней представления об историческом знании и его репрезентации. Так, было бы совершенно несправедливо отрицать право считаться историками для создателей письменных исторических дискурсов таких периодов, когда история как научная дисциплина еще не сложилась, или когда только лишь намечались отдельные ее признаки. Культура древности и средневековья, когда еще не было понятия об исторической науке в смысле культуры нового времени, знает, тем не менее, целый ряд исключительно ярких личностей, труды которых стали достоянием мировой исторической мысли. Вместе с тем и в новое время, в условиях становления традиции научной историографии в культурах разных сообществ, в качестве историков могут рассматриваться авторы дискурсов по исторической тематике, которые имеют лишь отдельные признаки научного исследования. Такие историки являлись авторами трудов XVIII-XIX вв. на темы российского прошлого в целом или прошлого отдельных регионов России. Крупнейшим из трудов такого рода был труд купца И.И.Голикова «Деяния Петра Великого». Примером подобного труда по истории Дона было сочинение инженер-генерал-майора, строителя крепости

святого Дмитрия Ростовского А.И.Ригельмана<sup>1</sup>, представившего первое систематическое изложение истории донского казачества. По-видимому, в этой связи стоит вопрос о критериях, на основании которых авторы подобных трудов рассматриваются в качестве историков. Во всяком случае, в них должны быть представлены некоторые существенные черты научной историографии. В частности, к ним могут относиться такие черты, как новизна и оригинальность постановки проблемы и выражение в них проблемной ситуации, наличие полной и репрезентативной базы источников и исторических фактов, подчинение авторских выводов законам логики исторического построения и выражение в них выявленного исследователем фактического материала, и, возможно, некоторые другие черты. Очевидно также, что подобные труды не могут отождествляться с научными историческими исследованиями также в силу ряда признаков и, в частности, в связи со значительной долей авторской субъективности в ущерб типичному для всякого научного исследования объективному началу. Во всяком случае, видимый отпечаток авторской субъективности в отношении Петра Великого в полной мере сказывается на труде И.И.Голикова<sup>2</sup>, поскольку в нем был создан глубоко мифологизированный апологетический образ царя. Идеализация донского казачества присутствует в сочинении А.И.Ригельмана, долгие годы служившего на Дону, сблизившегося с верхушкой Войска Донского, хорошо знавшего черты внутренней жизни и быта казаков и не скрывавшего своего восхищения их воинской доблестью.

Представляется, что четкое определение понятие историописания имеет большое значение для ряда проблем философии и методологии истории. Это такие, как соотношение и различия между разными способами и уровнями исторического знания и его репрезентации, как природа источника и исторического факта, как значение верифицируемого исторического знания, методы его

---

<sup>1</sup> См.: Ригельман А.И. История о донских казаках. Ростов-на-Дону, 1992.

<sup>2</sup> См.: Мезин С.А. Русский историк И.И.Голиков. М., 1991.

верификации и научная природа такого знания. По-видимому, это также проблема распространения научного исторического знания в обществе с противостоянием историческим мифологемам массового сознания, которые, как правило, поддерживаются историописанием, не относящимся к научному знанию. В этом, как кажется, состоит главная причина популярности подобных образцов историописания на исторические темы в определенной этносоциальной среде. Так, например, едва ли удивительно, что на Дону, в казачьей среде, пользуются популярностью всякого рода сочинения, в которых содержатся рассуждения на тему исключительно древнего происхождения казачества. При этом уровень научности таких сочинений читающая публика, интересующаяся местной историей, но не имеющая представления о научном историческом исследовании, определить неспособна, особенно тогда, когда в такого рода сочинениях содержатся внешние атрибуты научности, ссылки на какие-то источники и на труды историков и т.д.

Но если в культурно-исторической и в историографической ситуации наших дней проблема идентификации культурного феномена историописания и соотношения его с научным историческим дискурсом значительно обострилась, то это не значит, что подобная проблема не возникала ранее. По существу, проблема научности исторического исследования и отличия его от сочинений по истории ненаучного характера и содержащих «баснословия», возникала с самого начала исторической науки нового времени. Возникла она и в тех культурах, где практика историописания только зарождалась. Это относится и к культуре донского казачества, в которой историописание стало появляться с XIX в., если не считать повестей XVII в. об азовских событиях 1637-1641 гг. Но эти повести остались лишь феноменами культуры своего времени. На донскую историографию позднейшего времени они не оказали влияния, или же это влияние было минимальным.

Во второй половине XVIII в. на Дону возник первый исторический труд, посвященный истории донского казачества. Автор его, А.И.Ригельман, являлся посторонним на Дону

человеком. Но этот труд не был в стороне от развития донской казачьей культуры, поскольку его автор был связан с генералитетом и высшим офицерством Войска Донского и в определенной степени подвергся воздействию его культуры. На становление донской историографии, впрочем, этот труд не оказал какого бы то ни было влияния и по существу до середины XIX в. не был известен на Дону. В большей степени на этот труд обращалось внимание в ходе анализа проблем историографии донской истории.

Лишь в условиях романтизма и культурного подъема на Дону, вызванного активным участием казачества в войне против наполеоновской Франции, создалась такая предпосылка появления на Дону собственного историописания, как возрастание интереса к донской истории. Данное обстоятельство было общим для всей европейской культуры эпохи романтизма.

Этим интересом были порождены некоторые образцы исторических нарративов. Образцы подобного рода существуют до сих пор, что определяет интерес к подобным явлениям в свете современной дискуссии об историописании. Так, одним из них была изданная в 1814-1816 гг. в Харькове «История о Донском Войске» директора войсковых училищ А.Г.Попова<sup>3</sup>. Этот первый труд по истории Дона, созданный в культуре казачества, отличается некоторыми характерными чертами псевдонаучного дискурса, дошедшими отчасти до наших дней. Одно из них – наличие в книге утверждений, не опирающихся на данные источников, как, например, заявление о происхождении донского казачества от амазонок. Другое – соответствие положений и выводов историописателя основополагающим сторонам массового исторического сознания, заполненного мифологемами на темы прошлого. Это касалось мифа о глубокой древности казачества и о нерусских его этнических корнях. Наконец, некритическое восприятие трудов некоторых предшественников, которые соответствуют воззрениям историописателя. У А.Г.Попова это выразилось в

---

<sup>3</sup> См.: Попов А. История о Донском войске. Харьков, 1814-1816. Кн.1, 2.

том, что он приводил без ссылок целые пассажи из более раннего труда по истории Азова Г.З.Байера, изданного впервые еще в 1734 г., затем переизданного Н.И.Новиковым и известного новочеркасскому директору<sup>4</sup>. Впрочем, в то время не сложилось определенного понятия об авторском праве, а также о плагиате и о его недопустимости. Не случайно сочинение Попова было признано неудачным и подвергалось в донской историографии более позднего времени острой и вполне справедливой критике, а отчасти стало для некоторых историков объектом иронии и сарказма. Прежде всего, это относится к прямому утверждению Попова о происхождении донских казаков от амазонок, которое автор и не пытался обосновывать какой бы то ни было ссылкой на источники, причем, несомненно, и не мог бы найти в них материала для доказательства этого утверждения.

Другим образцом было сочинение есаула Е.Н.Кательникова по истории своей родной станицы Верхнекурмоярской, законченное в 1818 г.<sup>5</sup> и представлявшего яркий образец локальной истории. Труд талантливого грамотного казака-самоучки содержал исключительно интересные сведения по истории станицы. Ценность труда есаула состояла, в частности, в том, что им была показана повседневная жизнь станицы. Это относится к повествованию о выборах станичных атаманов, о проведении станичного суда, о полевых и сенокосных работах казаков. Особый интерес представляют некоторые эпизоды, связанные с боевой жизнью станичников. В частности, это относится к рассказу о поездках казаков на соляные озера в верховьях реки Маньч за солью. Поездки представляли собой в изложении Кательникова целые военные экспедиции, поскольку в ходе их казакам приходилось отбиваться от возможных нападений со стороны ногаев, горских черкесов и калмыков. Подобные поездки представляли собой в

---

<sup>4</sup> См.: Байер Г.З. Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова, от создания сего города до возвращения онога под Российскую державу. СПб., 1782.

<sup>5</sup> См.: Кательников Е.Н. Исторические сведения Войска Донского о Верхне-Курмоярской станице, составленной из сказаний старожиллов и собственных примечаний, 1818 года декабря 31 дня. Новочеркасск, 1886.

XVIII в. распространенное явление в жизни не только станицы Верхнекурмоярской, но и других донских станиц. Поэтому в изложении Кательникова становится ясно, как даже при проведении обычных хозяйственных работ казакам приходилось поддерживать постоянную боевую готовность. То же самое относится к рассказу Кательникова о том, как ехавший с полевых работ казак благодаря знанию местности и меткой стрельбе сумел отразить нападение целой группы калмыков. Так на ярких примерах повседневной жизни казаков своей станицы есаул высокий уровень боевых навыков донского казачества, которые им приходилось нередко использовать в домашней и хозяйственной жизни.

Тесно связанный с жизнью своей станицы и активно участвовавший в проводимых в ней общественных мероприятиях, в частности, в строительстве новой церкви, есаул был также не менее тесно связан с культурой своей эпохи в целом. Этому способствовало наличие у него богатой библиотеки, а также знание им французского, немецкого и польского языков, что видно по данным его послужных списков, заводившихся на него как на офицера Войска Донского. Во всяком случае, культура эпохи Просвещения способствовала формированию у него как у автора исторического труда стремления к логичности и доказательности изложения. Культура романтизма начала XIX в. сказалась на его труде в том, что в нем проявлялось стремление автора к познанию исторических предпосылок возникновения и развития казачества вообще и своей станицы, в частности. Кроме того, она сказывалась в том, что Кательников высоко ценил народные предания, распространенные среди казаков его станицы и хорошо осознавал их историческую и культурную значимость. Это сказалось на передаче им в своем сочинении по истории станицы содержания этих преданий. Он излагал их не только очень подробно, но и со всеми историческими неточностями, которые встречались в них. Так, передавая бытовавшее в его станице казачье предание о пребывании на Дону Петра I, он не считал возможным опустить существенную историческую неточность, которая содержалась в нем, согласно которой царь будто бы осаждал крепость Таганрог. При этом сам он хорошо

знал, что Петр I во время своего пребывания на Дону осаждал вовсе не Таганрог, который был только основан при нем, но турецкий Азов. В стремлении передать содержание источника со всеми его неточностями проявлялась проницательность его как историка своего времени, понимавшего особенности своего источника и всей содержащейся в нем информации как выражения духа той исторической эпохи, в которой он возник. Это в полной мере соответствовало понятию о духе исторической эпохи, способность выявления которого признавалась в первой половине XIX в. как очень важное профессиональное качество историка и было оформлено в качестве научной категории Н.И.Надеждиным как реальная историческая критика<sup>6</sup>.

Вместе с тем, есаул в полной мере был носителем массового исторического сознания, которым обладали станичники, со всеми его мифологемами. Это проявилось при освещении им некоторых сторон истории станицы. Так, например, при описании порубежного размежевания с лежавшей выше по Дону Зимовейской станицей возникали раздоры между казаками этих станиц. Согласно Кательникову, зачинщиками раздоров всегда выступали зимовейцы, которые «озорничали»<sup>7</sup>, тогда как казаки родной для историка станицы получались во всем его повествовании совершенно ни в чем не виновными. На этом повествовании лежал отпечаток наивности, характерный для восприятия прошлого в сознании широких слоев населения. Влияние исторического сознания земляков-станичников и казачества в целом особо проявилось в главе «Соседственные неприятели». Эта глава была посвящена отношениям казаков Верхнекурмоярской станицы с соседями, особенно с калмыками, которые он освещал с точки зрения казачества. По его словам, «калмыки, пришедшие из-за Волги и кочевавшие по самый Дон, набегами своими великое наводили беспокойство и вред»<sup>8</sup>. Он готов был подробно описывать

---

<sup>6</sup> См.: Пронштейн А.П. Источниковедение в России. Эпоха феодализма. Ростов-на-Дону, 1989. С. 298.

<sup>7</sup> Кательников Е.Н. Указ. соч. С. 12.

<sup>8</sup> Там же. С.26.

страдания казаков, захваченных калмыками в плен, которых «сажали на ночь в бурдюги, завязав их около шеи»<sup>9</sup>. Такие рассказы он вполне мог слышать от старожилов станицы. Но он ничего не говорил о том, в каких условиях содержали пленных калмыков его земляки. В этом выражалось яркое проявление наивного отступления от исторической объективности, характерное для народного исторического сознания, носителем которого был донской историк есаул Кательников.

Достоинства и недостатки этого труда с точки зрения исторической науки свидетельствуют, что уже в то время возникал вопрос о совмещении лучших трудов по локальной истории с формировавшимся в то время научным историческим дискурсом. При жизни Е.Н.Кательникова, сосланного по делу секты духоносцев на Дону и скончавшегося в ссылке на Соловецких островах в 1854 г., его история Верхнекурмоярской станицы так и не была издана. Издания последовали лишь после его смерти, во второй половине XIX в. В историографии труд Е.Н.Кательникова получил весьма высокую оценку.

Высшим достижением донской историографии не только первой половины XIX в., но и всего столетия в целом является труд «прикосновенного к заговору» декабристов В.Д.Сухорукова «Историческое описание Земли Войска Донского». Созданный в 20-х годах, этот труд даже по форме напоминал «Историю государства Российского» Н.М.Карамзина.

Авторский текст Сухорукова, как и текст великого историографа, весьма напоминал произведение литературы. Большое научное значение имели подстрочные примечания, содержавшие обширные выписки из источников. Они, по существу, впервые знакомили формирующуюся отечественную историческую науку, русского и донского любителя истории казачества с источниковой базой по истории Дона XVI – начала XVIII вв. и с фактами этой истории.

В качестве существенной черты научного исследования в труде Сухорукова присутствуют несомненные признаки концепции донской истории. Эта концепция опирается на

---

<sup>9</sup> Там же. С.31.

представление о Войске Донском как о свободном сообществе, принципиально отличавшимся от несвободной внутренней России, в которой все слои населения были задавлены крепостничеством и самодержавной деспотической властью. В целом такой взгляд являлся основополагающим для исторического сознания донского казачества. Складывался он еще со времени существования самостоятельного Войска Донского в XVII в., нашел отражение в казачьих повестях о взятии Азова в 1637 г. и Азовском осадном сидении 1641 г. и сохранился в нем и в дальнейшем, когда начался процесс политического слияния Войска Донского с Россией, окончательно завершившийся при Петре I.

С этим основополагающим представлением было связано, во-первых, положение о происхождении донского казачества не от разбойников, но от людей, уходивших из России в поисках вольности, от слияния «северной отваги и восточного удалства»<sup>10</sup>. Это положение носило дискуссионный характер. Оно было противопоставлено широко распространенному взгляду на казачество, распространенному в России и восходившему к взгляду на казачество как на разбойное и противогосударственное сообщество, появление которого было связано еще с участием казаков в событиях Смуты начала XVII в. и в Разинском восстании. Во-вторых, Сухоруков поддержал выдвигавшееся в российской историографии положение о русском происхождении донского казачества, которое высказывалось в конце XVIII в. И.Н.Болтиным. По его словам, «то, что казаки действительно произошли от русских, ... есть такая истина, которая ни малого противуречия не терпит»<sup>11</sup>. В-третьих, В.Д.Сухоруков всячески подчеркивал наличие в рядах казачества представителей самых разных народов. Он указывал, что донское казачье сообщество составлялось «из людей разных стран России и части азиатцев»<sup>12</sup>. При этом особенно значительной была, по его мнению, роль тюркского элемента в

---

<sup>10</sup> Коршиков Н.С., Королев В.Н. От издателя // Сухоруков В.Д. Историческое описание Земли Войска Донского. Ростов-на-Дону, 2001. С.16.

<sup>11</sup> Сухоруков В.Д. Указ. соч. С.37.

<sup>12</sup> Там же. С.36.

формировании казачества на Дону и указывал на разностороннее влияние татар на их образ жизни и культуру. Выражалось это, согласно Сухорукову, начиная с происхождения слова «казак», которое, как подчеркивал историк, само по себе «есть татарское»<sup>13</sup>. Он обращал внимание на то, что в рядах казачества было в XV-XVI вв. «много татар». Сами они были известны как азовские, или ордынские, казаки, а «их вожди имели наименования татарские»<sup>14</sup>. В-четвертых, Сухоруков определил характерные черты социокультурного облика казачьего сообщества. Казачество, по его выражению, «связывается духом братства, любовью свободы, одинаковым промыслом, взаимными нуждами и необходимостью защиты в местах диких, незаселенных». Шли в эти сообщества те, кто искал «любимую вольность»<sup>15</sup>. В-пятых, это было положение о существовании на Дону «независимой и сильной республики»<sup>16</sup> донских казаков. Она существовала, как считал Сухоруков, начиная еще с XV-XVI вв. вплоть до реформ Петра I, когда Дон был включен в состав России.

При жизни В.Д.Сухорукова, сосланного за связь с декабристами на Кавказ и умершего после возвращения из ссылки в 1841 г. в Новочеркасске, его труд так и не был издан. Первое издание этого труда в двух томах имело место только в 1867-1872 гг., а второе в 1903 г., причем оба издания выходили с исправлениями, внесенными после ссылки автора. Позднейшими историками труд В.Д.Сухорукова оценивался как выдающееся достижение донской и российской историографии. Его высокие достоинства стали причиной неоднократного его переиздания в конце XX – начале XXI вв., причем на основе первоначального авторского текста, который не был исправлен по разным причинам в позднейшее время без участия автора.

Между тем, материалы Сухорукова по истории Дона после его командирования в Отдельный Кавказский корпус в 1827 г. за близость с декабристами оказались в руках его сотрудников,

---

<sup>13</sup> Там же. С.35.

<sup>14</sup> Там же. С.39.

<sup>15</sup> Там же. С.36.

<sup>16</sup> Там же.

среди которых был межевой чиновник В.М.Пудавов, получивший в 1849 г. за беспорочную службу чин полковника. Значительный интерес к истории Дона сочетался у него с идеализацией внутренней жизни казачества и его быта, а также с религиозностью, монархизмом и ярко выраженным консерватизмом в духе теории официальной народности и наиболее реакционных сторон славянофильства. Близость с Сухоруковым в период его работы на Дону над историей казачества, по оценке современного исследователя жизни и трудов Пудавова, «не отразилось на мировоззрении и трудах» этого историка<sup>17</sup>.

Как для историка донского казачества, для Пудавова было характерно стремление понять прошлое казачества и особенности его культуры в контексте мировой истории. Он исходил при этом из идеи принципиальной противоположности между западноевропейским и восточноевропейским миром, выражение которого он видел в славянстве. Оба мира строились на глубоко противоположных основаниях. Если первое строилось на рациональном начале, то второе – на началах веры и духа. В качестве еще одного мира, противостоявшему славянскому, восточноевропейскому миру, Пудавов выделял мир ближневосточный, или исламский. При этом, как отмечал Пудавов, в этом противостоянии казачество занимало особое место. По его словам, это была «вышедшая из глубины ... славянской природы сила исторического движения, какой нет в западных государствах»<sup>18</sup>. Телеологизм в осмыслении истории, характерный для исторической мысли XVIII-XIX вв., Пудавов выразил в отношении казачества. По его мнению, «казачество ... явилось в область истории для великой, мировой цели: сдержания на Востоке Европы равновесия в окончательном средневековом духовном разграничении человечества нового по трем таинственно-преобразовательным началам: православию,

---

<sup>17</sup> Савчук Г.В. Василий Михайлович Пудавов – забытый историк донского казачества // Донской временник. Год 2004-й. Краеведческий библиотечно-библиографический журнал. Ростов-на-Дону., 2003. С. 161.

<sup>18</sup> Пудавов В.М. История войска Донского и старобытность начал казачества. Новочеркасск, 1890. Вып.1. С.1.

латинству и исламизму». Выражалось это, как он подчеркивал, исторически, «вольною двухвековою борьбою казацкою за православие с латинством и исламизмом»<sup>19</sup>.

Определив таким образом место казачества в мировой истории, Пудавов представил собственное видение общей картины будущих судеб человечества вообще и России вместе с казачьим Доном, в частности. Картина поражала своими масштабами. На первый взгляд кажется, что донской межевой чиновник поднимается до уровня философа и мыслителя. Он указывал, что состояние борьбы Запада и Востока Европы продолжается. При этом Запад является якобы местом сосредоточения «эгоистического духа», противостояние которому со стороны России будто бы выстраивается «на нравственном могуществе народности, которая создала людей, умеющих побеждать самих себя»<sup>20</sup>. Несомненно, что под такими людьми Пудавов имел в виду казачество. Вместе с тем такая картина мира не была сконструирована им. Она до мелочей напоминала представление об истории человечества, о современном мироустройстве и о перспективах мирового развития, которое сложилось в рамках теории официальной народности, а также было распространено в славянофильской общественной мысли. Рассуждения Пудавова об иранской и туранской основах европейского мира напоминают положения А.С.Хомякова об иранском и кушитском началах истории, культуры и религии разных народов<sup>21</sup>.

Вклад Пудавова в развитие славянофильской картины мировой истории и создания ее своеобразного донского казачьего варианта состоял во-первых, в том, что он нашел в ней место для казачества. Во-вторых, не менее важным его вкладом было некоторое изменение представления о русской истории и культуре, которое имело место в ней. Так, с точки зрения Пудавова, основы русской жизни вовсе не противостояли западноевропейским началам. Он подчеркивал, что подобные

---

<sup>19</sup> Там же. С.90.

<sup>20</sup> Там же. С.91.

<sup>21</sup> См.: Хомяков А.С. Семирамида (Исследование истины исторических идей) // Он же. Сочинения в 2-х т. М., 1994. Т.1. С. 215, 274.

начала были внесены на Русь варягами вместе с «идеєю западного эгоистического господства, средневековой дружинной формы»<sup>22</sup>. Им, считал Пудавов, противостоял строй, существовавший в Хазарии и также оказывавший воздействие на политическое развитие Руси и культурно-нравственное состояние ее народа. В результате, подчеркивал он, на русской почве произошло противостояние двух политических начал – «варяжского федеративного и хазарского царевщинного», причем последнее развивало «дух монархии, централизации». Им соответствовали две общественные и культурно-нравственные основы русской жизни – «вотчинничества, собственничества» и вторые, которые выражались «в чувстве обобщения, слияния с сословностью земскою». Носителями первой выступали высшие классы русского общества, тогда как вторая выражалась в народной жизни. Что касается казачества, то оно, согласно Пудавову, выступало носителем земского начала. На этом основании Пудавов давал объяснение известным по источникам выражениям «неприязни вельможества и вотчинного боярства к казачеству», поскольку «старинные казаки Дона, в службе своей отечеству и царю, называли себя, перед боярами, "не лакомцами на свете"»<sup>23</sup>.

Пудавов подчеркивал, что казаки связаны происхождением и общностью основ политического устройства, духовной жизни и культуры с более ранним населением степного мира. По его словам, «казак – тоже, что царский скиф (сколот), алан, хазар». Это же «имя монументальное восточного славянского мира, – имя славян-братчиков (товарищеского) вольного самопожертвования». В существовании этих сообществ он усматривал выполнение исторической миссии «воссоздания всемирной державы», противником которой являлось «средневековое рыцарство, порожденное на почве иранской»<sup>24</sup>. Оказывалось, что казаки как представители туранства и носители высокого духовного начала человечества противостояли западному миру, в котором еще с рыцарских

---

<sup>22</sup> Пудавов В.М. Указ. соч. С. 88.

<sup>23</sup> Там же. С.89.

<sup>24</sup> Там же. С.90.

времен господствовали начала «собственничества», но не братства по духу.

Основываясь на подобном взгляде на мировую и отечественную историю, на место в ней казачества, Пудавов не соглашался с празднованием в 1862 г. «тысячелетия России». Он подчеркивал, что «совершавшееся на наших глазах тысячелетие России есть не первое, но второе тысячелетие ее и не сага о Рюрике». На этом основании им выражалось недовольство исторической наукой, развивавшейся в России. Не без пафоса он провозглашал, что историки должны создать новую историческую науку, «согласную с преданием, отменитую от критики западного духа и по ней воссоздать историю достойную народа русского, имеющего и в минувшем, и в будущем великое значение для всей семьи человечества»<sup>25</sup>.

Возможно, что сам Пудавов хотел показать образец подобной истории. Однако фактически его история Войска Донского оказалась лишь в роли иллюстрации к его схеме развития человечества, в которой казачество заняло центральное место. Глубокая его вера в исключительность роли казачества в жизни России в прошлом и в то, что оно может послужить основой для будущего единения человечества на основах традиций духовности и братства вполне сочетаются с особенностями его литературного стиля. «Напыщенно-ораторское произведение»<sup>26</sup>, – так характеризовал сочинение Пудавова специалист по истории и историографии донского казачества П.П.Сахаров. Научного значения в нем он не усматривал. Присоединяясь к мнению Сахарова, можно, однако, отметить, что предпосылкой для любых попыток философского осмысления истории является определенный уровень накопленных исторических знаний, которыми Пудавов как сорудник Сухорукова, несомненно, обладал.

Таким образом, в первой половине XIX в. на Дону сложилось несколько разновидностей историописания. В

---

<sup>25</sup> Там же. С.91.

<sup>26</sup> Сахаров П.П. Развитие историографии вольного русского казачества (Критико-библиографический очерк). Рукопись // Ростовский областной музей краеведения. Ф. 2. Оп. 5. Д. 1/15. Л. 12.

научном отношении они были явно неравнозначны. На уровне науки своего времени оказался труд В.Д.Сухорукова «Историческое описание Земли Войска Донского», в котором имело место не только описание, обозначенное в заголовке, но и постановка проблемы, анализ источников, установление исторических фактов и четко выраженная концепция донской истории. Научная значимость этого труда осознавалась на Дону и в России, и поэтому уже после смерти автора оно выдержало целый ряд изданий. Существенные элементы науки своего времени содержатся в труде есаула Е.Н.Кательникова, посвященном истории станицы Верхнекурморьярской и неизменно получавшем высокие оценки в трудах позднейших историков. В нем имеет место четкая постановка проблемы, понимание автором актуальной для своего времени проблематики по донской истории, видение им источниковой базы и понимание ценности источника. Вместе с тем, на содержании труда есаула заметно влияние массового исторического сознания, носителем которого была казачья среда в целом и земляки – станичники Кательникова, в частности. Поэтому сочинение Кательникова отчасти относится к формировавшейся на Дону научной историографии, а отчасти – к оригинальному и интересному выражению особенностей исторического сознания казачества своего времени. Труд полковника В.М.Пудавова отличается тем, что является наглядным примером использования автором знания донской истории для распространенных в культуре того времени грандиозных философских построений. Такое построение имело для донского сообщества того времени существенную значимость. Оно обосновывало место казачества в мировой истории и помогало ему определить собственную идентичность, который решался Пудавовым с позиций консерватизма и под воздействием философии истории славянофилов. Однако к исторической науке труд Пудавова не имел отношения. Сведения из источников и исторические факты интерпретировались в нем в угоду умозрительной философской метатеории, отводившей казачеству решающее место в мировой истории и ставившей его в фокус международных отношений. Наконец, в самом раннем в донской историографии труде по

истории казачества, составленном А.Г.Поповым, содержится образец исторического сочинения любителя истории и в то же время носителя корпоративного исторического сознания, которым обладало донское казачество. В подобных трудах содержится немало априорных утверждений, и научного значения они не имеют.

Вместе с тем, все отмеченные труды, созданные на Дону в первой половине XIX в., выражали исторические взгляды своих авторов. Термин «историописание» является интегрирующим для них, поскольку все они имели письменную форму. Но обобщающий для этих исторических произведений термин предполагает необходимость всестороннего учета в его рамках качественных различий между отдельными историческими трудами донских авторов.

Само разнообразие исторических дискурсов в донской историографии первой половине XIX в. свидетельствовало о том, что проблема разграничения между научным и любительским трудом, между историческим исследованием и историописанием ненаучного характера выдвигалась на повестку дня. Выдвигалась также необходимость принятия обобщающего термина, который позволил бы представить письменные сочинения по истории Дона как единый культурно-исторический феномен и анализировать его как в целом, так и в отдельных и качественно различных его проявлениях. Но в то время такая необходимость скорее ощущалась историками на бессознательном уровне, но не на уровне научной рефлексии. Такая рефлексия была в то время делом будущего. Отличие современной культурной и историографической ситуации от ситуации эпохи романтизма в том, что необходимость в подобном термине осознана частью научного исторического сообщества. Поэтому время для введения в научный историографический оборот обобщающего термина «историописание» уже наступило. Современная историография нуждается в четкой его научной идентификации.

## **«Материалистическое историописание» в исторической концепции Вальтера Беньямина**

Немецкий мыслитель Вальтер Беньямин (1892 – 1940) в своих исторических работах зачастую впервые не только обращался к непривычным, нетрадиционным для исторической науки своего времени темам, но и предлагал новые модели, методы и методологии для изучения как “своих” тем, так и типичных на тот момент для исторических исследований. Такой методологией можно считать методологию “материалистического историописания” (*materialistische Geschichtsschreibung*), которую Беньямин наиболее широко использовал и наиболее полно охарактеризовал в своей незаконченной работе о парижских пассажах XIX в. Это исследование, по словам редактора “Собрания сочинений” Рольфа Тидеманна, могло бы стать “ничуть не меньше, чем материальной философией истории XIX в., если бы было завершено”<sup>1</sup>.

Формулирование Беньямином принципов “материалистического историописания” было результатом его поиска альтернативы господствовавшим моделям исторического анализа, в частности позитивистской идеи прогресса. Уже в ранних размышлениях, относившихся к началу 20-х гг., мыслитель констатировал: “Время истории бесконечно в любом направлении и не заполнено в любой момент. Это означает, что у него нет возможности осмыслить ни одно отдельное эмпирическое событие, которое имеет важную взаимосвязь с определенным положением времени, в котором оно происходит. Время для эмпирического события является только формой, но

---

<sup>1</sup> Benjamin W. Das Passagen-Werk (Einleitung des Herausgebers) // Idem. Gesammelte Schriften. 7 Bände. Frankfurt/M., 1991. Band V. S. 11. Далее цитаты из произведений Вальтера Беньямина даны в тексте по собранию сочинений (Benjamin W. Gesammelte Schriften. 7 Bände. Frankfurt/M., 1991) и приведены в соответствии с принятой в работах о нем сокращенной формой (Gesammelte Schriften – GS) с указанием тома и страницы.

что важнее, не заполненной как форма... Время истории определяет значительно больше, чем возможность пространственных изменений определенной величины и закономерности – как например движения часовой стрелки – в течение синхронных пространственных изменений сложной структуры... Определяющая сила исторической формы времени ни одного эмпирического события не может быть полностью охвачена и ни в одном событии не может быть полностью собрана. Такое событие, которое в историческом смысле было бы совершенным, вполне является скорее эмпирически неопределенным, а именно идеей”<sup>2</sup>.

В ранний период научной деятельности Беньямин занимался историей искусства и через понимание ее природы постепенно продвигался к постановке проблемы формирования собственной концепции историописания. Рассуждая в этом русле во время работы над “Происхождением немецкой барочной драмы”, Беньямин отметил в одном из писем: “Нет никакой истории искусства. Несмотря на то, что для человеческой жизни связь происходящего во времени примерным образом не только причинно значима, но без такой связи в развитии, зрелости, смерти и других категориях человеческая жизнь не существовала бы и вовсе, к произведению искусства это относится совершенно иначе. По своей сути оно безисторично. Попытка вмонтировать произведение искусства в историческую жизнь, не открывает перспективы, ведущие в его внутренний мир, подобно тому, как это позволяет у народов взглянуть на поколения и другие существенные слои. В исследованиях нынешней истории искусства дело сводится всегда только к истории материала или истории формы, для которых произведения искусства представляют собой только примеры, как бы модели; при этом о самой истории произведений искусства речи совсем не идет”<sup>3</sup>. Эта мысль выражала скептический взгляд мыслителя на распространенный и общепризнанный в тот момент

---

<sup>2</sup> Benjamin W. Trauerspiel und Tragödie // GS. Band II. S. 134.

<sup>3</sup> An Florens Christian Rang, Berlin, 9.12.1923 // Benjamin W. Gesammelte Briefe. 6 Bände. Frankfurt/M., 1995-2000. Band II. SS. 391-392.

историцистский подход к рассмотрению прошлого. В письме Беньямин обратил внимание на то, что, лишь перестав располагать произведения искусства в вереницу сменяющих друг друга в процессе развития форм, можно достичь реального понимания сокрытых в них образов.

Суждение о “безисторичности” искусства, иначе говоря, об уникальности его произведений и о возможности понять через них уникальность времени, когда они были созданы, было тесно связано у Беньямина с критикой принципа историзма, представления об историческом развитии, об истории как цепи закономерно сменяющихся эпох. Критический взгляд на историзм, ставший составной частью исторической концепции Беньямина, привел мыслителя к острому неприятию теории прогресса. В свою очередь критика историзма, чаще всего понимаемого им в контексте идей позитивизма, служила основой для выработки методов изучения прошлого, а в широком смысле понимания механизма социальной памяти, характеристики его основных элементов и черт. В этом плане середине 30-х гг. в очерке об историке Эдуарде Фуксе Беньямин открыто противопоставлял две сферы научного знания в их отношении, например, к существованию технического прогресса, обращая внимание на то, что позитивизм “мог познать в развитии техники только прогресс естественных наук, но не регресс гуманитарных”, а в целом техника представляет собой комплекс “очевидно не чисто естественнонаучных фактов, но и наряду с этим исторических”<sup>4</sup>.

Мыслитель не отрицал вовсе определенной революционности идеи прогресса, однако “в XIX веке, когда буржуазия завоевывала собственные властные позиции, понятие прогресса должно было все больше и больше утрачивать свои критические функции, первоначально свойственные ему”: “Учение о естественном отборе имело в этом процессе решающее значение; в нем существенным было мнение о том, что прогресс осуществляется автоматически. Далее оно благоприятствовало расширению влияния понятия прогресса на

---

<sup>4</sup> Benjamin W. Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker // GS. Band II. S. 474.

всеобщую сферу человеческой активности”<sup>5</sup>.

Противоречивость идеи прогресса и необходимость критического взгляда на прошлое, который лежит в основе исторического материализма, Беньямин обосновал в исследовании о пассажах следующим образом: “Понятие прогресса в настоящий момент должно было противоречить критической теории истории, так как оно в качестве масштаба больше не приближало определенные исторические изменения, но должно было измерять напряжение между легендарным началом и легендарным завершением истории. Другими словами: как только прогресс становится сигнатурой хода истории *в общем*, его понятие вступает во взаимосвязь с некритическим гипостазированием вместо взаимосвязи с критической постановкой вопроса. Эта последняя взаимосвязь является заметной в конкретном историческом рассмотрении в том, что она привлекает внимание к регрессу, по меньшей мере, так же, остро очерчивая, как к какому-либо прогрессу”<sup>6</sup>.

Погружаясь в решение вопроса о специфике организации социальной памяти, Беньямин перестал со временем воспринимать “историчность” лишь в категориях историзма, предложив свое понимание, достаточно свободное от критики идей прогресса. Мыслитель замечал: “Историзм представляет вечный образ прошлого; исторический материализм – соответствующий опыт его изучения, который единственный в своем роде... он обращается к сознанию современности, которое взрывает континуум истории”<sup>7</sup>. В набросках к исследованию о парижских пассажах XIX в., относящихся к середине 30-х гг., он отмечал: “Пафос этой работы: нет никаких эпох упадка. Никакой веры в эпохи упадка. Так для меня (вне границ) и любой город прекрасен и также для меня не приемлемо вести речь о большей или меньшей ценности языка”.

---

<sup>5</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. S. 596.

<sup>6</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. S. 599.

<sup>7</sup> Benjamin W. Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker. S. 468. В работе о Фуксе, что также существенно для материалистического историописания, Беньямин отметил, что в качестве собирателя тот оставил собрания, которые «были ответом практика на апории теории» (Benjamin W. Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker. S. 469).

Для Беньямина “преодоления понятия «прогресса» и понятия «эпоха упадка»” были “лишь двумя сторонами одного и того же дела”<sup>8</sup>.

Беньямин как исследователь, занимавшийся проблемами методологии, в значительной мере интересовался именно технологией социальной памяти. Свою критику привычного механизма социальной памяти Беньямин также обосновывал его несправедливостью по отношению к значительной части прошлого, которая чаще всего замалчивается или же ей уделяется несоизмеримо мало места. Такой механизм социальной памяти представлялся Беньямину неизменным на всем протяжении истории человечества. Используя его в процессе сохранения прошлого, человек повторял одни и те же действия: разрушал созданное ранее и возводил на этом месте новое, помня лишь о руинах, но не о том, что стояло на этом месте. В законченной к 1940 г., но не опубликованной при жизни мыслителя работе “бодлеровского” цикла “Центральный парк” Беньямин заметил: “Ход истории, представленный понятием катастрофы, может претендовать на внимание мыслящего человека не больше чем калейдоскоп в руке ребенка, в котором при любом повороте все упорядоченное обрушивается, создавая новый порядок. Этот образ имеет свое обоснованное и законное право. Суждения власть предержавших всегда были зеркалами, благодаря которым воплощался образ некоего «порядка»”<sup>9</sup>.

Такой механизм социальной памяти в значительной мере свойственен, по мнению Беньямина, именно историзму. Его недостаток и даже пагубность мыслитель видел в том, что представления о прошлом и будущем, предлагаемые социальными слоями и классами, оттесненными на обочину общественной жизни или же потерпевшими поражение в борьбе за право определять ход истории, в расчет не принимались. То, что прежде он рассматривал лишь на примере традиционной парадигмы истории искусства, Беньямин распространял теперь на социальную историю в целом. Историзм, по его мнению, не

---

<sup>8</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. SS. 571, 575.

<sup>9</sup> Benjamin W. Zentralpark // GS. Band I. S. 660.

видел в культурных достояниях “не только старания великих гениев, создавших их, но и безымянный подневольный труд их современников” и лишь “устанавливал причинную связь между различными моментами истории”<sup>10</sup>. Изжившее себя, с точки зрения мыслителя, позитивистское представление об историческом прогрессе должно быть исключено из инструментария исторического материалиста. Оно не только препятствовало познанию прежних эпох, рассматривая их как менее развитые по сравнению с последующей, но и не позволяло оценить глубину и возможности их влияния на современность, так как подразумевало, что, перейдя к ней, человечество преодолевало прошлое безвозвратно.

Впрочем, это касалось не только проблемы глубины влияния прошлого, но и вопроса о проникновении в историю всего человечества, собственно ее понимания. Общество, удовлетворенное лишь описанием и в лучшем случае выстраиванием событий в одну сплошную линию, называемую “прогрессом”, по сути, не познавало историю, а лишь создавало удобный миф о собственном развитии, в котором отражались актуальное состояние общества, текущий политический момент, доминирование в нем определенных социальных групп, которым выгодна та или иная точка зрения на прошлое в тот или иной момент времени. У такого общества не могло быть полноценной исторической памяти, поскольку значительная часть прошлого не включена в воссозданную конструкцию, в реконструкцию минувших событий и явлений.

Одним из принципов “материалистического историописания” Беньямина является “деструкция”. Для материалистического историка “важно, строжайшим образом отличать конструкцию исторического положения вещей от того, что обычно называют его «реконструкцией». «Реконструкция» по сути – однослойна. Конструкция предполагает «деструкцию». В результате критического изучения прошлого не происходит воссоздания исторических событий, выстроенных в соответствии с теми или иными

---

<sup>10</sup> Benjamin W. Über den Begriff der Geschichte // GS. Band I. SS. 696, 704.

представлениями, а предлагается материал для созидания прошлого в ходе слома устоявшихся точек зрения: “Для того чтобы кусок прошлого коснулся актуальности, между ними может не быть никакой непрерывности”<sup>11</sup>. Допускается и то, что “деструктивный и критический момент в материалистическом историописании находит применение во взламывании исторической непрерывности, с которой первоначально конституируется исторический предмет. На самом деле в непрерывном течении истории предмет истории вообще можно было не визировать. И потому историописание издавна просто выхватывало предмет из течения непрерывности. Но это происходило без принципа, как паллиатив; и потому его первым делом всегда было вставить снова предмет в континуум, который им, в сущности, вновь создавался. Материалистическое историописание не выбирает свои предметы легкой рукой. Оно не хватает, но вырывает их из потока. Его мероприятия обширнее, его события существеннее”<sup>12</sup>.

Закономерный процесс смены одной эпохи другой отвергается таким научным подходом: “Деструктивный метод в материалистическом историописании можно понимать как реакцию на констелляцию опасностей, которая угрожает как передававшему, так и получающему передачу. Эта констелляция опасностей противостоит материалистическому историописанию; в ней состоит ее актуальность, в ней она должна оправдывать свою духовную современность. Такое историописание имеет целью, говоря словами Энгельса, выйти «из мыслительных сфер»”<sup>13</sup>. Иначе говоря, деконструкция<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. S. 587.

<sup>12</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. S. 594.

<sup>13</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. S. 595.

<sup>14</sup> Признанное за Жаком Деррида авторство термина «деконструкция» не исключает влияния на размышления французского философа работ немецкого мыслителя, хотя у Беньямина этот термин не звучал нигде. Такое влияние фактически признает и сам Деррида, раскрывая свой путь поиска французского перевода немецких *Destruktion* и *Abbau* и демонстрируя хорошее знание идей Беньямина, когда пишет: “Невозможная «задача переводчика» (Беньямин) — вот что также означает «деконструкция»”. Этот путь представлен в: Деррида Ж. Письмо к японскому другу // Вопросы Философии. 1992. № 4.

(именно так, на наш взгляд, можно представить выражение Беньямина “конструкция предполагает «деструкцию»”) способствует противостоянию материализма идеализму. Историк-материалист совершает разрушение старого ради созидания нового и с учетом прежнего, а не восстановления однажды рухнувшего на современной ему основе понимания.

Методику применения деконструкции Беньямин представил в одном из своих “мыслительных образов”, опубликованном в конце 1931 г.: “Деструктивный характер имеет сознание исторического человека, основным аффектом которого является неприступное недоверие к ходу вещей и готовность, с которой он в любое время берет на заметку то, что все может пойти наперекосяк... Деструктивный характер не видит ничего продолжительного. Но именно поэтому он везде видит пути. И там, где другие наталкиваются на границы и горы, он видит путь. Однако именно потому, что он везде видит путь, он везде должен очищать путь. Не всегда с грубой силой, иногда с облагороженной. Потому, что он везде видит пути, он себя самого ставит всегда на перекресток. Ни один момент не может знать, что принесет следующий. Существующее он превращает в развалины, не ради развалин, но ради пути, который проходит через них”<sup>15</sup>.

В этом же русле Беньямин размышлял над своеобразием исследовательской практики немецкого “историка и собирателя” Эдуарда Фукса и находил уже в его работах элементы “грядущего материалистического наблюдения”, называя Фукса “пионером” этого метода, как раз и позволившего историку стать собирателем. В эссе о своем предшественнике, которое Беньямин стал готовить в 1934 г, но опубликовал лишь в 1937 г., он указал и собственно на предмет подобного анализа прошлого, который “образуется не из клубка чистых фактов и положений дел, а из учтенной группы нитей, которые составляют вклад прошлого в текстуру современности”. Этот безусловный с точки зрения материалистического историописания вклад каждой эпохи “скорее совершенно диалектичен, [поскольку – Д.С.] на

---

<sup>15</sup> Benjamin W. Denkbilder. Destruktive Charakter// GS. Band IV. S. 398.

протяжении веков могут быть потеряны нити, которые актуальное течение истории снова хватает незаметно и резко”<sup>16</sup>.

Собирательство как искусство, с учетом уникальности каждой вещи, достигаемой путем “вырывания из потока” и “деконструкции” представляет собой важный элемент в технике “материалистического историописания” Бенямина. Отсюда столь большое внимание мыслителя к нему. По его мнению, именно для собирателя каждый сохранившийся предмет представляет собой ту нить, из которой состоит “вклад прошлого в текстуру современности”, и без этого картина прошлого если не рушится, то теряет многое для стремящегося к пониманию исторического материалиста. В своем известном эссе “Я распаковываю свою библиотеку”, опубликованном в летом 1931 г. Бенямин колоритно и образно высказался по поводу существа собирательства, назвав “собирателей людьми с тактическим инстинктом”, которые имеют с предметами своих собраний “самую глубокую связь”, материальность которой можно увидеть в том, что не предметы “оживают в них, а они обитают” в предметах<sup>17</sup>.

Однако методологические принципы собирательства как технологии рассмотрения прошлого Бенямин фактически сформулировал еще в одной из рецензий, опубликованной в 1930 г.: “Настоящая, совершенно непризнанная страсть собирателя всегда анархическая, деструктивная. Потому что ее диалектика том, чтобы соединить с верой в вещь, в единичное, скрытое у него, своенравный разрушающий протест против типичного, классифицируемого. Отношение собственности устанавливает полностью иррациональные акценты. Собиратель представляет мир в каждом своем предмете. И притом упорядоченно. Но упорядоченно в соответствии с ошеломляющими, даже непонятными простому человеку взаимосвязями. Помните же только, какое значение для любого собирателя имеет не только объект, но и все его прошлое, как

---

<sup>16</sup> Benjamin W. Eduard Fuchs, *der Sammler und der Historiker*. SS. 466, 479.

<sup>17</sup> Benjamin W. *Denkbilder. Ich packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das Sammeln* // GS. Band IV. SS. 391, 396.

принадлежащее ко времени его возникновения и существенного развития, так и детали из его внешней истории: прежние владельцы, себестоимость, ценность и т.д. Это все, научные, как и другие обстоятельства дела, соединяется для настоящего собирателя в каждом единичном предмете его собственности в магической энциклопедии, миропорядке, абрис которого представляет судьбу предмета. Собиратели – это физиогномики мира вещей. Необходимо наблюдать только то, как он обращается с предметами своей витрины. Почти не касаясь их руками, он кажется, словно маг, вдохновляется через них, глядит сквозь них в их даль”<sup>18</sup>. Такое понимание собирательства позволяет рассматривать его как часть общей концепции материалистического историописания.

Беньямин внимательно изучал примеры технологии собирательства у историков и у представителей других социальных наук, прежде всего самой социологии. По его мнению, социологи должны стремиться к овладению технологией собирательства для более глубокого изучения предмета своих исследований, поскольку прежде они были далеки от нее в период становления социологии и ставили целью выработку некой универсальной теории общества.

Но на рубеже 20-30-х гг. исследования, проведенные с помощью техники собирательства, стали появляться. Примером такого исследования стала для него работа Зигфрида Кракауэра “Служащие”. В очерке “Аутсайдер становится заметным” Беньямин высказался в том числе и о методе “мыслящего марксистски” Кракауэра, представив его именно как собирателя, “старьевщика”. Впрочем, результативность этого метода у самого Кракауэра, Беньямин, несмотря на его близость к марксистским идеям, оценивал скептически. По его мнению, “косвенное влияние является единственным, которое сегодня может оказать пишущий революционер из буржуазного класса”: “Прямая действительность может исходить только из практики”. Поэтому в работе Кракауэра Беньямин увидел прежде всего “опыт интеллектуала... прирожденного врага мелкого

---

<sup>18</sup> Benjamin W. Lob der Puppe. Kritische Glossen zu Max v. Boens “Puppen und Puppenspiele” // GS. Band III. SS. 216-217.

бюргерства, поскольку он сам постоянно должен преодолевать его в себе”. Кракауэр, по мнению Беньямина, не стремился сделать выводы из своих работ лозунгами для политической борьбы и оставался, по образному выражению Беньямина, “одиночкой”: “Старьевщиком в предрассветных сумерках, прокалывающем тростью речевые лохмотья и языковые клочья, чтобы ворча и упрямо, и немного спиваясь, бросать их в свои тачки, не без того, чтобы иногда иронично позволять упархивать в утренний ветер одному или другому из этих выцветших ситцев «человечности», «внутренней сущности», «углубленности». Старьевщиком в предрассветных сумерках революционного дня”<sup>19</sup>.

Старьевщик, кем отчасти является исторический материалист, не должен, по мнению Беньямина, пренебрежительно и даже негативно относиться к собранному “мусору”. Пример такого отношения он увидел в исследованиях Вернера Хегеманна, о чем и высказался в рецензии на его книгу, опубликованной в 1930 г. Беньямин полагал, что методологическая позиция Хегеманна изначально была наполнена политическим фанатизмом, отсюда и данная им ему характеристика как “якобинца сегодня”: “Этому соответствует методический пункт его работы. Политическое в смысле просвещения, хочется сказать насквозь критическое. Но ни в коем случае не разоблачающее. То, что всегда открывает Хегеманн – и его работа полна открытий – это случайности. Неприятные, неприличные, возмутительные отклонения от нормы, здравомыслия, но все же никогда не проявления особых, конкретных, скрытых констелляций исторического взгляда. Его представление – это единственно импозантная, в своих основных чертах определено неопровергающая корректура прагматического историописания, но она никогда не стремится к его перевороту, как исторический материализм, когда он выискивает в производственных отношениях эпохи конкретные силы изменений, определяющие поведение власть имущих без

---

<sup>19</sup> Benjamin W. Ein Aussenseiter macht sich bemerkbar. Zu S. Kracauer, “Die Angestellten” // GS. Band. III. S. 225.

их введома также хорошо, как и поведение масс”<sup>20</sup>.

Негативные оценки Хегеманном предмета исследования, следовавшие уже из названия его работы, по мнению Беньямина, не вполне соответствовали исторической реальности. Более того, подход сторонника просвещения, достаточно популярный в “веймарской” Германии, был неприемлем для мыслителя. Наряду с неприятием исключения из картины прошлого нежелательных моментов, революционным по сути для исторической науки, Беньямин выступал с предостережением от однозначно негативных точек зрения на исторически события и явления, которые рассматриваются как предметы революционных перемен: “То, что хотим уничтожить, нужно не только знать, нужно прочувствовать, чтобы основательно проработать. Или как говорит диалектический материализм: показать тезис и антитезис, это хорошо, но вмешаться сможет только тот, кто распознает точку, в которой одно переходит в другое, позитивное оказывается в негативном, а негативное в позитивном. Просветитель думает противоположностями. Требовать от него диалектики, возможно несправедливо. Но разве несправедливо, требовать от историка тот взгляд на облик вещей, который видит, кроме того, красоту в самом глубоком понимании? Негативное историческое познание – это бессмыслица. Ничто не свидетельствует больше о силе, страсти, даровании автора, чем то, что ему удалось в сердцевине невозможного создать произведение из этого изобилия и добротности. Ничто не удостоверяет неопровержимое его ранг”<sup>21</sup>.

Никто не имеет права на основе собственных знаний и представлений определять важность тех или иных страниц прошлого. С одной стороны, такие амбиции могут исходить от субъекта, чьи претензии также будут отвергнуты в будущем; с другой стороны, он, скорее всего, в своем стремлении найти единственно верное решение проблемы исторического развития,

---

<sup>20</sup> Benjamin W. Ein Jakobiner von heute. Zu Werner Hegemanns “Das steinerne Berlin” // GS. Band. III. S. 263.

<sup>21</sup> Benjamin W. Ein Jakobiner von heute. SS. 264-265.

не учтет существенные детали и явления прошлого, значение которых станет очевидным спустя определенное время. Потому, как писал Бенъямин в размышлениях о “деструктивном характере”, тот даже не склоняется к поиску “смысла” жизни, понимая, что “это был бы только тот, который лежит в разрушении разрушающего, что уже было бы больше, чем он надеялся”<sup>22</sup>.

Чтобы избежать такого “смысла”, необходимо учитывать также актуальный момент формирования представлений о прошлом, структуру роста внимания к историческим событиям. В работе о пассажах мыслитель отмечал: “Диалектический метод ведет речь о том, чтобы сделать справедливой конкретно-историческую ситуацию своего предмета. Но этого не достаточно. Потому что в той же мере речь идет о том, чтобы сделать справедливой конкретно-историческую ситуацию *интереса* к своему предмету. И эта последняя ситуация всегда определяющая в том, что преформирует себя в любом предмете, но прежде всего в том, что конкретизирует любой предмет в себе самом, постепенно чувствует переход из своего прежнего бытия в высокую конкретику насущного (пробужденного!) бытия”. В диалектическом методе, по мнению мыслителя, “можно было бы говорить о все большей концентрации (интеграции) действительности, в которой все прошлое (на данный момент) может содержать высокий градус актуализации, как в момент своего существования”. “Диалектическое проникновение и представление о прошлых взаимосвязях” становится для Бенъямина “пробой на истину для сегодняшних действий”: “Это означает: оно дает для вспышки взрывчатый материал, лежащий в минувшем. Подходить к минувшему так, не означает обращаться к нему как до сих пор историческим образом, но политическим, в политических категориях”<sup>23</sup>. Последнее замечание указывало на то, что господствовавший позитивистский взгляд на прошлое формирует ложное представление о свободном от политики

---

<sup>22</sup> Из архивных материалов: Benjamin W. Notizen über den “destruktiven Charakter” // GS. Band IV. S. 1001.

<sup>23</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. SS. 494-495, 495.

научном подходе к истории. Исследователь должен всегда учитывать не только актуальную ситуацию предмета своего исследования, но и критически оценивать свое собственное положение, не свободное от политических проблем и событий.

“Материалистическое историописание” Беньямина подразумевало особое критическое отношение исследователя как к собственным суждениям и оценкам, так и к оценкам действий объекта его изучения. Мыслитель настаивал, что они имеют “материальную” основу, материально обусловленные причины, которые и проявляют себя для людей, прежде всего, таким образом. Потому историк должен постоянно критически оценивать свои взгляды на прошлое и должен быть готовым к оценкам других, иначе может возникнуть нечто “вечное”, “реконструированное” на месте изученного прошлого. Поэтому, считал Беньямин, “деструктивный характер только делает работу, он избегает творимого”: “Как творец ищет себе одиночества, так разрушающий непрерывно окружает себя людьми, свидетелями его действий. Деструктивный характер – это сигнал. Также как тригонометрический знак подвержен ветру со всех сторон, он подвержен со всех сторон кривотолкам. Защищаться против этого ему – бессмысленно”. Бояться критики для себя, по мнению Беньямина, было противоестественно для деструктивного характера, так как он “знает только один лозунг: убирать площадь; только одну деятельность: освобождать место” и “его потребность в свежем воздухе и свободном пространстве сильнее, чем любая ненависть”<sup>24</sup>.

Критичность в данном случае отражает не только отношение собственно к объекту познания, но и положение самого субъекта познания. Поколение или отдельный человек в начале познания, пробуждаясь, находятся в критическом, напряженном состоянии, когда они начинают вновь глубоко и остро ощущать и воспринимать реальность. При этом, по мнению Беньямина, именно “материалистическое историческое описание ведет прошлое к тому, чтобы привести современность в критическое положение”. При этом мыслитель сравнил

---

<sup>24</sup> Benjamin W. Denkbilder. Destruktive Charakter. SS. 397, 396.

значение приобретенного в ходе этого знания с открытием творца гелиоцентрической системы мира Николая Коперника: “Новый диалектический метод истории презентует себя в качестве искусства, испытывать современность как мир пробуждения, с которым в истине соотносится то самое видение, называемое нами минувшим. Необходимо пережить минувшее в воспоминании о видении. Воспоминание и пробуждение используются самым тесным образом. Пробуждение является диалектическим, коперниковским поворотом в припоминаемое”<sup>25</sup>. Если раньше существующая реальность считалась свободной от влияния прошлого и на этой основе способной изучить историю, то теперь прежде, чем приступить к этому, нужно было освободиться от видений прошлого, пробудиться и открыть себе путь к их познанию, которое возможно как “осмысление припоминаемого”. Именно таким образом и разворачивается материалистическое историописание.

Начиная рассуждать о прошлом и ставя под сомнения привычные картины истории, исследователь, вооруженный методом исторического материализма, отнюдь не стремится, по мысли Беньямина, навязать собственный взгляд и ставит под сомнение его всеобщность и универсальность: “Исторический материализм должен поступиться эпическим элементом истории. Он должен выламывать эпоху из вещественного “континуитета истории”. Но он взламывает и гомогенность эпохи. Он пропитывает ее экразитом, т.е. современностью”. Так в ходе материалистического историописания проявляет себя вещественная природа предмета познания: “Мышлению принадлежит как движение, так и остановка мысли. Там, где в наполненных напряжением констелляциях мышление пришло к покою, появляется диалектический образ. Это цезура в движении мысли. Ее положение естественно не является произвольным. Ее, одним словом, нужно искать, где наибольшее напряжение между диалектическими противоположностями. Тем самым предмет, конструируемый в материалистическом историописании, сам является

---

<sup>25</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. SS. 588, 491.

диалектическим образом. Он идентичен историческому предмету. Он оправдывает свои осколки из континуума исторического потока<sup>26</sup>.

Историк, основывающий свои исследования на критической точке зрения материалистического историописания, не только “пишет историю, давая числу лет свою физиогномию”. Он должен осознавать противоречивость, диалектичность этого образа и влияния, которое оказывает на него окружающий мир: “Событие, которое окружает историка и в котором он участвует, ложится в основу как написанный симпатическими чернилами текст его представления. История, которую он предлагает читателю, образует как будто цитаты в этом тексте и только эти цитаты предлагаются читабельным для любого образом. Писать историю значит историю цитировать. В понятии цитирования однако лежит то, что правдивый исторический предмет вырывается из своих взаимосвязей<sup>27</sup>”. Отсюда ожидаемая неоднозначность и определенная незаконченность исследовательских конструкций.

Критически воспринимая созданное ранее и создаваемое собой, историк, сам находящийся в критическом состоянии, осознает проблему социальной памяти и приближается к пониманию ее механизма, вооружившись диалектическим методом, “элементарным учением исторического материализма”, который становится центральным для материалистического историописания: “1) предмет истории – это то, в чем знание будет осуществлять его спасения (материализма?). 2) история распадается на образы, не на истории. 3) где происходит диалектический процесс, там мы имеем дело с монадой. 4) материалистическое историописание ведет имманентную полемику с самим собой по поводу понятия прогресса. 5) исторический материализм основывает свой метод на опыте, здравом человеческом рассудке, современности духа и диалектике<sup>28</sup>”. Для столь противоречивой концептуальной конструкции историописания, по мнению немецкой

---

<sup>26</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. SS. 593, 595.

<sup>27</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. S. 595.

<sup>28</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. S. 596.

исследовательницы Даниэлы Ассеновой, “складывание и развертывание являются физиогномическими силами, определяющими топографию образов, воспоминание, историю и образ мысли Бенямина”<sup>29</sup>.

Формулируемый диалектический метод познания прошлого мыслитель противопоставлял историзму, а значит и понятию прогресса. Однако Бенямин скорее лишь наметил путь для дальнейшего движения мысли в русле своего понимания марксизма и сам следовал отмеченной им брехтовской максиме, которую его друг и коллега высказал в одном из разговоров летом 1938 г.: “Нужно исходить из плохой новизны, а не хорошей старины”. И для этого особое значение приобретает широкий комплекс социальной фактологии, которое характеризует еще одно замечание мыслителя из разговоров с Брехтом: “Я не против асоциальности – я против несоциальности”<sup>30</sup>.

Представление о том, какое понимание этой основы Бенямин считал узким для своей исторической концепции, дает его полемика с Теодором Адорно, также как и он стоявшего у истоков “критической теории” и являвшегося одним из руководителей Института социальных исследований (ИСИ). Тот в одном из писем по поводу работ мыслителя о Шарле Бодлере писал: “Материалистическая детерминация культурных характеров возможна только опосредовано через общий процесс... как через общественные и экономические общие тенденции своего времени.... Тем самым в смысле постановки вопроса в Вашей работе через анализ формы товара в эпоху Бодлера”. Адорно предлагал для некоторых черт созданного Бенямином образа, в частности “бихевиористических”, найти теоретическое приемлемое обоснование, а не останавливаться на “методически неудачном обращении ясных черт из сферы надстройки в «материальные», определяя их отношение к соответствующим чертам базиса непосредственно и, пожалуй,

---

<sup>29</sup> Assenova D. Walter Benjamin – ein Vorläufer postmoderner Denkstrategien?: Untersuchung zur aktuellen Benjamin-Rezeption. Leipzig, 1995. SS. 97, 98.

<sup>30</sup> Benjamin W. Tagesbuchnotizen 1938 // GS. Band VI. SS. 539, 535.

даже каузально”. Иначе, по мнению Адорно, в работах Бенямина можно наблюдать отсутствие теоретической базы, прикрытое многочисленными фактами, создающими “аффицирующий” эффект<sup>31</sup>.

Однако для работ представителей ИСИ Бенямин особо позитивным и плодотворным считал именно развитие учения об обществе в соединении с различными дисциплинами: политэкономией, психологией, историей, философией<sup>32</sup>. В исследовании Адорно Бенямин с восторгом отмечал умение “сокрыть” себя как критика философа. Рецензируя несколькими годами ранее его работу о философии Кьеркегора, он назвал ее “переданным из китайской сказки движением сокрытия (художника) в (самонарисованной) картине, которую он познает как последнее слово этой философии”<sup>33</sup>. Потому объясняя в ответе Адорно методологию своего исследования, Бенямин указал на технологию отбора и объем картины выявленных фактов, “поразительного представления фактичности”, которую он лишь скорректировал с учетом исчезновения “видимости закрытой фактичности... на уровне, где конструируется предмет в исторической перспективе”: “Линии соосности этой конструкции сходятся в нашем собственном историческом опыте”<sup>34</sup>. Неподвижность лишается состояния покоя, поскольку нет больше уверенности, что она учитывает абсолютно все, а также уверенности, что исследователь беспристрастен и независим в своем взгляде на нее. Теперь становится необходимо обратиться к данным, например, психологии.

Стремление ослабить сторонние воздействия политических, но не научно-теоретических или вызванных накопленными данными, мотивов для изучения могло быть воплощено, по мнению Бенямина, исключением из исследования всякой “материальности” самого исследователя: “Метод этой работы: литературный монтаж. Я ничего не должен говорить. Только показывать. Я ничего ценного не похищаю и

---

<sup>31</sup> Theodor Adorno an Benjamin, 10. 11. 1938 // GS. Band I. S. 1096.

<sup>32</sup> Benjamin W. Ein deutsches Institut freier Forschung // GS. Band III. S. 516.

<sup>33</sup> Benjamin W. Kierkegaard // GS. Band III. S. 382.

<sup>34</sup> Benjamin an Theodor Adorno, 9. 12. 1938 // GS. Band I. S. 1100.

никакие духовные формулировки себе не присваиваю. Но лохмотья, отбросы: их я хочу не инвентаризировать, но единственно возможным образом позволить добиться своего права: их использовать”<sup>35</sup>. Тем самым активность исследователя проявляется в вовлечении – позитивных и негативных – свидетельств прошлого в современные процессы и ситуации именно в момент заинтересованности в них и именно в форме, увиденной историком. Эта техника монтажа активно применялась в межвоенный период в искусстве. Привлеченный именно ее материальностью, Беньямин предложил использовать ее и в исторических исследованиях. Исторический материалист, по мнению Бенямина, выстраивает “конструкцию, место которой образует не пустое время, но определенная эпоха, определенная жизнь, определенное произведение... и плод этой конструкции в том, что в произведении сохраняется произведение жизни, в произведении жизни эпоха и в эпохе течение истории”<sup>36</sup>. Все имеющее материальную основу в прошлом должно быть оценено с точки зрения материального воздействия на настоящее, при этом не столько вообще, сколько на настоящее самого исследователя.

Поддержку в своих устремлениях к поиску материалистической основы исторических исследований в широком пространстве фактов из различных сфер прошлого и в человеческой природе Беньямин нашел в лице Жоржа Батая, возглавлявшего Коллеж социологии в Париже, собрания которого мыслитель посещал, когда в середине 30-х гг. жил там в эмиграции. Французский философ стал одним из авторов концепции “сакральной социологии”, обращавшей внимание на “изучение существования общества во всех тех его проявлениях, где обнаруживается активное присутствие сакрального”: “Таким образом, ставится цель определить точки соприкосновения между навязчивыми фундаментальными тенденциями индивидуальной психологии и направляющими структурами, которые возглавляют социальную организацию и руководят

---

<sup>35</sup> Benjamin W. Passagen-Werk. S. 574.

<sup>36</sup> Benjamin W. Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker. S. 468.

революциями”<sup>37</sup>. Если отталкиваться от этого определения, то Батай и его коллеги, группировавшиеся вокруг Коллежа, делали упор в своих размышлениях на “навязчивые фундаментальные тенденции индивидуальной психологии”, а Беньямин, симпатизировавший деятельности ИСИ, концентрировал внимание на “направляющих структурах, которые возглавляют социальную организацию и руководят революциями”. Однако “точки соприкосновения” с предметами изучения обоих направлений важны в равной степени: и для “материалистического историописания” и для “сакральной социологии”.

По мнению Майкла Вайнграда, “соединение фрейдистских и марксистских принципов у Батая осуществляется в то же самое время, что и схожие усилия теоретиков ИСИ, и по близким причинам: исходя из необходимости дать более точную картину отношений человеческого и природного, следуя потребности бросить вызов замкнутости и механицизму ортодоксального марксизма, а также принять во внимание те иррациональные аспекты, которые не учитывались тогдашней марксистской мыслью”<sup>38</sup>. На основе оценки этих усилий у Беньямина его друг и коллега Гершом Шолем впоследствии писал, что “его марксизм всегда был еще не догматической, но эвристической, экспериментаторской природы”<sup>39</sup>.

Последнюю попытку обратить внимание на научное и общественное значение применения методологии “материалистического историописания” Беньямин предпринял незадолго до собственной гибели. В своем главном методологическом и философском тексте по истории “О понятии истории”, написанном в 1940 г., Беньямин отметил еще

---

<sup>37</sup> Декларация о создании Коллежа социологии // Коллеж социологии. СПб., 2004. С. 29-30.

<sup>38</sup> Weingrad M. The College of Sociology and the Institute of Social Research // *New German Critique*. Fall 2001. № 84. P. 140. Перевод по: Вайнград М. Коллеж социологии и Институт социальных исследований: Беньямин и Батай // НЛО. 2004. № 68.

<sup>39</sup> См.: Hering Ch. *Die Rekonstruktion der Revolution: Walter Benjamins messianischer Materialismus in den Thesen Über den Begriff der Geschichte*. Frankfurt/M.; Bern, 1983. S. 173.

раз: “Для исторического материализма речь идет о том, чтобы удержать образ прошлого, каким он неожиданно является историческому субъекту в момент опасности. Опасность угрожает как содержанию традиции, так и ее получателям. В обоих случаях она одна и та же: согласие стать инструментом господствующего класса. В каждую эпоху следует пытаться вновь отвоевывать предание у конформизма, намеревающегося овладеть им... Только *тот* историограф способен разжечь в прошлом искру надежды, кто преисполнен мыслью о том, что и мертвые не будут оставлены в покое врагом, если он победит. И этот враг не прекратил побеждать”. Потому мыслитель требовал от исторического материалиста “взорвать континуум” и использовать “революционный шанс в борьбе за угнетенное прошлое..., чтобы вырвать определенные эпохи из гомогенного течения истории”<sup>40</sup>. Так исторический материалист обратит внимание на конкретное и уникальное в универсальном, обнаружит его материальную основу в прошлом и предоставит технологию “материалистического историописания” в качестве инструмента сохранения в социальной памяти.

---

<sup>40</sup> Benjamin W. Über den Begriff der Geschichte. SS. 695, 702, 703.

## **Историописание и «проработка травмы» в работах Д. ЛаКапры**

В последние десятилетия важную роль в гуманитарных науках играет полемика о репрезентации, памяти, историческом опыте и травме. И хотя данные понятия пересекаются, каждая из сфер этой дискуссии стала уже самостоятельным полем исследований. В этом контексте можно утверждать, что интеллектуальная история Доминика ЛаКапры находится на пороге пересечения указанных областей. Кроме того, специфика его построений заключается в осознанном дистанцировании от преобладающего в литературной критике и философии акцента на нерепрезентируемом, который в теоретической историографии представлен концепциями «возвышенного исторического опыта» Ф.Р. Анкерсмита, «детства\немоты» (infanzia) Дж. Агамбена, «невостребованного опыта» или «падения» К. Кэрат, «молчания» П. де Мана, противопоставляемого свидетельству «признания» Ш. Фельман и Д. Лауб.

Это дистанцирование несет не только теоретическую, но и институциональную, а также социальную функцию. Д. ЛаКапра подчеркивает необходимость сохранения самостоятельности исторического знания и историографии, которые в отличие от других дисциплин и практик исследования занимаются «проработкой» (working-through) прошлого. Важно отметить, что речь идет не о позитивистской критике «постмодернистской мафии», чья Alltags-geschichte (история повседневности) описана в знаменитых телевизионных сериалах<sup>1</sup>, но о критическом отношении к традиции<sup>2</sup>, столь важной для основных оппонентов

---

<sup>1</sup> LaCapra D. History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory. Ithaca, 2004. P.73.

<sup>2</sup> «Критичность» воспринимается ЛаКапррой как неперемное условие самостоятельности, поскольку конструктивный диалог возможен лишь при соблюдении дистанции между его участниками. Наиболее рельефно это проявляется в интерпретации текстов З. Фрейда и М. Хайдеггера. См. LaCapra D. Representing the Holocaust: History, The-

ЛаКапры, и в первую очередь для Ф.Р. Анкерсмита, Дж. Агамбена и К. Кэрат<sup>3</sup>. Более того, в 1980-е гг. ЛаКапра столь же настойчиво высказывался за дистанцирование интеллектуальной истории как «чтения 'великих' текстов» от социально ориентированных исследований в духе К. Гинзбурга, Р. Дарнтон и сторонников теории практик<sup>4</sup>. Пафос его выступлений и в том, и в другом случае был связан со стремлением к сохранению самостоятельности интеллектуальной истории по отношению к преобладающим (по мнению ЛаКапры) в данный период историографическим направлениям – структурализму в 1970-е гг., новой социальной истории в 1980-е, исследованиям травмы в 1990-е гг. Каждое из них делало акцент на какой-либо одной части гипотетически предполагаемых бинарных оппозиций – тексте *или* контексте, репрезентируемом *или* нерепрезентируемом, синхронии *или* диахронии и т.д. Интеллектуальная же история, по мнению ЛаКапры, осознанно следующего в этом деконструкции

---

ory, Trauma. Ithaca, 1994. P. 38, 137-168; LaCapra D. History and its Limits: Human, Animal, Violence. Ithaca, 2009. P. 123-148, 208.

<sup>3</sup> Следуя Д. ЛаКапре, подчеркнем, что эту полемику нельзя рассматривать как оппозицию. Все эти исследователи признают ограниченность «документалистского» подхода к прошлому, подвижность границ между памятью и историей, важность субъект-позиций. Не менее значимым представляется и гетерогенные контексты полемики, связанные с дебатами о Холокосте в немецкой, французской и американской историографии (см. LaCapra D. History and Memory after Auschwitz. Ithaca, 1998. P. 43-72) и различными векторами саморефлексии континентальной и англоязычной интеллектуальной истории. (Chorell T.G. F.R. Ankersmit and the Historical Sublime // History of the Human Sciences. Vol. 19. Issue 4. P. 95-97).

<sup>4</sup> См. LaCapra D. History and Criticism. Ithaca, 1985. P. 45-70. В этом контексте показательно, что сам ЛаКапра придает огромное значение контексту академической полемики, в которой он принимал участие. Конференции «Современная европейская интеллектуальная история» 1980 г. (Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives. / Ed. by S.L. Kaplan. Ithaca, 1982) и «Исследуя пределы репрезентации» 1990 (Probing the Limits of Representation: Nazism and the 'Final Solution' / Ed. by S. Friedlander. Cambridge, 1992) выступают в его самооценке даже границами самостоятельных периодов эволюции взглядов исследователя. LaCapra D. History and its Limits: Human, Animal, Violence. P. 216-219.

Ж. Деррида<sup>5</sup>, стремится к снятию любых оппозиций и работает с ситуативными различиями. Этот институциональный аспект особенно активно проводится исследователем в отношении «дебатов о каноне» в американском академическом сообществе. ЛаКапра выступает категорически против как радикальных «канонборцев», так и консервативных сторонников его неизменности, поскольку и те, и другие подчиняют двусторонний диалог с текстом некоей заранее выработанной схеме, ограничивающей исследование жесткими внешними рамками. Кроме того, полемика о каноне предполагает политические коннотации: сторонники А. Блума и П. Загорина следуют неоконсервативной установке замещения социально-экономических проблем обвинениями интеллектуалов в разрушении культурных традиций (или «высокой», «элитарной» культуры). Их противники из числа неомарксистов, феминисток и представителей постколониальных исследователей придерживаются радикально противоположных политических взглядов, стремясь к изменению общества в целом через пропаганду «народной» культуры или субкультур<sup>6</sup>. Теоретическая историография (работы С. Фридлэндера, П. Левенберга, самого Д. ЛаКапра, который очень часто ссылается на свои предыдущие тексты) в этом контексте становится основой для плодотворного решения проблемы канона, устанавливая диалог с гетерогенными голосами прошлого, включая как «элитарную», так и «народную» культуру.

Интерес к социальной составляющей науки подчеркивается Д. ЛаКапой в нескольких аспектах: «Несомненно, существует диалогическая или открыто диалектическая связь между моими теоретическими взглядами, моим опытом и субъективной позицией в университете... Я пережил временами тщетные, временами успешные попытки

---

<sup>5</sup> Отдельной проблемой представляется борьба Д. ЛаКапра за «наследие Деррида» с другими ветвями деконструкции – последователями П. де Мана, «новым историзмом» и т.д. См., например: LaCapra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. P. 111-136.

<sup>6</sup> LaCapra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. P. 19.

молодых исследователей найти достойную работу на ограниченном рынке, сформированном во многом сомнительными приоритетами капиталистической системы...» – пишет ЛаКапра, подчеркивая важность «критического интеллектуального гражданства» в университетах<sup>7</sup>. Но не только личная критическая позиция в отношении капиталистической системы важна для исследователя. Он отстаивает осознанный союз или диалог<sup>8</sup> интеллектуальной истории с критической теорией. По мнению ЛаКапры, историография как чтение и «проработка» текстов вычленяет гетерогенные «голоса» и «восстанавливает в правах» тенденции (как риторические, так и социальные), репрессированные доминирующей системой<sup>9</sup>. «Проработка» прошлого или критическое сохранение и трансформация традиции представляются исследователю важными именно в социальном плане, поскольку предполагают осознанный выбор альтернатив развития в настоящем и

---

<sup>7</sup> LaCapra D. *History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory*. P. 16.

<sup>8</sup> ЛаКапра придает огромное значение понятию диалога у М.М. Бахтина, оговариваясь, что «это понятие по-разному разрабатывалось М. Бахтиным, М. Хайдеггером, Х-Г. Гадамером и Ж. Деррида. Я пытаюсь комбинировать их подходы применительно к историографии». LaCapra D. *Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma*. P. 39. В теоретическом плане диалог выступает у Д. ЛаКапры как альтернатива жираровской модели «монологической культуры», где кризис сакрального связан с ростом амбивалентности и недифференцируемого насилия. Подлинно свободная, карнавальная речь смешивает профанное и сакральное, духовное и материальное: LaCapra D. *Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language*. Ithaca, 1983. P. 296-299. Понятие диалога в работах Д. ЛаКапры выступает как несколько идеализируемая практика, объединяющая социальное и интеллектуальное, текст и контекст, имманентное и трансцендентное, – то есть любые бинарные оппозиции. LaCapra D. *History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory*. P. 21.

<sup>9</sup> Д. ЛаКапра подчеркивает, что современные интеллектуалы оторваны как от народной культуры, так и от властных практик. Именно в этом контексте важно обращение к наследию классической историографии, которая сохраняет разные способы письма (и, соответственно, опыты чтения) прошлого и сохраняет связи с гетерогенными социальными группами: LaCapra D. *Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma*. P. 8.

будущем. Подчеркнем, что речь идет об интеллектуальных и социальных традициях одновременно.

Показательным и весьма важным примером такого рода «проработки» становится обращение ЛаКапра к истокам современных исследований опыта, определяющим векторы современной полемики. Первый из них отсылает к критической теории, стремящейся к возвращению «голосов» и опыта подчиненных групп<sup>10</sup>, что находит свое отражение в работах многих сторонников устной истории, исследователей «признаний» (testimony) жертв Холокоста и представителей микроистории. Полностью солидаризируясь с этой линией исследований «from below», ЛаКапра подчеркивает, что вторая – старшая и более влиятельная – линия исследований опыта «сверху», связанная с феноменологической философией, в значительной степени склонна к *подчинению* историчности теоретическим схемам, то есть воспроизведению властных стратегий. Под влиянием Гуссерля и Хайдеггера, при всем их различии,<sup>11</sup> жизненный опыт в литературной теории,

---

<sup>10</sup> Эта идея была особенно важна для В. Беньямина, к которому Д.ЛаКапра относится достаточно двойственно, но в целом принимает его стремление «гладить историю против шерсти»: LaCapra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. P. XII, 6, 13. В «Тезисах о понятии истории» Беньямин утверждает: «Все господствующие в данный момент – наследники всех, кто когда-либо победил. Соответственно, вживание в победителя в любом случае идет на пользу господствующим в данный момент ... Любой побеждавший до сего дня – среди марширующих в триумфальном шествии, в котором господствующие сегодня попирают лежащих сегодня на земле ... Не бывает документа культуры, который бы не был бы в то же время документом варварства. И подобно тому, как культурные ценности не свободны от варварства, не свободен от него и процесс традиции, благодаря которому они переходили из рук в руки. Потому исторический материалист по мере возможности отстраняется от нее. Он считает своей задачей чесать историю против шерсти»: Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. С. 83.

<sup>11</sup> Возможно, Д. ЛаКапра излишне гомогенизирует феноменологическую традицию. Подчеркивая значимость оттенков и различий как внутри других интеллектуальных течений (деконструкции, интеллектуальной истории и т.д.), так и у отдельных авторов (Хайдеггер, Фрейд и др.), в отношении феноменологии ЛаКапра склонен к неоправданно широкому обобщениям. Так,

культурных исследованиях и этнографии в 1980-90-е гг. становится объектом отвлеченных спекуляций, превращая это понятие в «полную абракадабру»<sup>12</sup>.

С точки зрения ЛаКапры, для большинства представителей современных культурных исследователей характерна следующая установка: «опыт» становится для них «открытой дверью в прошлое», сам оставаясь при этом «черным ящиком», никак не влияющим на это прошлое и, главное, уклоняющимся от нашего понимания, – «возвышенным» (*sublime*). Использование термина «возвышенное» как отказа от репрезентации у Ж.-Ф. Лиотара или Ф.Р. Анкерсмита представляется ЛаКапре сомнительным и даже опасным, поскольку в значительной степени оно продолжает кантовское «замещение» теологии<sup>13</sup> и наследует обращение к «возвышенному» национал-социалистов. «Возможная роль возвышенного для нацистских преступников не отвергает или «заражает» все обращения к возвышенному, включая его использование в анализе Холокоста. Но она поднимает вопрос,

---

например, нивелируются различия немецкой и французской феноменологии 1930-х гг.; трактовка опыта у Ж.-Ф. Лиотара отсылает к «Феноменологии духа» Гегеля без обращения к его учителю М. Мерло-Понти и т.д. См.: LaCapra D. *History and Reading: Toqueville, Foucault, French Studies*. Toronto, 2000. P. 61.

<sup>12</sup> LaCapra D. *History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory*. P. 4.

<sup>13</sup> Отметим, что Д. ЛаКапра не одинок в такой трактовке «возвышенного» у Канта, как и в оценке феноменологической традиции опыта. Но если для него важно соединение социально-психологического и логического «трансфера» в отношении к теологии и сакральному, то другие авторы прослеживают лишь логический компонент подобного «замещения». См. Crockett C. *A Theology of the Sublime*. New York, 2001. P. 10-11. Важно подчеркнуть также, что ЛаКапра, начинавший свои академические исследования с исследования социологии религии Э. Дюркгейма, гораздо раньше большинства коллег – уже в 1970-е гг. – рассматривал феноменологию и «культ чистого искусства» как замещение сакрального после «смерти Бога». «'Рай' присутствия, чистоты или спонтанности (например, чистого сознания) является вымыслом, который приходит после падения, проектируясь вперед или назад во времени, логически – в идеальное место, феноменологически – в опыт». «Культ чистого искусства как дорога к Спасению охватывает ли Сартра полностью?» См.: LaCapra D. *A Preface to Sartre: A Critical Introduction to Sartre's Literary and Philosophical Writings*. Ithaca, 1978. P. 34, 38.

насколько возможно, пусть даже ненамеренно, повторение взглядов этих преступников без соответствующего критического обрамления или отделения их голоса от нашего собственного»<sup>14</sup>.

Акцент на нерепрезентируемости опыта (его «возвышенности»), как считает Д. ЛаКапра, затемняет сложные отношения этой категории с другими важными понятиями: памятью, идентичностью, архивом (как совокупностью еще не «проработанных» следов и остатков прошлого) и т.д. История и историописание не сводимы к опыту. «Понятие опыта как неопределимого остатка (residue) занимает позицию, аналогичную божественному или сакральному в негативной теологии, как «нечто», что может быть определено лишь через то, чем оно не является»<sup>15</sup>. «Возвышенный» характер ограничивает эвристические возможности опыта, а иногда просто игнорирует феномены товаризации опыта, виртуальные возможности опыта, влияние языка, бессознательного, объективные структурные процессы (демография, динамика цен, климат), «субъектные позиции» (связанные с идентичностью сексуальность, гендер, язык, семья, национальность, этничность, класс, раса, религия или секулярная идеология) и трансцендентности.

Особенно важен для Д. ЛаКапры последний момент: «Желание радикальной трансценденции в той или иной форме – религиозное (Августин, Паскаль, Кьеркегор) или замещенное секулярным, иногда парадоксальным атеизмом (Кант, Деррида, Лиотар) – очень влиятельно в Западной традиции. Оно может сопровождаться (как у де Мана) теоретической настойчивостью, когда компромисс кажется невозможным, а любое посредничество и идентичность – сомнительными. Само тело

---

<sup>14</sup> LaCapra D. *History and Memory after Auschwitz*. Ithaca, 1998. P. 2.

<sup>15</sup> LaCapra D. *History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory*. P. 39. «Мне кажется, – пишет ЛаКапра, – что сакральное и возвышенное можно рассматривать как замещение друг друга: одно есть секулярный, другое – религиозный ключ, тогда как основа этого различия – оппозиция имманентного и трансцендентного»: LaCapra D. *Approaching Limit Events: Siting Agamben // Giorgio Agamben: Sovereignty and Life. / Ed. by M. Calarco. Stanford, 2007. P. 127.*

может восприниматься как источник подозрительного опыта. В определенном смысле радикальная трансценденция требует абсолютного очищения – выхода за рамки тела»<sup>16</sup>. Ключевой тезис самого ЛаКапры в полемике с Ф.Р. Анкерсмитом, Дж. Агамбенем и К. Кэрат – неоправданность замещения этого радикально трансцендентного понятиями «возвышенного», «сакрального», «травмы», опыта», «мессианства без мессии» и т.д. По его мнению, это замещение следует логике бинарной оппозиции имманентного\трансцендентного, нивелируя промежуточные и гетерогенные формы опыта и «трансфера».

Ряд принципиальных для историка феноменов – травма, архив, процесс товаризации и т.д. – в значительной степени (хотя и не полностью) можно репрезентировать другими способами, по-разному сочетая объяснение и понимание. Показательным примером в этом отношении является травма. «Значимость» травмы как раз в том, что она подрывает опыт и не может быть в него интегрирована»<sup>17</sup>. Однако травму можно «проработать», корректно используя психоаналитическую модель «трансфера»<sup>18</sup>. Для Ф.Р. Анкерсмита устранить травму из исторического опыта невозможно априори: поскольку

---

<sup>16</sup> LaCapra D. *History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory*. P. 49.

<sup>17</sup> LaCapra D. *History and Reading: Toqueville, Foucault, French Studies*. P. 62.

<sup>18</sup> Отношение Д. ЛаКапры к психоанализу сложное и представляет собой самостоятельную тему для исследования. Отметим лишь его стремление к самостоятельному (временами критическому, временами продолжающими традицию) диалогу исследователя с текстами и отдельными понятиями З. Фрейда, Ж. Лакана и Б. ван дер Колка, – в первую очередь, оппозициями траура и меланхолии, мимесиса и антимимесиса, аффективного повторения (acting-out) и «проработки» («working-through» ЛаКапры или «durcharbeiten» Фрейда). Психоанализ при этом рассматривается «не как психология индивида или основа для обобщенного терапевтического этоса, но как внутренне историзированный способ мышления, тесно переплетенный с социальными, политическими и этическими отношениями». LaCapra D. *Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma*. P. xi. Исследователь даже подчеркивает, что прямая задача его книг – показать неразрывную взаимосвязь психоанализа и истории, которая предполагает отказ от оппозиции между индивидом и обществом. Ibid. P. 9, 72.

история это всегда утрата, ее можно лишь отрефлексировать и меланхолично перевести в категорию «возвышенного»<sup>19</sup>. ЛаКапра же объявляет целью историописания не только переход от меланхолии к трауру (сочетающему эмоциональные и социальные формы), но и по возможности последовательную «проработку» травмы – ее осознание и смягчение. Важной задачей при этом становится «примирение» с прошлым. Подчеркнем, что речь не идет о полном избавлении от травмирующего груза истории (такая попытка стала бы репрессией и вела бы к вытеснению травмы на неосознанный уровень), но о существенном смягчении травмы в настоящем и будущем. «Проработка» не исключает аффективные действия (acting-out) и навязчивое повторение, но стремится к их ограничению<sup>20</sup>. *«Проработка означает работу над пост-травматическими симптомами [а не над самой травмой], чтобы смягчить эффект травмы через создание сил противодействия навязчивому повторению (или аффективному действию) посредством создания более действенной артикуляции аффекта, его познаваемости или репрезентации...*

---

<sup>19</sup> Понятие утраты является ключевым для Ф.Р. Анкерсмита. По его мнению, историзм в целом основан на ностальгии (как субъективном опыте) и реальной потере прошлого. В этом плане историография XIX века стала наследницей «чувства возвышенного» (sublime) Э. Берка и И. Канта, сублимировав в то же время шоковый опыт Французской революции. Точнее речь идет о «двойственной революции» 1789-1815 гг., которая, по мнению Анкерсмита, полностью изменила самосознание Запада и привела к разрыву прошлого и настоящего. Ее основой стала «смерть Бога». Травматическое воздействие последней оказалось настолько сильно, что привело к отрыву историзма эпохи модерна (равно как и постмодерна) от социальной реальности и его направленности на трансцендентность. См.: Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. С. 441; Ankersmit F.R. Historical Representation. Stanford, 2001. P. 267.

<sup>20</sup> По-видимому, именно этот ход мысли оправдывает систематическое возвращение самого Д. ЛаКапры в каждой работе 1990-2000-х гг. к одному и тому же примеру «возвышенного» – познанской речи Гимллера 1943 г. LaCapra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. P. 14, 62, 106, 110; LaCapra D. History and Memory after Auschwitz. P. 3, 27. LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore, 2001. P. 93, 137, 167; LaCapra D. History and its Limits: Human, Animal, Violence. P. 67, 78; etc.

как в прошлом, так и в будущем. Поэтому, по крайней мере в моем понимании этого термина, проработка не означает полного искупления прошлого или излечения его ран. В определенном смысле, пока мы работаем над симптомом, вызвавшая его травма не излечима. И любое понятие полного искупления или спасения применительно к ней сомнительно. Но, по крайней мере в историческом измерении травмы, мы можем работать над изменением ее причин, поскольку они имеют социальный, политический и экономический характер, и таким образом попытаться «предотвратить ее возобновление»<sup>21</sup>. Можно предположить, что акцент на «проработку» важен для ЛаКапры не только в виду ее большей социальной эффективности<sup>22</sup>, а, в первую очередь, в связи с недостаточной разработанностью этой линии в психоанализе и общим контекстом полемики со структурализмом в 1970-80-е гг.

По мнению ЛаКапры, проработка осуществляется, в первую очередь, в процессах письма и чтения<sup>23</sup>. В полемике со структурализмом (ключевыми фигурами которого ЛаКапра считает Р. Барта и Х. Уайта) исследователь стремится доказать, что аргументы и стратегии философии и литературной критики

---

<sup>21</sup> LaCapra D. *History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory*. P. 119.

<sup>22</sup> Д. ЛаКапра отмечает, что его деконструкция бинарного противопоставления аффективного повтора и «проработки» не стремится к созданию гомологичной итоговой модели, превращающей диалог в единственно верное пророчество. «Моральные и политические суждения никогда не должны служить признанием чьей-то идеологической чистоты, моральной правоты или трансцендентального статуса». LaCapra D. *Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma*. P. 11. «Полностью преодолеть травму невозможно. Функция критической мысли состоит не в том, чтобы рационализировать тенденции извлечения выгоды из прошлого, но создать перспективы согласия с ним, прослеживая «голоса» прошлого и помогая трансформировать их артикуляции желательным способом». *Ibid.* P. 13. Вместо построения абстрактных моделей «проработки» ЛаКапра настаивает на ситуативности диалога и его неотделимости от социо-культурных практик.

<sup>23</sup> Повторимся, что ссылаясь на М.М. Бахтина и П. Рикера и противопоставляя им Ф. де Соссюра, ЛаКапра характеризует диалог как одновременно языковую и социальную практику. LaCapra D. *History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory*. P. 21, 36.

не релевантны исторической интерпретации напрямую. «Текст не имеет чистого «внутри», сакрального для формализма. Его «внутри» всегда уже отравлено «внешним» – самовопросанием, другими текстами и самой жизнью»<sup>24</sup>. Высказываясь за взаимодействие синхронического и диахронического подхода, Д. ЛаКапра утверждает, что мысль «институционализируется» в текстах, которые становятся социальными фактами через публичное обсуждение и включение в традицию. Радикальный конструктивизм же, примером которого для ЛаКапры выступает «Метаистория» Х. Уайта, нивелируя социальное измерение текста, наделяет историографа «квази-божественной» силой, поскольку предполагает «одарение» прошлого трансцендентальным значением вне временного контекста<sup>25</sup>. Показательным примером в этом контексте выступают тексты Ж.-П. Сартра, неразрывно связанные со средой своего появления и эволюцией социальной позиции их автора, когда даже «отказ от нобелевской премии не способствовал де-институционализации. Он институционализировал Сартра как писателя-отказавшегося-от-нобелевской-премии»<sup>26</sup>.

Используя современные модификации критической теории и пост-лакановский психоанализ, Д. ЛаКапра рассматривает речевые практики не как пассивные свидетельства, но как поле активных стратегий (самооправдания, политического сопротивления, деконструкции и т.д.). «Обращение к психоаналитическим понятиям, таким как траур и меланхолия, аффективное действие и проработка добавляет необходимое измерение экономическому, социальному и политическому анализу, но не создает их заместитель. ...Эта работа стремится к возобновлению дебатов о связи теории с практикой – через процесс проработки к обновлению гуманитарных исследований»<sup>27</sup>. В результате через

---

<sup>24</sup> LaCapra D. A Preface to Sartre: A Critical Introduction to Sartre's Literary and Philosophical Writings. P. 20.

<sup>25</sup> LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. P. 57.

<sup>26</sup> LaCapra D. A Preface to Sartre: A Critical Introduction to Sartre's Literary and Philosophical Writings. P. 41.

<sup>27</sup> LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. P. ix.

диалог с психоанализом и критической теорией интеллектуальная история у Д. ЛаКапра получает новый стимул развития. Одной из важнейших задач историописания становится в этом смысле «проработка» травмы как в субъективной, так и в социальной памяти.

«Проработка» как «означение» (meaning) предполагает проницаемость или «транзитивность» границ между временем, языком, опытом, памятью и идентичностью<sup>28</sup>. Основу этой транзитивности составляет «эмпатия», основанная на осознанном эмоциональном и этическом соучастии современных исследователей в отношении жертв травматического опыта<sup>29</sup>. «Эмпатия может пониматься в терминах «заботы о» и даже попытки заново ухватить момент раскола, аффективное измерение опыта Другого. Эмпатия может также рассматриваться как противодействие виктимизации, включая само-пожертвование... Эмпатия в этом смысле есть форма виртуального, но не замещающего, опыта других, связанного с тем, что К. Силверман называет «неадекватной идентификацией», в которой эмоциональный ответ приходит с уважением к другому и осознанием, что опыт другого нам не принадлежит»<sup>30</sup>. Например, применительно к Холокосту это создает существенное различие в восприятии

---

<sup>28</sup> Именно поэтому ЛаКапра стремится заменить понятие «идентичность» на «субъект-позицию» (subject-position). Последняя трактуется как частичная, меняющаяся идентичность, граничащая с другими индивидуальными и коллективными «субъект-позициями» и превращающаяся в полную идентичность только в случае предельной травмы. LaCapra D. *Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma*. P. 12.

<sup>29</sup> Д. ЛаКапра ссылается в этих рассуждениях, в первую очередь, на Р. Дж. Коллингвуда, хотя подчеркивает и отличие своей позиции: «Скорее проблема опыта должна вести к вопросу об эмпатии в историческом понимании. Это понятие было важно для Дильтея, Коллингвуда и др., но отошло на второй план в последнее время... Любая попытка реабилитировать эмпатию в историческом исследовании должна отказаться от прежних ее интерпретаций». LaCapra D. *Writing History, Writing Trauma*. P. 38. Если для Коллингвуда важна скорее универсальность реакций человеческой психики, то ЛаКапра делает акцент на их различии.

<sup>30</sup> LaCapra D. *Writing History, Writing Trauma*. P. 40.

«свидетельств» или «признаний» в зависимости от того, кому они принадлежат (выжившим, бывшим нацистам, коллаборационистам, ветеранам союзнических армий, евреям, не связанным напрямую с Шоа, современным гражданам Германии и т.д.) и в каком социально-политическом контексте историк ведет диалог с ними. В частности, когда дискуссия о Холокосте после 1989 г. в Германии почти прекратилась в связи с объединением страны и необходимостью выработать позитивную идентичность, «нормализация» и «рациональные» объяснения расовой политики национал-социалистов должны, с точки зрения ЛаКапра, вызывать гораздо больше возражений, чем раньше.<sup>31</sup>

Даже такие предельные события, как Холокост, могут быть репрезентированы (хотя и не полностью), если не сводить «проработку» к прямой референции и объяснению. ЛаКапра признает, что «когда мы спрашиваем эти события, наш язык может ломаться, и наиболее апроприативные формы репрезентации оказываются минимальными. Тем не менее, я утверждаю, что скорее возможно показать то, что не работает, чем рассчитать единый подход к Холокосту. Молчание здесь не идентично немоте, а ломка языка сама по себе показательна и даже является говорящим процессом»<sup>32</sup>. Молчание во многом выполняет ритуальные функции траура, граничащие с определенным использованием языка.

Однако эта транзитивность границ опыта и травмы все-таки имеет ограничения. Д. ЛаКапра утверждает, что существует «трансгисторическая или структурная травма» – некое предельное событие, представить которое в принципе невозможно. Это «неопределимое состояние возможности, генерирующее страх или ранимость»<sup>33</sup>. Оно не имеет позитивных характеристик. Попытка раскрыть эту трансгисторическую травму всегда мифологизирована. Д. ЛаКапра вычленяет ее лишь в контексте полемики против

---

<sup>31</sup> LaCapra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. P. 66.

<sup>32</sup> Ibid. P. 47.

<sup>33</sup> LaCapra D. History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory. P. 115.

приравнивания «отсутствия» и «потери» (отсутствие принадлежит трансисторическому уровню, а потеря всегда исторична)<sup>34</sup>. «

Однако ЛаКапра (как бы вопреки декларируемой невозможности ее определения) все-таки косвенно наделяет трансисторическую травму определенными характеристиками. Противопоставляя ее травме исторической, исследователь утверждает: «В трансисторической травме не существует отдельных, дифференцированных жертв»; «она не связана с внешними событиями»; ее сопровождает страх, близкий фрейдовскому «Unheimlich»; «отсутствие не есть событие и не включает время (прошлое, настоящее, будущее)»; «отсутствие есть во всех культурах и обществах»<sup>35</sup>. Ближе всего к трансисторической травме стоит неприятие бессознательным смерти; некоторые параллели можно провести и с понятием ‘различия’ у Ж. Деррида<sup>37</sup>. И всего лишь дважды ЛаКапра достаточно четко определяет это понятие: «*Отсутствие есть отсутствие абсолюта*»; «понятое как потеря божественное становится невидимым и умирает [курсив мой – Ф.Н.]»<sup>38</sup>. Эти оговорки, на наш взгляд, выступают не просто «слепым пятном» – неосознаваемым следом влияния Ж. Деррида, чью линию деконструкции наследует ЛаКапра. Вовлеченность в «пантрагическую» традицию, связанную с идеей «смерти Бога», столь важную для континентальной философии, является одновременно и «родовой отметиной», и сознательно обыгрываемой границей историописания. «Отсутствие абсолюта» лежит в основе всех построений Д. ЛаКапры, методология которого нацелена на выявление *гетерогенных* голосов в текстах и установление *диалога* с ними. Гетерогенность и есть это отсутствие единой сущности.

---

<sup>34</sup> Д. ЛаКапра даже считает это утверждение главным выводом своей работы «Описывая историю, описывая травму». LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. P. 195.

<sup>35</sup> LaCapra D. History and its Limits: Human, Animal, Violence. P.

<sup>36</sup> LaCapra D. History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory. P. 116, 119; LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. P. 49, 50.

<sup>37</sup> LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. P. 58.

<sup>38</sup> Ibid. P. 50, 51.

Фактически ЛаКапра борется против «ложных кумиров», замещающих «умершего Бога».

Однако не следует на основе этих выводов приравнять построения Д. ЛаКапры и его оппонентов – Ф.Р. Анкерсмита, Дж. Агамбена, К. Кэрат и др. Автор «Истории и ее пределов» даже несколько иронизирует по поводу своей религиозности в детстве и ее замещения академическими исследованиями травмы<sup>39</sup>. ЛаКапра рассказывает о своей исповеди в двенадцатилетнем возрасте: «Я обнаружил, что не могу прорваться через первые несколько слов молитвы – они повторяются и повторяются в моей голове. Я покинул церковь с этими же словами... Время как бы остановилось, когда я преклонил колена на алтаре, по крайней мере на шесть или семь часов. Сейчас мне кажется, что религиозный язык в его отношении к религиозному опыту раскололся на фрагменты или бессмысленные слоги, которые не могут быть вместе сложены в единое целое»<sup>40</sup>. Это признание важно не только в биографическом ключе, но и как «проработка» личного прошлого. Причем ирония и косвенная референция нацелены на феномен или пласт реальности, с которым прямая референция не справляется. Еще раз подчеркнем, что это не равносильно признанию непередаваемости опыта или «озарения». Скорее ЛаКапра стремится максимально отодвинуть границу нерепрезентируемого «отсутствия», сократить его пространство, тогда как его оппоненты склонны это пространство расширять, неоправданно включая в него репрезентируемый опыт.

Таким образом, историописание у Д. ЛаКапры выступает как транзитивный опыт диалога с прошлым. Он не исключает отличие «другого» или ограниченности языка, но стремится

---

<sup>39</sup> Д. ЛаКапра вообще придает огромное значение косвенной референции и не-нарративным модусам письма. Причем речь идет не только о теории: его тексты изобилуют риторическими вопросами, обозначающими границы проблемы; непрямым стилем («one may say» и пр.), скрывающим позицию автора, и иногда самоиронией, которая в данном случае выходит на первое место.

<sup>40</sup> LaCapra D. History and its Limits: Human, Animal, Violence. P. 205. важно подчеркнуть, что эту весьма важную историю обрамляют 2 шуточных рассказа о молчании в библиотеке и отношении его отца к «интеллектуальной» истории. Ibid. P. 205-206.

расширить границы «территории историка». При этом его методология и «институциональная политика» в сфере историографии, с одной стороны, неразрывно связаны с европейской интеллектуальной традицией, а с другой, – гибко и эффективно работают в контексте современной полемики о репрезентации, опыте и травме в американском академическом сообществе.

## **Историографическая ситуация: сравнение советского и американского опыта 1950 – 1980-х гг.**

Термин «историографическая ситуация» был введен в свое время в научный оборот Л.Е. Кертманом; он не получил широкого распространения, но представляет, на наш взгляд, ценность как инструмент исторического познания. Этот термин описывает определенное состояние исторической науки, порожденное синхронизацией стадий (уровней) развития частных, относительно самостоятельных историографических процессов, а также некоторых процессов, внешних по отношению к исторической науке. К числу собственно историографических процессов можно отнести количественное накопление знаний о прошлом, обогащение методики и методологии, изменение кадров и организации исследований. К внешним факторам относятся общий методологический уровень научного знания, состояние смежных наук, политика государства в отношении науки, степень идеологизированности науки, наличие «социального заказа». Несовпадение уровней развития этих процессов порождает противоречие (или набор противоречий), разрешение которого является источником развития ситуации, то есть источником движения вперед самой исторической науки<sup>1</sup>. В качестве примера предлагается сравнение ситуаций в конкретной области: изучение советской этнополитики, – сформировавшихся в отечественном и американском обществоведении во второй половине XX века. Эта область считалась весьма значимой как в отечественных общественных науках, так и в советологии рассматриваемого периода.

Отечественная историографическая ситуация данной проблемы складывалась из следующих компонентов. Во-первых, имелась достаточно широкая источниковая база в виде

---

<sup>1</sup> Кертман Л.Е. Историографическая ситуация // Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки. Калинин, 1980. С. 25.

официальной статистики, официальных документов Советского государства и Коммунистической партии (включая их региональные и местные подразделения), ранее опубликованных программных материалов различных оппозиций 1920-х годов, публикаций периодической печати. В течение 1950-х годов, в связи с общим курсом «десталинизации», несколько более доступными стали архивные материалы; нужно, однако, отметить, что и без них, на основе только официальных публикаций, материала для размышления было достаточно. Во-вторых, продолжали действовать крупные обществоведческие исследовательские центры (ИМЭЛ, ЦПА, подразделения АН СССР и др.); поскольку, как было сказано, национальная политика входила в «ядро» деятельности Коммунистической партии, то все эти центры так или иначе занимались и этой проблематикой. «Десталинизация» включала в себя и поощрение более свободного и творческого научного поиска (разумеется, в определенных неписаных пределах). Она же, через реабилитацию «репрессированных народов», давала стимул обратить внимание именно на прошлое советской этнополитики. Наконец, появилась, пусть и крайне дозированная, возможность научного обмена с западным миром.

Историографический анализ показывает, что эффект от этих возможностей был не слишком велик. Безусловной заслугой исследователей «послесталинского» периода стало привлечение местных материалов (включая архивы и газетные публикации) и местных сюжетов. Несколько расширилось (по сравнению с периодом 1930-х – середины 1950-х годов) использование центральных архивов. Появились крупные работы, охватывающие весь (на тот момент) советский период. В отдельных случаях, достаточно глухо, стали упоминаться «ошибки» этнополитики предшествующего времени – депортации народов. Однако в целом, по сравнению со «сталинским» периодом, картина изменилась мало. Вместо фамилии «Сталин» начали писать «Политбюро ЦК КПСС», сохранилась старая оценка «национальных уклонов» и их лидеров, апологетическое отношение к «великому русскому народу» и т. д. Самое главное в том, что сохранилось безусловно одобрительное отношение ко всем решениям

партии-государства в национальном вопросе; никакое из этих решений не рассматривалось критически, но подавалось как очередное воплощение некогда раз и всегда разработанной стратегии. Сохранилось и упрощенное до степени изуродованности понимание марксизма как методологической основы<sup>2</sup>.

Наряду с этим традиционализмом, в «послесталинский» период было опубликовано несколько блестящих исследований, первым среди которых следует назвать «Становление Российской Федерации (1917-1922)» О. И. Чистякова (М.: МГУ, 1966). Появление таких работ показывало, что даже весьма ограниченная «оттепель» создавала предпосылки для очень серьезного научного исследования.

Для американских исследователей рассматриваемый период начался не в середине 1950-х, а на рубеже 1940-1950-х годов, когда стала оформляться советология – специфическое направление политической науки. Фактологический фундамент ее был заложен «Гарвардским проектом»; уже в первой половине 1950-х появились не потерявшие своего значения и до сих пор работы З. Бжезинского, Э. Карра, Р. Пайпса, М. Фэйнсод и др. Американские советологи достаточно оперативно воспользовались новми открывшимися источниками информации: интервью с советскими эмигрантами, «Смоленским архивом», несколько позже – публикациями стенограмм ранее прошедших съездов КПСС, возможностью работать в центральных архивах СССР и т. п. Правда, сохранялось паталогическое недоверие к официально опубликованной советской статистике, включая материалы переписей. На стороне заокеанских исследоватеелей была возможность сравнивать советский этнополитический опыт с опытом многих империй и многоэтничных государств (что считалось в СССР крамолой), а также возможность применять

---

<sup>2</sup> См., напр.: Поварницын Б.И. Историография сталинской этнополитики: от политической конъюнктуры – к научному знанию // Историография сталинизма. М., 2007. С. 356-414; Он же. Нюансы апологетики (очерк советской историографии сталинской этнополитики, конец 1950-х – середина 1980-х гг.) // КПСС и номенклатура в советском обществе. Пермь, 2007. С. 144-154.

методики и методологии различных общественных наук, некоторые из которых в СССР просто не существовали (например, политология).

После первоначального взлета, который условно можно назвать «периодом “Гарвардского проекта”», уже к рубежу 1950-1960-х годов в советологии наступил научный упадок. Искусственное самоограничение в источниках привело к удручающему взаимному цитированию и повторению одних и тех же штампов; публикации подгонялись под модель тоталитаризма (которая, сама по себе, вполне оправдана и жизнеспособна в науке). В результате многие научные силы, не имея (а скорее – считая, что не имеют) возможности для серьезного политического исследования, погрузились в “area studies” и “country studies”, которые можно, с некоторой натяжкой, считать аналогом советского увлечения региональными этнополитическими исследованиями того же времени. Действовало несколько мощных специализированных исследовательских центров (например, Гарвардский центр украинских исследований); однако их потенциал уходил либо в чисто этнографические труды, либо в сильно идеологизированную критику советской действительности, не подкрепленную должным фактическим материалом. В результате, к событиям конца 1980-х годов американская советология подошла столь же неподготовленной для их оценки (не говоря уже об их предсказании), как и отечественное обществоведение. При этом, как и в СССР, время от времени появлялись отдельные блестящие работы (например, «Восстанут ли нерусские?» А. Дж. Мотыля); но научное сообщество в целом отводило им лишь маргинальную роль «игр разума».

Сравнивая два синхронно идущих историографических процесса в условиях, казалось бы, совершенно несравнимых политической, идеологической, научной ситуаций в СССР и США, мы получаем многие схожие промежуточные выводы и почти совпадающий конечный результат. Две разные историографические ситуации привели почти к одному и тому же. Очевидно, единственное, что объединяет эти две ситуации – высокая степень идеологизированности науки. Причем идеология породила в свое время «политический заказ» на

активное развитие этнополитических исследований; она же поставила рамки этому развитию, а эти рамки, в свою очередь, привели к конечному упадку. Как в постсоветских государствах, так и в США начало 1990-х годов дало старт следующему периоду развития общественных наук.

## **Политическая история: нарратив, историописание, исследование?**

Политическая история имеет два важных аспекта. Во-первых, практически все исторические сочинения с древности излагали преимущественно события политической истории. Так что у политической истории давняя и достаточно устоявшаяся традиция. Во-вторых, политическая история всегда пользовалась, особенно это касается политических биографий, значительно большей популярностью у широкого читателя, чем другие направления исторической науки. В ней гораздо больше занимательности, читабельности, интересных сюжетов и т.д. Но, с другой стороны, не так уж много носящих действительно объективный характер сочинений по политической истории. Отсюда сомнения в том, насколько политическая история является наукой в силу нередко преобладания нарратива и историописания.

Казалось бы, сторонники традиционной политической истории сдали свои позиции, особенно после того, как стал очевидным кризис немецкого историзма, но к 80-м – 90-м гг. прошлого столетия выявились моменты, обозначившие ее возрождение. Государство никуда не исчезло, теперь это более чем очевидно, и именно государственным деятелям теперь приходится во все большей и большей степени отвечать на вызовы времени, наступившие в результате безудержного экономического либерализма. В опубликованных в 80-х гг. прошлого века двух подряд книгах американский политолог Р.Гилпин подчеркнул острую необходимость интегрировать исследования международной экономики и изучение международной политики для того, чтобы углубить понимание действующих сил в мире. Он же отметил, что на рубеже 70-х – 80-х гг. серия драматических событий показала, что в международных отношениях произошел существенный переворот и мир узнал, что он вступил в период неопределенных политических изменений. В 1985 г. в Кембридже вышел из печати сборник статей под редакцией

П.Эванса, Д.Рушемейера и Т. Скокпол под характерным названием «Приводя государство обратно». Спустя десять лет американский историк Д.Киршнер в журнале «*Journal of Modern History*» опубликовал статью с не менее четкой ориентацией – «Государство возвращается». А через два года француз А.Гуери в журнале «*Анналы*» в статье «Историк, кризис государства» заметил, что наше время историк ввиду кризиса «государства всеобщего благоденствия» все больше должен говорить о государстве, когда ответственные политики и их советники и публицисты не знают, что сказать о государстве, кроме того, как критиковать его или заявлять о кризисе. В эти же годы последовала целая серия изданий, финансируемых Европейским научным фондом, по проблемам происхождения государства нового времени<sup>1</sup>.

Многие уже устаревшие принципы и методики политической истории были обоснованы в XIX в. Л. фон Ранке, положившим в их основу идею «как это в действительности» происходило. Причем дипломатическая история делала подчиненной себе и в известной степени вторичной внутривнутриполитическую историю и конституционную историю. Но и это был не нарратив и не просто историописание, а характеристика процессов и событий с точки зрения борьбы государств за самоутверждение в мире.

Что входит в политическую историю? Возьмем для примера две классификации. Первая принадлежит уже покойному крупному английскому историку сэру Д.Элтону (1970 г.). Согласно ей в политическую историю входят дипломатическая, военная, конституционная, административная история и история государства и права<sup>2</sup>. Современный известный немецкий историк Х.Духхардт (2004 г.) предлагает

---

<sup>1</sup> Gilpin R. *War and Change in World Politics*. Cambridge. 1983 (1 ed. 1981), P.1; Idem. *The Political Economy of International Relations*. Princeton, 1987. P.3; *Bringing the State Back in* / ed. by P.Evans, D.Rueschemeyer, T.Skokpol. Cambridge, 1985; Kirshner J. *The State is "Back in"* // *Journal of Modern History*. 1995. Vol. 67. Supplement. P. 1-10; Guery A. *L'Historien, la crise et l'état* // *Annales*. 1997. T. 52. P. 233-256.

<sup>2</sup> Elton G. *Political History. Principles and Practice*. London, 1970. P. 43.

более широкую классификацию, а именно: история политических идей, конституционная история, история органов управления, история институтов власти или административная история, история двусторонних отношений между соседними государствами, международные отношения, история права<sup>3</sup>.

Книгу Д.Элтона в известном смысле можно назвать апологией политической истории, особенно если принять во внимание ее некоторые основополагающие идеи, но отнюдь не в духе Л. фон Ранке. Элтон акцентировал внимание на том, что политическая история – это прежде всего деятельность людей в истории, и этот тип истории описывает пути борьбы людей за власть и использования ее внутри человеческих сообществ. Характеризуя историю внешней политики, английский историк подчеркивал, что она должна обращать более серьезное внимание на проблемы экономики и «забыть, что они принадлежат к полю деятельности экономической истории». Кроме того, он очень настойчиво проводил мысль о том, что административная история наиболее важная, тогда как конституционная история в большей степени является информативной отраслью политической истории. Поскольку политики пользуются в своей деятельности принципами политических теорий, доступных им, то большое значение приобретает и история политической мысли, как считал Элтон<sup>4</sup>.

Одно из важнейших положений, выдвигаемых Элтоном, касается места хронологии в политической истории: «История без хронологии, т.е. история без политики, превращает факт продолжающихся изменений в ложную картину статических ситуаций, следующих одна за другой». Конечно, не стоит буквально воспринимать эту сентенцию, но она достаточно симптоматична. Тем более, что вслед за этим утверждением Элтон настаивал на том, что политическая история из всех отраслей исторической науки является наименее доктринальной. С другой стороны, политические действия всегда, как отмечал

---

<sup>3</sup> Duchhardt H. Politische Geschichte // Aufriß der Historischen Wissenschaften / Hrsg. von M.Maurer. Bd.3: Sektoren. Stuttgart, 2004. S. 20.

<sup>4</sup> Elton G. Op. cit. P. 13, 20, 28, 43-44, 46.

английский историк, побуждают историка взяться за их изучение, а политический историк не может позволить себе пренебрегать хоть каким-нибудь материалом, мало-мальски относящимся к теме его работы. Центральное место в политической истории, по его мнению, принадлежит событию и его объяснению, в результате чего политическая история сохраняет надлежащее место в изучении прошлого, ибо имеет дело с предметами постоянного значения<sup>5</sup>. Но следует признать, что с точки зрения современных подходов и знаний этого мало для доказательств значимости политической истории и ее приоритетов среди всех отраслей исторической науки.

В этом смысле более обоснованной и современной представляется характеристика политической истории Х.Духхардтом. Он сразу же задает вопрос, почему за пределами университетской и академической исторической науки политической истории отдается предпочтение, отвечая на него так: это обусловлено человеческим опытом, что экономические изменения, культурное развитие, технические изобретения так радикально не меняют человеческую жизнь, как политические потрясения. Кроме того, политическая история излагается для публики в форме, в которой события и процессы объясняются в доступной форме без словесного «наведения тени на плетень», в котором часто излагаются проблемы социальной истории. Простота формы изложения в работах по политической истории часто служит основанием для упрека в ее адрес, что изучается на донаучном уровне, тогда как критический анализ источников и поиски взаимосвязи явлений не являются просто отражением фактов. И это касается не только жанра политической биографии, но и исследований в области международных отношений, которые вновь, особенно после развала соцлагеря, стали вызывать широкий интерес, потому что потребовались новые объяснения событий в политической истории и международных отношениях<sup>6</sup>. Но новейшая историография международных отношений, замечает немецкий историк, резко отличается от старой истории дипломатии, акцентировавшей

---

<sup>5</sup> Ibid. P. 66-67, 69, 83, 108, 128, 135, 156.

<sup>6</sup> Duchhardt H. Op. cit. S. 15-17.

внимание главным образом на действиях государств и политиков. Она немислима сегодня без по меньшей мере «амортизации» достижений истории менталитета и социальной истории. Политическая история также теперь тесно связана с политической наукой, конфликтологией и историей политических идей<sup>7</sup>.

Очевидно, не надо долго доказывать, что история политической мысли показывает тесную связь жизни человеческого общества с государством. Не менее важными именно в этом смысле являются история институтов власти и история двухсторонних отношений между соседними государствами и народами, на которые часто накладывали отпечаток старая вражда и старые предубеждения, что необходимо исследовать для решения политических вызовов современности с объективных и научно обоснованных позиций. Здесь достаточно привести примеры германо-французских и германо-польских отношений или отношений в треугольнике Россия-Польша-Германия. Последнему сюжету были посвящены проводившиеся, например, по инициативе Института славяноведения РАН и Смоленского университета две конференции в Смоленске и Пскове в 2001 и 2007 гг.<sup>8</sup>. Что касается международных отношений, то здесь Духхардт подчеркивает генетическую связь между двухсторонними отношениями и международными отношениями в целом, в которых существовали и существуют системы и подсистемы, интеракции государств, осевые линии и т.д., согласно которым строятся отношения между государствами группами государств, что связано также с формированием норм международного права как особой правовой науки<sup>9</sup>. В заключение своих размышлений немецкий историк пишет, что в течение последних четырех-пяти десятилетий политическая история значительно изменилась и только поэтому смогла сохранить свое прочное место в ряду исторических дисциплин, что

---

<sup>7</sup> Ibid. S. 18-19, 21.

<sup>8</sup> Ibid. S. 29, 35; см. также: Россия, Польша, Германия в европейской и мировой политике XVI-XX вв. / Отв. ред. Б.В. Носов, Ю.Е. Ивонин. М., 2002.

<sup>9</sup> Duchhardt H. Op. cit. S. 35-45.

является общим симптомом в повороте современной исторической науки, которая стала способной к взаимодействию с соседними гуманитарными науками и междисциплинарным исследованиям<sup>10</sup>.

Далее следует отметить, что экономический либерализм и глобализация поставили на повестку дня вопрос о роли государства в современной международной и политической жизни. Как показывают самые последние работы, государственный суверенитет не может исчезнуть сам по себе. Из суверенных государств состоит «международное общество», и именно внешняя политика является главным признаком суверенитета<sup>11</sup>. Вообще необходимо заметить, что традиционная теория международных отношений, в которой ведущие позиции занимают реализм и неореализм, находится в стадии переосмысления с помощью междисциплинарных исследований, которые могут ее обогатить и помочь выйти из кризиса. Во всяком случае, анализ международной системы нельзя считать плодотворным в отрыве от природы составляющих ее государств<sup>12</sup>. Споры о примате внутренней политики над внешней показали их бесплодность, поскольку в этой полемике прежде всего «отражается тесная связь эндогенных и экзогенных факторов политической жизни...так что следует скорее говорить о понимании внешней политики как результата действия очень разных факторов»<sup>13</sup>. Хочу привести в сокращенном виде интересное высказывание крупного современного немецкого историка Х.Шиллинга, замечу, отличающегося склонностью к социологизированию, по поводу внедрения социологов и политологов в историю

---

<sup>10</sup> Ibid. S. 68-69.

<sup>11</sup> Цыганков П.А. Предисловие // Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К.Буса и С.Смита. М., 2002. С.7; Джексон Р. Политическая теория международного общества // Там же. С.120.

<sup>12</sup> Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002, С.113-122; Он же. Предисловие. С.10-11; Бус К. Вызов незнанию: теория международных отношений перед лицом будущего // Теория международных отношений на рубеже столетий. С. 337-339, 351-352.

<sup>13</sup> Duchhardt H. Balance of Power und Pentarchie. Internationale Beziehungen 1700-1785. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1997. S. 3-4.

международных отношений. Он отметил, что в истории международных отношений «сильнее, чем в социальной истории и истории культуры, господствуют понятия и образ мышления, сложившиеся на основе представлений о структуре и способах функционирования государств XIX в. Это естественно объясняется пренебрежительным отношением целого поколения историков к политическим и, тем более, внешнеполитическим проблемам как раз в то время, когда было важно заново обосновать категории, методы и теории нашего предмета, а также специально каждой его части. Для истории международных отношений этого почти не было сделано. «International politic» как область изучения стала доменом политологов, которые не хотели принимать во внимание принципы историзма и комплексного подхода к историческим явлениям и отводили Европе держав раннего нового времени роль своеобразной каменоломни. В ней они добывали любой пригодный материал для иллюстрации своих построений»<sup>14</sup>.

Характеризуя современные теории международных отношений и политической истории и отталкиваясь при этом от «мифа 1648 г.», т.е. неправильно понятого Вестфальского мира как основы современной системы суверенных государств, Б.Тешке ставит вопрос о том, что же представляет собой государство в сегодняшнем мире с тенденцией вследствие либерализации экономики к глобализации и созданию единого мирового государства. Он также отмечает необходимость использования асинхронной компаративной исторической социологии, исследования причинно-следственных связей и системных вариаций в игре коллективных и индивидуальных игроков, учета динамической перспективы, изменениях в роли и упадка великих держав и их гегемонистских проектов, места системных кризисов, исследования хронологических и географических корней международных отношений эпохи модерна, наконец, новой оценки и совершенствования теорий

---

<sup>14</sup> Шиллинг Х. Становление европейских государств раннего Нового времени и формирование политической системы их взаимоотношений как системы держав современной Европы // Россия, Польша, Германия... С. 26-27.

международных отношений в опоре на материалы исторических доказательств. Но в любом случае, подчеркивает Тешке, это не означает призыва к методологическому плюрализму или нарративному описанию, скорее, необходимо связать социальную практику с центральной ролью политики и геополитики. Но почему, спрашивает он, теория международных отношений при интеллектуальной гегемонии неореалистов обходится без истории? На его взгляд, из-за ориентации на роль рациональных мотивов, тогда как исторический процесс развивается не только динамически, но и по принципу накопления, когда прошлое продолжает занимать значительное место в настоящем, старое и новое смешиваются в невообразимых комбинациях<sup>15</sup>.

Обо всем этом можно было бы и дальше дискутировать, но необходимо все же лишний раз подчеркнуть, что политическая история сложна прежде всего в силу многофакторности. Она не может быть просто нарративом в наше время в силу того, что историку необходимо учитывать многообразные факторы и явления экономики, менталитета, военного дела, культуры, инфраструктуры, внутривнутриполитического регулирования. Затем необходимо отметить важную роль личности в истории и ее влияния на ход событий. Возьмем хотя бы хрестоматийные примеры Наполеона, Бисмарка и Горбачева. Далее – роль какой-либо авантюры со стороны правителей и государственных деятелей – вторжение Фридриха II в Силезию в 1740 г. или сфабрикованная Бисмарком Эмская депеша.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в международных отношениях необходимо также учитывать международное право, принципы которого, как и договоры и соглашения, регулируют отношения между государствами и политическими силами.

Кроме того, в исследованиях по политической истории важнейшее место занимает работа с документами, их анализ и

---

<sup>15</sup> Teschke B. Mythos 1648. Klassen, Geopolitik und die Entstehung des europäischen Staatensystems. Münster, 2007 (первое английское издание в 2003 г.). S. 12-28, 246-247.

искусство интерпретации, требующие не только высокой исследовательской квалификации, но и общей высокой культуры, а также интуиции.

Наконец, политическая история, как бы то ни было, должна исполнять свою главную роль извлечения уроков для политиков. Что же должен знать политик и правитель? На примерах воспитания и обучения правителей раннего Нового времени, близких мне по роду занятий, что нашло отражение в многочисленных трактатах и учебниках того времени на эту тему, в первую очередь, историю, географию, иностранные языки, право<sup>16</sup>.

Возвращаясь к спору о том, в чем же разница между историографией и историописанием, можно отметить, что даже в современной германской исторической науке, вообще славящейся трепетным отношением к дефинициям и терминам, встречается употребление их в плане взаимозаменяемости. Приведу свежий пример. В вышедшей в свет в 2008 г. интересной книге К.Кампманна о Тридцатилетней войне понятия „Geschichtsschreibung“, „Geschichtswissenschaft“ и „historiographisches Konstrukt“ используются как совершенно равнозначные<sup>17</sup>. Отвлекаясь от методологических и методических рассуждений, на мой взгляд, необходимо подчеркнуть, что нарратив и историописание в серьезной политической истории все же в первую очередь форма, в которую вследствие и хронологии и роли события и т.д. облекается исследование.

Поэтому можно вполне серьезно утверждать, что политическая история является в равной степени и нарративом, и историописанием, и научным исследованием.

---

<sup>16</sup> См. подробнее: Ивонин Ю.Е. Государство и подданный в политической и юридической мысли Германии конца XVI-XVII веков // Люди и политика / Под ред. С.Ф. Блуменау. Брянск. 1999. С. 27-52.

<sup>17</sup> Kampmann K. Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Geschichte eines europäischen Konflikts. Stuttgart. 2008. S. 3-6.

## Наши авторы

**БОБКОВА Марина Станиславовна** – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории исторического знания ИВИ РАН.

**ВОРОБЬЁВА Ирина Геннадиевна** – доктор исторических наук, профессор Тверского ГУ

**ГРИГОРЬЕВА Инна Львововна** – кандидат исторических наук, доцент Новгородского ГУ

**ДЕМИН Михаил Александрович** – доктор исторических наук, профессор Алтайского ГПУ

**ИВОНИН Юрий Евгеньевич** – доктор исторических наук, профессор Смоленского государственного университета.

**ЛАПТЕВА Людмила Павловна** – доктор исторических наук, профессор МГУ

**ЛАПТЕВА Мария Петровна** – кандидат исторических наук, доцент Пермского ГУ

**МАКАРОВА Любовь Михайловна** – доктор исторических наук, профессор Сыктывкарского государственного университета

**МЕНЩИКОВ Владимир Владимирович** – доктор исторических наук, профессор Курганского ГУ

**МЕНЩИКОВ Игорь Самуилович** – кандидат исторических наук, доцент Курганского ГУ

**МЕРЕМИНСКИЙ Станислав Гргорьевич** – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра истории исторического знания ИВИ РАН

**МИНИНКОВ Николай Александрович** – доктор исторических наук, профессор Южного Федерального университета

**НИКОЛАИ Федор Владимирович** – кандидат исторических наук, доцент Нижегородского ГПУ

**ПОВАРНИЦЫН Борис Игоревич** – доктор исторических наук, профессор Пермского ГТУ

**ПОДЛЕВСКИХ Леонтий Геннадиевич** – кандидат исторических наук, доцент Кировского филиала Академии Министерства юстиции

**ПОЛЬСКАЯ Светлана Анатольевна** – кандидат исторических наук, доцент Ставропольского ГУ

**РЯЖЕВ Андрей Сергеевич** – кандидат исторических наук, доцент Тольяттинского государственного университета

**СМИРНОВ Дмитрий Александрович** – кандидат исторических наук, доцент Ивановского ГУ

**УЛЬЯНОВ Олег Германович** – заведующий Сектором церковной археологии Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени преподобного Андрея Рублева (ЦМиАР)

**ХУТ Людмила Рашидовна** – кандидат исторических наук, доцент Адыгейского ГУ

# **Терминология исторической науки. Историописание**

Утверждено к печати

Институтом всеобщей истории РАН

Л.Р. ИД№01776 от 11 мая 2000 г.

Подписано к печати 05.04.2010

Формат 60x90

Гарнитура Times New Roman Печать офсетная

Усл.печ.л. 8,75 Тираж 150 экз.

Заказ №

---

ИВИ РАН Ленинский пр-т, 32-а

**ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ.  
ИСТОРИОПИСАНИЕ**